

# ГРАНИ

GRANI

104

---

Verlagsort: Frankfurt/Main, April - Juni

1977

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»  
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,  
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,  
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,  
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ  
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

*(Продолжение см. 3 стр. обложки)*

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXII

№ 104

1977 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Иван ЕЛАГИН — «Худошавым подростком...»	3
Роман РЕДЛИХ — Предатель. Роман. Окончание	5
Юрий ИОФЕ — Тяжелый Париж (Из книги «Вне России»)	146

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ШТОК — Выбор пути. (О творчестве В. Войновича)	150
Е. БРЕЙТБАРТ — Хранительница традиций (Лидия Корнеевна Чуковская)	171

### ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Свобода и будущее	
Жан ФУРАСТЬЕ — Бытие и свобода	183
Осип ФЛЕХТХАЙМ — Третьим путем — к мировой демократии	189
—————	
Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) — С Богом или...	209
Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ — Предсказание Казота	230

### БИБЛИОГРАФИЯ

В. Володин. Роман Якобсон о Маяковском. — О. Кирилл Фотиев. Православное духовенство в эпоху «Великих реформ». — Короткие рецензии	272
--	-----

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

© 1977 by Possev - Verlag  
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main  
Издательство «Посев»

# Проза и поэзия

Иван ЕЛАГИН

Худощавым подростком  
Я остался стоять у киоска,  
И стою до сих пор очарованный  
Со стаканом воды газированной.

Человек под каштаном  
С друзьями простился вчера.  
На рассвете туманном  
Уводили его со двора.

Уходил он с кошёлкой,  
Набитой нехитрым добром.  
За ворота ушел как,  
Так и сгинул в тумане сыром.

В шелестеньи ветвей зашифровано,  
Сколько за ночь друзей арестовано.

Та звезда, что оторванно на́ небе  
Где-то горит там,  
Может рухнуть на землю когда-нибудь  
Метеоритом.

И звезда эта будет  
Готовиться к праздничной встрече.  
Мы не звезды. Мы люди.  
Себя обнадеживать нечем.

## ГРАНИ

Я и тот человек,  
Что ушел на рассвете туманном,  
Разлучились навек.  
На земле не сойтись никогда нам.

Где-то в ямине трюма  
Я на койке лежал подвесной,  
И я слушал, как с шумом  
Ударяет волна за волной.

В шебуршении пенном,  
В мелькании черных зеркал  
Плыл и плыл я на судне военном,  
И я тоже навеки пропал.

Но в бушующих блёстках  
Всплывает из пены взволнованной  
Паренек у киоска  
Со стаканом воды газированной.

И пока океаны  
Миражи свои не растратили,  
Человек всё стоит у каштана,  
И вокруг человека приятели.

И над ним распростерта  
Та ветка — шумит, как шумела.  
Воскрешение мертвых —  
Наше общее с деревом дело.

Роман РЕДЛИХ

# Предатель

*Роман*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*«Кресту Твоему  
поклоняемся, Владыко...»*

Милые мои все! Протокольно оклеветанные мною, заядлые враги советской власти, гнусное эмигрантское отребье, фашистские молодчики, наймиты германского империализма, страшные в глазах Лубянки «нацмальчики», друзья, единомышленники и члены антисоветской организации НТС — Национально-Трудового Союза Нового Поколения.

.....

Бабушка Нина Ильинишна (друзья дома просто зовут «бабушка» или «Нилинишна»): семьдесят лет, три мужа, шестеро детей. От бабушки про всех знаю.

Бабушка — родоначальница и считается главой семьи. Но только считается, потому что на самом деле — дитя. Если начать ей рассказывать, бабушка так и вопьется глазами, так и будет смотреть и слушать, что ей ни расскажи. Глаза у ней сделаются, как угли, и все всё ей рассказывают. От бабушки больше всего шуму в доме. С гостями она кокетничает и острит, а если раскапризничается, то как в театре. Бабушка раньше была артисткой.

У бабушки убеждения, и в эмиграции это знают.

---

Часть первую см. в «Гранях» № 92/93. — Ред.

Про бабушку старший сын Вася в лицах рассказывает: после воскресной обедни, как это всегда бывает, бабушка стояла на паперти, разговаривала со знакомой дамой. Вдруг подлетел к ней вождь русских фашистов, хромой барон Меллер, вытянулся по стойке «смирно», шелкнул каблуками, взмахнул по форме рукой и вскрикнул: «Слава России!» А бабушка посмотрела на него в лорнет, не спеша отколола шляпку, сняла ее по-мужски и вежливо ответила: «Здравствуйте!»

Бабушкиного последнего мужа все забывают, и дома он как-то в сторонке, Авксентий Афанасьевич, корнет драгунского полка и первопоходник. Он на десять лет моложе бабушки, встретил ее на Лемносе и принял участие. Вместе с ней переехал в Прагу, перебрался в Берлин, сохранил преданность и женился. Авксентий Афанасьевич не какой-нибудь такси-шофер; в Праге он выучился редкому умению: столяр-краснодеревщик. В соседнем доме, в подвале, у него мастерская. Он известен как знаток старинной мебели. Кроме того, он член РОВСа (Российский Обще-Воинский Союз) и сотрудничает в «Часовом», а в свободное время рисует картинки: «Генерал Бомбазо в припадке ревности расстреливает жену из пушки»; девчонка с распущенными волосами летит на велосипеде, растеривая с юбки цветы.

Дядя Вася — бабушкин сын от второго брака. Тоже артист и тоже не тихий. Ходит в косоворотке и хромовых сапогах с начесанным на лоб русым, с ранней проседью, чубом, поет в «Медведе», носит барашковую шапку, говорит прибаутками, рассказывает анекдоты; а когда дома и выспался, ругается, требует и шумит еще больше бабушки.

Няня-нянечка (нянькину фамилию все забыли, нянькин паспорт пропал). Нянечку взяли еще в прошлом веке к покойному дяде Санечке, а вынянчила она всех: Васю и Анечку, Машеньку, Лиду, Бориса, а



здесь, за границей, трех внучек: Шурочку, Мурочку и Танюрочку. Нянька в каморке за кухней (сундук, постель, лампада). Няньку последнее время дразнят еще «Недамсала», она — начальница кладовых. Скажет «не дам» и не даст, даже Васе-любимцу и то не даст.

Не хозяйка, а душа дома — Анна Евгеньевна, Анечка-младшая, не в маму-бабушку, а в тетю Аню-старшую, бабушкину сестру, давно покойницу. Аня-старшая, если судить по сходству, тоже была из тех всеобъемлющих русских женщин, которые сами не знают, где семья, а где не семья, для которых просто знакомый почти незнакомого родственника — свой человек (и надо делить несчастье и неприятности), к которым чужие дети приезжают учиться и живут, и сразу называют «тетей Аней», и вспоминают с нежностью. И даже уехав совсем и женившись совсем как не надо, каждые два-три года радуют поздравлением к Пасхе и обещанием вот-вот приехать и всё рассказать при встрече.

Тетя Аня — страдальца. Когда бывший муж Анин, преуспевающий коммерсант, завел певичку, Аня была еще молодая. Аня горько плакала тогда, но не смирилась. С тех пор личная жизнь у ней кончилась: теперь у ней только Танюрочка и семья. Певичка же воспользовалась разводом.

Теперь с певички сыплется пудра, и она приходит к Анне Евгеньевне делиться горем. А бабушка, отозвав, конечно, певичку от Ани, просит напомнить бывшему мужу-коммерсанту, что за квартиру опять не плачено и финансовое положение семьи тяжелое.

Теперь еще Зоинька, Зоя Сергеевна, жена дяди Васи. Тихая, скромная, как мышка в норке, воды не замутит, комара не обидит. Норка у ней в дальней комнате, в конце коридора, у кухни.

А теперь дети, три сестрицы, три внучки: Мурочка, Шурочка и Танюрочка. Сестрицы они, правда,

не родные, степень родства их даже названия не имеет: общая у них только нянька, а дальше всё перепутано (Мурочка, например, дочь мужа старшей Аниной сестры, тети Лиды [сама Лида застряла в России, и о ней ни слуху ни духу]. Шурочка — племянница Зои Сергеевны, и только Танюрочка — родная дочь младшей Ани). Но всё равно они сестры: у Шурочки — изумительная коса, у Муры — голос, а у Танюрочки — дивный овал лица, темные локоны за ушами, круглый лоб, своевольство и тонкие бровки, как крылья над желтыми глазками.

.....

Танюрочка вечно чем-нибудь увлекается. «Она с детства такая, в бабушку, кавказский характер, бабушка ведь у нас наполовину грузинка», — говорят о ней все родные, а не замечают, что бабушка-то ведь была артисткой, а Татьяна — борец за правду, непреклонная защитница угнетенных.

В детстве Танюра любя так сжимала в объятьях бездомных котят и щенят, что вечно ходила искусанная и исцарапанная; в отрочестве с визгом бросалась одна против целого класса, защищая обиженную новенькую; а начав читать Достоевского, зачитывалась до того, что не слышала, как ее зовут, и надо было вырывать книгу; а потом влюблялась, да так опасно, что не только Анна Евгеньевна и сестры, но даже — ух, ревнучая! — нянька и та была рада, когда женихом оказался ершистый, вихрастый и лобастый, но зато преданнейший из верных Коля Семенов, поэт и руководитель союзной молодежи — но и это всё вышло не как у бабушки, а иначе: бабушка делала всё красиво и понимала эффект, а Татьяна — от всей души и не думая о последствиях.

.....

Зимой сорок первого года Танюрочка увлеклась русскими военнопленными и увлекла за собой сестриц. И все трое — Мурочка, Шурочка и Танюрочка, — с

одобрения всей семьи и Союза, почти каждый день отправлялись в поход.

Вокруг Берлина сестры знали все лагеря, в которых сидели пленные. В охранных командах у них завелись знакомства. Запомнился толстый и добрый Гутгерц, продуманно и добросовестно распределявший среди пленных принесенную ими старую одежду, куски подсохшего хлеба, бульонные кубики «магги», таблетки сахара и окурки, собранные из эмигрантских пепельниц. Запомнился краснощекий Брюльман, набрасывавшийся с громовым криком, а потом тоже соглашавшийся:

— *Gibt schon her. 'S wird schon gemacht!* Давайте уж, сделаем.

— *Bitte, seien Sie menschlich!* Будьте людьми! — говорили девушки конвойным. И это почти всегда действовало, проламывая даже грозное «*verboten!*», — запрещено специальным приказом Фюрера.

В эту полную жалости зиму девушки повзрослели. И рассматривая принесенные обноски, стали наклонять головы и говорить как многие женщины в России: «Уж не знаю, годится ли? А? Шурочка? Подштопать бы надо, ужасную рвань давать стали». И глядя на эту рвань, понимали, что тот, кто ее наденет, целый месяц не получит от Гутгерца ни одного окурка.

.....

Девушки видели тянущиеся мимо них фигуры, качающиеся от ветра, кутающиеся в остатки ватников и шинелей, всматривались в голодные лица, посиневшие губы, серые подбородки, просящие, выцветшие глаза. Самого страшного они не видели, но слышали и понимали его душой, и, плача от жалости, ехали в нетопленных поездах, шли пешком по осенней слякоти, дожидались у ворот и на перекрестках, чтобы сказать чудодейственное «*seien Sie menschlich!*» и, вынув из сумок свертки, передать их для раздачи конвою.

Преодолевая себя, они твердо взяли за правило отдавать свертки только конвойным. Им помнились две безобразные свалки: одна — на ходу, у ворот, другая — за проволокой лагеря, куда Татьяна, не послушав сестер, стала было перебрасывать свои дары. Им запомнилась грязная груда тел, лезущих друг на друга, вой и мат над ее пакетиками, и два тела, растоптанных в свалке, оставшихся лежать тут же, в грязи. Полицаи, как охранные псы, выскакивали из бараков и наотмашь колотили палками разбегающихся во все стороны пленных.

.....

Шура и Мура тогда ушли, а Танюрочку отвели в караулку, и комендант лагеря долго объяснял ей, почему издано запрещение давать что-либо этим русским:

«Это же звери, — говорил он ей, — вы же сейчас сами видели. Это не люди. Иудобольшевизм превратил их в грязных животных. Если вас бросить к ним в лагерь, они и вас разорвут и съедят. Они страшно прожорливы. Осенью они жрали сырую брюквенную ботву. У фельдфебеля Брюльмана они украли прекрасный кожаный портфель и тоже, наверно, съели. Держать их в руках можно только с помощью грубой силы. Сталин так приучил их. У него они тоже сидели в лагерях. Впрочем, и при царе им было не лучше. Русский народ любит кнут. Под кнутом он чувствует себя в своей тарелке. О, я всё время внимательно наблюдаю его и могу сказать, что хорошо знаю. Ich kenne die Russen!

Впрочем, я делаю для них, что могу. Вы, может быть, не знаете, но я в сущности либерал. Разумеется, в положительном, еще в кайзеровском смысле слова. Но Ordnung muss sein, во всем должен быть порядок. Я разрешил им самим организовать себе русскую баню и медицинскую часть и убедился, что русский народ действительно терпелив. Зубы им рвут просто

так, без наркоза, совершенно как при царях. И ничего. Приходит вот такой К/Г, сам, конечно, — мы лечим только желающих, — и с распухшим уже лицом (воспаление, но он не понимает опасности) садится на стул и держится за него руками. И их врач (наш в таких условиях, разумеется, не стал бы лечить) берет щипцы и рвет ему зуб. Вы представляете себе, какая это боль!

Да что говорить! Вы не судите о них по себе или по вашим близким, mein Fräulein, я понимаю, вы — русская и вам жаль ваших соотечественников. Но это напрасно. Вы воспитаны уже здесь, в европейской культуре. Вам привиты элементарные понятия о чистоте, порядке, о моральной порядочности. Эти люди не имеют с вами ничего общего. Они даже не пользуются зубными щетками. Поверьте мне: это — животные. В лучшем случае это — рабы. И если вы не хотите, чтобы они давили друг друга, не бросайте им ничего. Я прошу вас».

И комендант встал, давая понять, что аудиенция кончена. У коменданта так сверкали сапоги и блестели щеки, что Танюрочка взвизгнула, прыгнула и влепила ему пощечину.

.....

Грозилы огромные неприятности. Но комендант оказался добряком. Анна Евгеньевна с дядей Васей ездили к нему с извинениями, просили простить Танюрочку, ссылались на ее невозможный характер. И комендант простил, и не только оставил дело без последствий, но даже принял приглашение и три раза приезжал на Гейльброннерштрассе наслаждаться русским гостеприимством. Все в семье, кроме Тани, принимали его с благодарной предупредительностью.

.....

Очень долго девушки помогали молча. Поговорить с пленными было практически невозможно. Они даже не знали, кому именно доставались принесенные ими окурки, изношенные пальто и куски вонючего сы-

ра. Но в том самом лагере Зеелюст, где была свалка и комендант предупреждал Танюрочку, что ее разорвут на части, сонные фигуры пленных подходили к проволоке и, напрягая голодную глотку, сипло кричали: «Спасибо, гражданочки!» А на пристани, где они разгружали барки, незнакомый конвойный солдат вдруг вручил девушкам подарок, вырезанную из полена традиционную русскую игрушку: мужик и медведь по очереди бьют молотками по наковальне.

.....

Я далеко не был первым, кто вошел в семью Вергункевичей. Уже раньше эта семья стала встречать у церкви на Находштрассе и у собора на Гогенцоллерндамме русских «оттуда», знакомиться и разговаривать с ними. И каждый из нас душевно оттаивал и растворялся и начинал говорить без наигранных шуток и кланчащих жалоб, а как говорит намолчавшийся, намучившийся человек под внимательным понимающим взглядом.

Нас было много, и мы разворачивали перед этой семьей историю, смешивали ее с бытом, с беспорядком счастливого дома, с эмигрантскими ожиданиями, с эмигрантской тоской («Занесло тебя снегом, Россия!»), с заботами о продовольственных карточках и прописке, с дальнейшим образованием девочек, со сводками Верховного Командования, с побеждающим еще Берлином, с его широкими пустыми улицами, с холеными скверами (где мимо гладких прудов с лебедями немецкие матери гордо возили в колясках полнокровных немецких младенцев, где костистые старухи в черных чулках и наколках непоколебимо сидели на скамьях, охраняя отставных стариков, решающих крестословицы), с грохотом берлинского метро, облепленного плакатами «Pst! Feind hört mit!» и «Räder müssen rollen für den Sieg!»\*, с немецкой заносчивостью, с запа-

---

\* «Тсс! Враг подслушивает!» и «Колеса должны катиться для победы!», с нем. — Ред.

хом пива и брюквы, со скрипучими фельдфебельскими криками, с воем сирен по ночам и с пронзительным сухим ветром, идущим из России...

.....

И в безжалостном этом ветре скручивались в трубку умирающие, выли репродукторы, лаяли пулеметы и бежали в атаку люди на фронте. В метели, в пурге, в буране бросалось в бой за Москву и советскую власть сталинское пушечное мясо.

— Будем убивать! — выли репродукторы к востоку и к западу от фронта.

— Убей немца! — вопило с востока.

— Убей русского! — откликалось с запада.

— Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал.

— Если ты думаешь, что за тебя русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы! Если ты не убьешь русского, русский убьет тебя!

— Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком! Если на твоём участке затишье, убей немца до боя!

— Если ты оставишь русского жить, русский повесит тебя и опозорит немецкую женщину!

— Если ты уже убил одного немца, убей другого — нет для нас ничего веселей немецких трупов!

— Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобой врагов.

— Не промахнись! Не пропусти! Убей!

.....

Я не знаю, быть может, и есть герои, желающие убить во время атаки. Но мы не герои, мы — масса. А масса идет в атаку, как затравленный, загнанный зверь бросается на собак. Масса поднимается, скрипя зубами, проклиная и власть, и родину, и самое себя, и судьбу, и войну, и ветер, и тех, кто бросает ее в атаку.

В атаке нет убеждений. В атаке — звериный страх и рожденная страхом ненависть к тем, кто в меня

стреляет. Ненависть дает силу; страх — выносливость. В ненависти и страхе форсируют переправы, бегут на огонь неприятельских батарей, наваливаются на вражеские доты, виснут на колючей проволоке, врываются в окопы, преодолевают препятствия и пространство, совершают геройские дела и захватывают победу. Так у немцев, у русских, у всех на свете.

Желание убить бывает только между атаками. Летом сорок первого года у нас его не было. Летом было тепло и солнечно, летом не было пронзительного ветра, и только Сталина знобило от страха.

Летом сорок первого года немцы продвигались без атак. Мы не хотели убивать немцев. Мы не верили репродукторам. Мы не говорили, конечно, но думали, что воевать за Сталина не стоит.

Многие думали, как я:

немцы — это Шарлотта Германовна, добрая моя учительница. Немцы — это Шиллер в напудренных буклях, автор баллад в переводе Жуковского. Немцы — это Фихте и Шеллинг, которых мы изучали с Федором. Немцы — это чистенькие домики, островерхие кирхи, пирамидальные тополя, розовые сосиски, сладкие кренделя, карикатуры Вильгельма Буша, сказки братьев Гримм, упражнения на фортепьяно, заводные игрушки, домашний уют, умеренность и аккуратность, брачная верность, ночной колпак и туфли без задников;

многим помнился добрый знакомый немец: Карл Иванович, Гуго Густавович, Отто Вильгельмович. В школе, за одной со мной партией, учился Карлушка Шульц. У Пушкина — друг Кюхельбекер, а у меня — Шульц. За что его убивать?

Летом сорок первого года немцы вошли в Россию, как нож в кусок масла. Разумеется, мы были солдаты и мы пробовали воевать. Мы даже без приказов командования занимали оборонительные рубежи, устанавливали орудия и рыли окопы. Разумеется, мы стре-



ляли в противника. Но противника мы не видели. Мы стояли на месте и ждали, а узнав, что враг далеко на востоке, срывались и в панике отступали, пытаясь нагнать своих. В отступлении мы отрывались от колонн, растеривали обозы и артиллерию, запутывались во всеобщем беспорядке и оказывались в окружении и без связи. Мы пробивались к своим, рассасывались на мелкие группы, прятались в неубранных полях, колесили по лесам и болотам. Смотрели на расстроенное начальство, то требовательно кричавшее, то безнадежно отмахивавшееся от нас. Наблюдали черные эмки, переполненные барахлом, убегавшие на восток, в безопасность. Слонялись по оставленной земле и заходили в дома, где женщины, жалея нас, ставили на стол молоко и смотрели покинутыми глазами. Мы не говорили им, что вернемся. Мы не верили больше словам о войне малой кровью на чужой территории, о непобедимости Красной армии и славном ее командовании. Мы видели, что всё рушится и советской власти конец. И намучившись, и настрадавшись, и согласившись все в том, что наше начальство — дерьмо, сперва шёпотом и с оглядкой, а потом с отчаянной смелостью заводили разговор про немцев:

— Колхозов у немцев нет. Это точно. А фашизм у них — это порядок, а не наш советский бедлам. Немец, он любит порядок.

— Дай Бог и у нас наведет. Людей на свободу выпустит. Будем жить, как нормальные люди.

— Пусть приходит. Чего нам с ним воевать. Сталина, что ль, защищать, на чёрта он сдался!

— У меня брат сидит, а я за это воевать должен?

— А у меня отца раскулачили, хоть мы никого и не нанимали.

— А у меня дядю вздрючили в органах так, что на всю жизнь инвалид.

— У меня...

— У меня...

— За что ж воевать-то? За Сталина, за усатого сатану?

— Слышал, как он зубами стучал, когда война началась?

— Не будем!

— Хватит!

— Пусть сам повоюет!

— Пошли к немцам в плен. Всё равно уже в окружении. Вот и листочек ихний: «Пропуск бывшему бойцу Красной армии через немецкие линии». И портрет: «Гитлер-освободитель!»

— А стишки прочитал? «Бей жида-политрука, морда просит кирпича!»? Сильно, а? Хлобысь политурку по морде!

— Ну, это грубо! Политрук, он всякий бывает. Есть и хорошие.

— Что?! Тебе, может, и советская власть хорошая? В колхозе понравилось? Или ты Сталина полюбил?

— Мало тебя учили. Покатал бы баланы в лагере или землю порыл бы! Сам живет, а жизни не знает. Вот у нас на заводе...

— Вот в нашем колхозе...

— Вот дома у нас...

— Что немцы — не люди? Подойдем, аккуратно ручки подыдем, скажем «Сталин капут!» и всё. И кончилась вся война.

— Что ж немец, вечно держать же не будет. Смотри, как он прёт. Мы тут под Минском, а он-то, пожалуй, уж под Москвой. Маленько подержит, конечно, а там и выпустит. Марш по домам, по хозяйствам, довольно ишачили на советскую власть.

— Колхозы, конечно, капут. Мужики моментально разделят.

— Пусть делят. Это их дело. Земля — крестьянам!

— Заводы — рабочим! А кто, товарищи, знает, как при фашизме с капитализмом?

— Ну ладно, пошли. Дай прикурить и потопали. Вон в той деревне фашисты. Запомни: «Сталин капут!»

.....

Мы рассуждали, как серые лубочные мужики, а пошли, как малые дети.

Но пошли. И не сами уже идем: как победители побежденных, гонят нас немцы лесными дорогами в зыбучем сухом песке. Мы устали, нам грезятся мамы. Нам снятся мамуси, мамочки, мамки. Мы плачем и просимся:

- Мама, возьми на ручки!
- Мамуся, возьми!
- Мамочка, понеси!
- Мамка, неси же, а то завою!

Ох, как тяжел он, сухой белорусский песок!

Наши ноги налиты им, словно сыпучим свинцом. Наши ноги бескостны, бессильны, мягки и тяжелы. Мы переставляем их, как мешки с песком, как узкие, тонкие, неустойчивые мешки. Наши ноги-мешки подгибаются и шатаются. Их никак не отдерешь от земли, они зацепляются за нее, волокутся за нами, подламываются, и вот уже снова кто-то из нас упал вбок и в сторону, мешком повалился в песок и лежит лицом вниз, уткнувшись, как в мамкин подол, и ревет, и отчаянно просится на руки, и не хочет больше идти.

Мы обтекаем его осторожно, чтобы не засыпать собой и не смотрим, как пыльный и злой сержант подходит и бьет прикладом между лопаток сверху вниз, как пестом, держа винтовку за ствол, и не слушаем, как кто-то охает, кашляет, приподнимается, харкает вялой, бессильной, прозрачной кровью:

- Мамочка, рódная!
- М-мать вашу!
- Verflucht nöch mal!

Мы обтекаем кого-то из нас и сержанта. Мы стараемся не наскочить на них. Нам грезятся мамочки-мамы, громадные, сильные матери с могучими любя-

щими руками. Мы жалобно просимся на руки и не вздрагиваем от щелчка, которым кого-то из нас, там, сзади, щелкнули к чёртовой матери.

Мы идем, как малые дети. Мы наглупили и теперь плачем. Мы не смотрим ни налево, ни направо. Нам стыдно, страшно и голодно. Мы не понимаем, что случилось и за что нас наказывают.

В деревнях на нас лают собаки, бессмысленно бегут дети и покинуто смотрят женщины. Конвойные кричат на них, как на собак.

.....

Мы пошли, и идем, и тащимся из сталага в сталаг, из дурхьгангслагеря в дурхьгангслагерь. Как дома, мы разматываем катушки с колючей проволокой, обматываемся ею, строим по углам караульные вышки и валяемся в пыли и жажде, — птенчики, выпавшие из гнезда.

В каждом лагере нас выстраивают, и некто рослый и бледный, с водяными глазами и квадратными задниками начищенных сапог, проходит со свитой вдоль шатающегося нашего ряда и, выхватывая то одного, то другого, кричит квакающим фальцетом:

— Du, Jude, г-raus!

И, согнувшись, уходят от нас армяне, грузины, греки, евреи и все, кто похож на еврея.

Кто помнит сталаг в Борисове, помнит каменные ворота, спуск к Березине и расстрелы.

Кто помнит дулаг № 20/45 (Kriegsgefangenendurchgangslager der Waffen SS), помнит выстрелы в березовой роще.

Кто знает сталаг 1021 (уже в Польше, под Белостоком), помнит восточный ветер, пронизывающий холод и мокрый снег и знает, что взятые на рытьё могил, рыли их для себя.

А кто видел еврейские расстрелы (политруков и евреев раздевали, а потом расстреливали), тот знает, что в последних шагах осужденного — та же удивлен-

ная беспомощность, та же доверчивая растерянность и та же наивная торжественность, что и в первых шагах ребенка, когда — «иди-иди-иди!» — и в благоговейном страхе он устремляется весь к одной цели, к протянутым ему навстречу огромным нежным рукам ожидающей матери.

А когда мы стояли над ямой (мы дошли, и каждый из нас готовился сделать свой шаг навстречу матери-смерти), не старый еще, красивый еврей в армейских кальсонах и безрукавке вдруг негромко сказал, выговаривая, как природный москвич:

— Ну, что ж вы, стреляйте, что ли! Холодно ведь стоять!

И кто-то перекрестился, и стало видно, что никто не крестится.

\* \* \*

Бабушка Нина Ильинишна слушала, не перебивая, не спрашивая и не шевелясь, так и забывшись в позе сочувственно приложившей ладонь к щеке жалостливой деревенской бабы.

— Ой вы бедненький мой! Каково так стоять над ямой-то! Люди-люди, что только делают! Как же вы спаслись-то?

Я спасся просто: вспомнил отцов Карпа и Николая и перекрестился перед смертью.

И грузный, рыжий, с черепом на черном околыше, удивившись, сказал:

— Ei, du bist ja kein Jude. Ты не еврей, стань-ка в сторону.

Там, в моей первой жизни, в карцере, между исповедью и расстрелом, мне оставалась только очная ставка с Доктором.

Я предвидел:

Доктора введут под конвоем. У него рана на месте носа и выбиты передние зубы. В беззубой улыбке нежность и сила святости. Доктор скажет: «Что вы надеялись!» И я отрекись от своих показаний, буду лгать, утверждая, что он ничего не знал, и в крайнем усилии духа приму всё, что мне предназначено, пойду торжественно-детским шагом, трепеща и спеша дойти поскорей до цели, донести свой предсмертный страх до огромной теплой груди, вернуться в родное лоно, погрузиться в сочувственные глаза, вернуться домой из предсмертного одиночества.

Я отчетливо видел бесёнка на сковородке: как он карёжится, сначала по колена в кипящем масле, как скачет, задирая копытчатые ноги, играет, как мальчишка в летней воде, как потом садится, и масло кипит пузырями вокруг волосатого торса, плещет ему на грудь, как он валится, наконец, набок, изнемогая от наслаждения, и катается взад и вперед, подрумяниваясь, как шкварка, перегорая, сжимаясь, сжариваясь, пока не останутся лишь щетинки да свернувшиеся в трубочку копытца.

Я предвкушал наслаждение, когда меня будут бить. Я заранее благословлял боль. Я предвидел, что каждый удар будет мне, как крестящие пальцы священника: сверху-снизу-справа-и-слева.

.....

Но Доктора я не видел. Другой день был четвертое июля. Немцы рвались уже к Ленинграду, и только я не знал о катастрофе, не слышал, как Сталин стучал о стакан зубами, призывая сестер и братьев защитить его власть в России.

И удивился, когда Иван сказал, подавая мне пайку хлеба:

— Везет тебе. Зря говел. Душегубов уехал уже. Завтра эвакуируемся.

Я никак не ожидал второй жизни, не думал, что без допросов и очной ставки вольюсь в общую массу

з/к и уеду в Котлас, где, опять же вместе с другими, искупающими вину перед Родиной, запишусь добровольцем в штрафной батальон Красной армии и в пронзительном зимнем ветре, в пурге, в метели, в буряне стремительно брошусь в атаку и сдамся в немецкий плен.

.....

Я три раза ходил в те атаки, когда немцы бросали доты и бежали, теряя способность стрелять в нагромождающиеся трупы. Я едва догнал их, чтобы наконец сдаться. Я три раза бежал за ними, криком «Сталин капут!» надеясь остановить их.

Я пришел в плен индивидуально, добровольно и обрадованно, как на праздник. Я мечтал о плене, я ждал плена, я искал плена, я рвался вперед, догоняя плен. Я кричал им: «Сталин капут!», точно кончилась власть Душегубовых. И если б испуганный фриц, которого я сбил с ног, предложил мне оружие, я стал бы стрелять в своих, в бегущих за мной умирать за Сталина.

Но фриц сказал только: «Mein Gott! Mein Gott!» И с опаской, не позволяя мне опустить руки, меня отвели назад в штаб, а потом в большую избу, где между окном и печью стояла ровная койка, над ней — портрет Гитлера, а под ней — сапоги с квадратными задниками.

Кроме койки и сапог, в избе стоял еще узкий железный шкаф, а над умывальником (кувшин в тазу на железных ножках) висело зеркало, отражая кривой перебитый нос, ввалившийся рот и вспухшие от мороза рубцы в трехдневной щетине. Бывшее мое лицо, изуродованное Душегубовым.

И — как в душегубовском кабинете: голый стол, наискось отгораживающий угол, а за ним, не сводя с меня рыбьих глаз, рослый — бледный, в шерстяных носках на галифе, в ночных туфлях без задников, в сжатом горловом крике:

— Politruk! Judenknecht! Untermensch! Настоящий недочеловек! Что? Сам пришел к нам? Не верю! Веди-те к жидам! Zu den Juden! Вывести без разговоров!

.....

И меня отвели к евреям, в жалобную еврейскую толпу. Там сказали мне, что расстреливают. А на вопрос: «что же делать?» — ответили, что надо было воевать за Сталина.

Там меня еще раз подготовили к смерти, укутали душным еврейским сочувствием, согрели скорбной еврейской жалостью. Там показали мне фотокарточки грустноглазых еврейских мальчиков в выглаженных матросках и девочек с большими бантами. Там радовались, что я не еврей, и желали, чтобы меня увели в общий лагерь. Там составили список расстрелянных, чтобы, может быть, — всё ведь бывает — я когда-нибудь отвез его домой в Россию. (Его отберут у меня на Лубянке.)

Там была тысячелетняя тоска и родившийся на Чистых Прудах Борис Львович, известный московский поэт с породистым древним лицом, друг Мандельштама и Маяковского, не попавший в концлагерь и посланный на фронт политработником.

Он-то и скажет потом над ямой: «Стреляйте... Холодно ведь стоять!» И еще — тихо — мне: «Возьмите мои вещи, они лучше ваших, папиросы в кармане не поломайте». И, желая мне жизни, толкнет меня прочь от ямы, в черную злую Германию, и успеет еще увидеть, как, выбрав его вещи из кучи, я надену его остывшие штаны и гимнастерку и, стоя на правой ноге, стану впихивать мокрую левую в его офицерский сапог.

.....

Я потом засыпал вместе с солдатами яму и пошел среди них как бы и не под конвоем обратно, и отвечал им на их вопросы, и влился в военнопленное море уже с примечанием:



— Der Kerl spricht ja deutsch. Этот тип говорит по-немецки. Может служить переводчиком.

\* \* \*

Недалеко от Бобруйска под лагерь отгородили песчаный косогор. Смолистым молодым сосенкам потрубили нижние сучья, и они стояли, как калеки на паперти, выставив напоказ гноящиеся раны. Под ними валялись бывшие красноармейцы в грязных обмотках. В этом лагере вообще не кормили.

.....

В лагере около Киева торговали белым, довольно жирным мясом. Его обжаривали на кострах, нарезаая круглыми кусками и натыкая на проволоку, как шашлык. Никто никого не спрашивал, чье это мясо.

.....

Между Столбцами и Минском лагерем было пустое поле под железнодорожной насыпью. Два или три раза в неделю туда подгоняли полувагоны с картофелем. Картофель бросали лопатами через проволоку.

Драк в этом лагере было мало. Картофелины ловили в воздухе и тут же грызли как яблоки. Против рельсов, где останавливались вагоны, день и ночь стояла толпа.

.....

Где-то в Силезии, в районе Бреславля, кто-то нашел корешок и объявил, что это и есть чрезвычайно питательный «машкин сладкий корень», тот самый, которым травились голодные солдаты Денисова у Толстого в «Войне и мире».

От этого сладкого корня заболела половина лагеря, и многие умерли.

.....

В лагере Кельцы капитан запаса, назначенный комендантом, знал несколько слов по-русски и обожал советские песенки. Он выстраивал шатающихся от

слабости пленных и они пели ему «Катюшу», «Сердце» и особенно «Физкультуру» (ту самую, с рецептом, как сохранить молодость души).

.....

В лагере под Владимиром-Волынским кормили каждый день, ровно в полдень.

Начальник кухни, унтер-офицер Люстиг увязывал кормление с физкультурой. Перед тем как получить баланду, пленные долго приседали, затем рысью мчались за котелками и выстраивались в очередь на карачках, подвигаясь к котлу прыжками, по-лягушачьи. Это называлось «прыгать за супом», «zur Suppe hopsen».

.....

В дулаге 324, на Полтавщине, была только голая степь, проволока и ветер. Когда ударил мороз, в этом лагере грелись роем. Становились в огромный круг, плотно один к другому, и раскачивались с гудящим стоном:

— Ж-жэ-а! Ж-жы-а! — Как пчелы.

.....

Около Сталино под лагерь заняли помещение нового педагогического техникума. Военнопленные сидели в нем за партами, как студенты.

.....

В Ковно лагерь расположили в старинной крепости по склону горы. В казематы, рассчитанные на четыреста пятьдесят человек гарнизона, набили более десяти тысяч пленных. Пока часть их не вымерла, там стояли, как на площадке трамвая.

Ниже по склону, считалось, жить много лучше: там рыли норы и в норах могли лежать.

.....

В лагере Люкенвальде, когда разразился тиф, пленных стали дезинфицировать. Их выгнали голыми на мороз и вымыли какой-то кислотой. Сколько осталось в живых, не знаю.

.....

В лагере Погеген, под Мемелем, можно было лежать сколько угодно. Из восьми тысяч человек, согнанных туда осенью, к весне осталось меньше восьмисот.

.....

В лагере Зеелюст, на берегу озера, под Берлином, были неплохие вагонки. На вагонках лежали тюфяки, реденькие мешки, слабо набитые соломой. В Зеелюсте ложились на эти тюфяки и от холода накрывались тоже тюфяками. К середине зимы тюфяков стало достаточно. Тюфяки оставались от умерших. Свернувшись между двумя тюфяками, люди зябли, как черви в коконах.

В Зеелюсте царствовал порядок. Была сплошная колючая проволока, была немецкая охрана, был фельдфебель Брюльман и унтер-офицер Шрек. Был немецкий комендант из пожилых майоров первой мировой войны. В интересах порядка немецкий комендант назначил внутрилагерного русского коменданта, а в помощь русскому коменданту разрешил подобрать полицейскую команду из пленных.

Русским комендантом лагеря Зеелюст майор назначил Душегубова; специальный комендантский хлыст Душегубов достал себе сам, а полицейских вооружил просто палками.

.....

В каждом лагере день начинался с поверки. В Зеелюсте пережившие ночь натужно лезли из коконов, прокашливались и начинали дрожать. Дрожь была непреодолимая, мелкая, внутренняя, не от наружного холода, а от застывших внутренностей. В этой дрожи нас гнали на свежий воздух, на мытье, на поверку и на зарядку. Независимо от условий погоды, мы по команде раздевались до кальсон, выстраивались и выравнивались. Затем рассчитывались по порядку номеров и подходили под шланг, из которого санитары поливали нас водой. Затем надевали штаны и занимались гимна-

стикой: крутили туловищами, поднимали и опускали руки, делали приседания. Затем торопливо одевались, снова торопливо выстраивались, снова рассчитывались по порядку номеров и под присмотром Шрека пели хором «Катюшу» или «Вечерний звон», пока Брюльман в сопровождении Душегубова и полицейских добросовестно проходил между вагонок и по торчащим из коконов головам пересчитывал не вышедших на поверку. Затем душегубовская команда дружно вытаскивала их на свет Божий, и доктор с фельдшером начинали борьбу за полумертвых, доказывая, что они еще дышат. (Полумертвые уже не ели, а паек на них полагался как на живых.)

Вечером опять была поверка, а потом наступала ночь, и стайка голодных смертей начинала порхать по лагерю.

.....

Эта стайка слеталась к нам, как голуби к рассыпанному зерну, как мухоловки к раскрытым сотам, с беспомощно шевелящимися личинками.

Только наши смерти были нежней. Они не толкались и не проглатывали нас. Наши смерти были как бабочки, легкие и красивые.

Над каждым своим избранником смерть порхала на легких крыльях, садилась на него, как на цветок, лаская и щекоча ножками, нежными, как волосы любимой. Укладывала в прохладные простыни. Обмывала многонедельную грязь. Поправляла подушку и гладила по лицу. Целовала порхающими поцелуями, едва касаясь устами, веселясь и играя.

С тихим свистом втягивалась между тюфяками, ложилась рядом в холодный кокон, беззвучно смеялась и отдавалась избраннику, как единственная, неповторимая, только ему назначенная, найденная наконец жена.

И никому не хотелось есть перед смертью, и было нестрашно и нехолодно, и только самым старым из

нас в предсмертной икоте виделось детство, весна и сырая проталинка с пестрой бабочкой на еще не обсохшем пне.

.....

О смерти потом не вспомнишь, а о жизни и вспомнить нечего. Я ведь говорил уже: о лагерях нет памяти.

Мы прозябали, как личинки в коконах. Мы знакомились с психикой червяка. Мы вздыхали, задавая вопросы: зачем мы тут? зачем было жить? зачем умирать? зачем было детство? Мы томились от истощения и дизинтерии, к которой во многих местах прибавлялся еще и тиф. Немцы делали с нами, что хотели: «Сталин не подписал конвенции Международного Красного Креста. Вот теперь и страдайте, за вас никому заступиться. Вы не французы и не англичане. Вы — изменники вашей советской родины. Умирайте, вы никому не нужны. Важно только, чтобы вы не сражались за Сталина».

Мы не понимали, что происходит. Мы не понимали, зачем тратить на нас эту проволоку, эти тюфяки, эти буханки хлеба, эту гнилую брюкву. Мы видели, как блестит за лагерем озеро. Мы видели пристань с причаленной баркой. И мы спрашивали, не проще ли было бы побросать нас всех в эту барку, вывезти в это озеро и утопить там всех кучей, как топят лишних щенят: уведут куда-нибудь мать, повытаскивают по одному из будки, побросают друг на друга в мешок (они возьмется там, пищат) и — в пруд, на топкое дно с карасями и водорослями.

.....

На каждые сто человек нам полагалось ведро бурого угля в сутки. Мы получали еще по литру того, что называлось «супом», и по килограмму солдатского хлеба на пятерых. Делить хлеб было искусством и священнодействием. Каждая пятерка выбирала себе делильщика. Хлеб резали специальной ниткой — две

горбушки и три середки, — затем кто-нибудь отворачивался, и главный делильщик, положив руку на кусок, спрашивал: «Кому?» Это называлось «раскричать хлеб».

В еде проявлялся индивидуальный характер каждого. Некоторые ели всё сразу; другие делили паек на «завтрак», «обед» и «ужин». Было несколько разных учений об использовании питательности хлеба.

Для терпеливых: класть в рот небольшой кусочек и ждать, пока он растает (крахмал превратится в сахар, а сахар питательнее крахмала).

Для нетерпеливых: глотать, не жуя, как делают собаки (с большими кусками желудка больше работы).

Все замечали, кто как ест и как на кого действует еда, старались установить, какие категории едоков дольше не умирают.

В ту зиму в сталагах не было ненависти. Кого ненавидеть? Сталина за то, что не подписал конвенции Международного Красного Креста? Гитлера за то, что не оказался Шиллером? Немецкого коменданта за то, что назначил нам Душегубова? Немецких солдат за то, что не позволяют нам разойтись? Смерть за то, что освобождает нас?

Каждый ел, что ему положено, и умирал смиренно.

.....

В семье спрашивали меня про товарищей: расскажите про них, не одни же вы там сидели.

Бедные мои товарищи! Что́ я помню о вас? Что́ могу о вас рассказать? Душегубов был мой товарищ. Я служил ему переводчиком.



Дорогая Шарлота Германовна! Если бы не вы с вашим Шиллером и не горячее мое желание прочесть Гегеля в оригинале, Душегубов задушил бы меня между двумя тюфяками, попал бы на службу в гестапо и вернулся бы к оперативной работе. Комендантство в лагере Зеелюст было для него только стартом. Душегубовых любят фашисты.

Но разговаривать с ними он мог только через переводчика.

.....

В Зеелюсте Душегубов тотчас узнал меня, когда вышел принимать нашу группу. Нам обоим тогда показалось, что кому-то придется посторониться.

Но рапортовал тогда я. Первый удар был мой. И я собранно подошел к майору, очевидно, начальнику лагеря, вытянулся и отрапортовал по-немецки: группа такая-то, столько-то человек, переводчик такой-то. Цу бэфель, ждем вашего приказа!

И майор козырнул снисходительно, как козырял Брюльману и Душегубову, и вяло сказал:

— Einrücken! Пусть входят в лагерь. Зайдите потом ко мне с внутренним комендантом.

— Расположить людей и со мной к начальнику лагеря! Шаг-ом-арш! Ведите людей. — И Душегубов повел нас в лагерь, повинувшись моей команде.

А у душегубовского стола я, подумав, вынул одну из двух папирос, оставшихся в кармане покойного Бориса Львовича, размял ее, сунул в рот и зажег, стараясь нежадно затягиваться. Потом сел на душегубовский стол, не спеша порылся еще раз в кармане, достал вторую, последнюю папиросу и бросил ее перед Душегубовым: пока закуривай!

Душегубов смотрит на папиросу и понимает, что жить будем вместе. Не сразу берет ее и думает об условиях. Смотрит под стол, на мой нагло раскачи-

вающийся сапог. В первом раунде я набираю пункты.

- Сколько народу в лагере?
- Две тысячи восемьсот тридцать пять человек.
- Командиров? Политработников?
- Не учитываем.
- Учтете. Питание?
- Супу — литр. Хлеба — по двести грамм.
- Отопление?
- Ведро угля в сутки на каждые сто человек.
- В килограммах?
- Не вешаем. Кил двадцать будет.
- Взвесите точно. Смертность?
- Учитываем при поверках.
- Правильно. Кто ответствен за порядок?
- Я.
- А кроме тебя?
- Заместителя не имею.
- Назначим. Врач есть?
- Имеется врач и фельдшер.
- На работу выходите?
- По нарядам, на внутрилагерные и в похоронную команду.
- В процентах?
- До десяти процентов.
- А точно? На завтра предъявишь график. Пошли.

Я бросаю недокуренную папиросу. Беспощадно давлю ее ногой и, не оглядываясь, спиной чувствую жадные руки, сцарапывающие с пола табак. Иду впереди Душегубова к воротам, козыряю охраннику: к майору, цум геррн майор!

Охранник знает и с готовностью сопровождает нас в тот самый жарко натопленный кабинет, в котором сидела Танюрочка.

Майор принимает рапорт. Потом садится и культурно указывает на стул: прошу вас.

Я сажусь, а Душегубов стоит.



— Скажите, где вы научились по-немецки?

— В Москве. У меня была добрая учительница.

— О, так вы из приличной семьи! Кто были ваши родители?

— Отец — врач. Погиб в прошлую мировую войну.

— О! Я тоже в прошлую войну воевал на Восточном фронте. Вот видите железный крест. Это — за взятие Либавы. О, царская армия была нам достойным противником. В ней были настоящие офицеры. Поразительно, до какой степени высший слой тогдашнего русского общества был похож на настоящих европейцев. Особенно офицеры. Русские офицеры того времени и в плену держали себя достойно. Это были рыцари. Да-да, рыцари. Русский офицер и германский офицер в то время понимали друг друга. С ними было приятно иметь дело. Ein Vergnügen! Очень многие говорили по-немецки. С акцентом, разумеется, как вы, mit dem rollenden russischen «R», но говорили, а по-французски говорили все. Так что с не знающими немецкий язык можно было поболтать по-французски, man konnte französisch plaudern. Теперешние же — дикари... Я рад, что имею наконец среди моих пленных хоть одного, говорящего по-немецки. Я назначаю вас главным переводчиком в этом лагере. Вы будете получать двойную порцию супу. Переведите же этому человеку. Переведите, чтобы он понял и сделал. Переведите сейчас же!

Майор вскочил из-за стола, точно вдруг его подбросило пружиной, и, тыча указательным пальцем то в мою грудь, то в душегубовскую, то в свою собственную, побагровел и завопил во всю мочь:

— Dieser Mann wird zum Hauptdolmetscher hier!! Verstanden?! Jawohl, er wird der Hauptdolmetscher! Pohnimaj?! Der Hauptdolmetscher! Переведите же! Что же вы молчите?!

Я перевел:

— Так вот, Душегубов, я назначаюсь здесь пока переводчиком. Долго не задержусь, но куда здесь, ты как начальник полиции лично отвечаешь за меня перед майором. Обеспечишь двойной приварок. Ясно? Говори «яволь!» и пошли.

И Душегубов вытянулся и рывкнул «яволь!». Майор успокоился, козырнул. Первый раунд я выиграл.

.....

Я сплю с тщательно отточенным ножом в руке. Я получаю двойную порцию супа (не из общего большого котла, а из другого, поменьше, из которого питается Душегубов, полицейские, врач и фельдшер).

Я веду сложные расследования о том, кто насрал, не дойдя до сортира и кто рылся в помойной яме, разыскивая съедобные остатки. На поверках я рапортую Брюльману о состоянии живых и мертвых и не заступаюсь за пленных, когда полицейские лупят их палками.

Каждую ночь мне снится: четверо душегубовских полицейских ухватываются за углы тюфяка, которым я накрываюсь, и держатся за углы. А Душегубов сам, лично, наваливается на меня животом и грудью, на то место, где у меня голова. Я тычу ножом в тюфяк, но не могу задеть Душегубова: нож вязнет в соломе, как в тесте, я хочу высвободить его, хочу закричать, кричу и просыпаюсь.

И утром встаю разбитый, и Душегубов всё меньше меня боится, и говорит уже тоном хозяина, и начинает показывать мне, что начальник здесь он, Душегубов, как был, так всегда и останется, а сопротивление — бесполезно: жизнь есть жизнь, всюду та же, как при большевиках, так и при фашистах.

Волчий взгляд, волосатые кулаки, вставленные еще за счет советской власти неумолимые стальные челюсти...

.....

Второй раунд идет в его пользу.

— Ты бы вот что: поговорил бы с майором. Вставить тебе зубы, говорю, надо. Врача имеем, так на счет материала, пластмассы этой, как она там называется. Я скажу, а ты переведешь. Пошли.

И я перевожу господину майору предложение господина Душегубова оборудовать в лагере зубо-врачебный кабинет: вверенные нам пленные мучаются зубами, гуманность господина майора нам хорошо известна, и кресло даже не обязательно, — можно на стуле, — но материалы...

И майор отвечает:

— Fein! Это мы можем сделать. Переведите вашему другу Душегубову, Ihrem Freunde Duschguboff, что я желаю, чтобы мой лагерь был образец. Die deutsche Führung, германское руководство желает сделать наилучшее для пленных, захваченных в ходе военных действий. Когда враг сдастся, его шадят — это закон германского рыцарства. Мы сейчас напишем бумагу в Hauptverwaltungstelle für ausgehobene Zahnmaterialien bei der Haupt-KZ-Verwaltung des Reichsicherheitshauptamtes. Всё ясно. Эй, Brüllmann! Brüllmann!!

.....

Теперь не придушит. Дивные белые зубы, как настоящие, много красивей и много слабей душегубовских — цена нашей дружбы.

Теперь не придушит. Теперь Душегубов считает меня своим. Зубы вставлены. Вопрос исчерпан. Спать с ножом в руке нет оснований. А работать себе переводчиком, признать его за хозяина, как было в Кеми... У, подлость!

Воровато протаскивать в лагерь кое-какие побрякушки для умирающих: зубной кабинет, вошебойка, баня (вместо утреннего мытья из шланга; там можно и постирать, у кого сил хватает), отдельный барак-карантин для сыпнотифозных, посыпка дорожек песочком.

И жрать вместе с Душегубовым и полицейскими из специальной кастрюли для начальствующего состава. Плюс каждый день лишний хлеб за счет тех, кто еще не умер, но хлеба уже не ест.

Германское руководство не вмешивается. Германское руководство хочет иметь свой покой и порядок. Германское руководство поняло и оценило Душегубова: дорожки желтенькие, «Катюшу» поют на славу, мертвых закапывают, живых держат в страхе и трепете, а полицейские, словно превратившись в пруссаков, жрут глазами начальство и раскати́сто отгавкивают «яволль!».

Душегубов при встрече с майором с готовностью восклицает «хайль Гитлер!», вытягивает руку, как деревянную. Плакатный большой портрет «Гитлер-Освободитель» висит в столовой. Нам роздали брошюры «Германский национал-социализм», «Мировое еврейство» и «Германское руководство в Новой Европе». Намечается культработа.

.....

Я пробовал объяснить майору, чем занимался Душегубов в России.

— Na, und?.. So was gibt's überall. Это не мое дело. Это дело гестапо. Как офицер старой школы, я не желаю связываться с этим. И вам не советую.

.....

Январь. Февраль. Март. Немецкий март — чахоточная весна. Брюльман просит объяснить Душегубову, что скоро опять «форвертс» и «Русслянд капут», что тогда кончится для нас проволока и мы сможем начать служить Фюреру как люди, наученные порядку, на собственном опыте знающие, какая прелесть Германия.

.....

Рабочий наряд посыпает песком дорожки, пятнисто красит бараки, маскируя их от бомбежек, обкладывает камешками аппель-плац, ковыряет грядку во-

круг конторы, сажает анютины глазки. Птички чирикают. Просторно. Чисто. Каждый спит на двух тюфяках и накрывается третьим. В день моего прихода нас было 2835. Новых не поступало. За зиму мы захоронили 1890 (год рождения Бориса Львовича), ровно 66,6666...%. Две трети. Двое на каждых троих.

Мы с Душегубовым, кухонными придурками и полицией подходим к финишу «выжить», имеем шанс вернуться на родину и под руководством Брюльмана строить германский социализм в убитой России. Главное — «Яволь!» и «Хайль Гитлер!» — Душегубов будет говорить сам. Остальное — я.

Подлость!

.....

Я спокойно сплю без ножа. Нож в моем сердце. По ночам, а то и с утра, и днем, нож кромсает красные ломти стыда.

Я захожу на кухню. Беру в голодную горсть куски одеревенелой весенней брюквы. И бросаю обратно в кастрюлю: стыдно. Мне незачем жить. Наш девиз «ПИЩА = ЖИЗНЬ!» для меня недействителен.

.....

Как доходяга, я забиваюсь в кокон — два тюфяка подо мною и два тюфяка на мне — и не знаю, зачем вылезая, подчиняясь окрику Душегубова. Мне скучно. Я не думаю больше о том, как его погубить. Я понял: он здесь хозяин. Я не думаю о смысле жизни. Я понял, что его нет. Но я думаю о смысле смерти и не могу придумать его. Студентом я работал в морге, разбирал трупы неизвестных, отправлял их в анатомический театр. Я видел десятки трупов, бессмысленных, скрюченных, идиотски застывших. Я бессмысленно пересчитываю статистику. В этом лагере точно: 1890. Евреев у ямы точно: 23 человека. На фронте, когда перескакивал через них, не считал, но, наверное, были сотни. До того, на докторском кладбище, за три года — человек по пятисот в год: тысячи полторы. Это

только я лично видел. Это на *моих* глазах. А к чему это? Словно без меня не умирают?

Лубянка работает двадцать пять лет... На фронте от Мурманска до Севастополя... Здесь, по сталагам — их, верно, ведь несколько сот, сталагов — сотни тысяч, в коконах, под тюфяками...

Человечество живет миллионы лет. История... К чему всё это?

Душегубов — не первый и не последний... Бесмыслица, абракадабра... Душегубов и сам умрет. Ему, наверное, уже за пятьдесят. Ну, еще десять, ну, самое бóльшее, двадцать...

Мне тридцать два. Тёте было бы семьдесят. Может быть, и жива. Такие долго живут.

А мама меня не видела, умерла во время родов. А как жаль, что не видела! Говорят, роженицы страшно рады, когда видят своего новорожденного. Душегубов тоже был новорожденным. Его мама была, верно, рада. А потом он лежал в пеленках и спал. Он был сладкий и нежный, как все младенцы.

Федора я погубил. Я. Душегубов здесь ни при чем. И Доктора тоже я.

А Аркадия, с которым играли в детстве, убили сектанты.

Это мне Душегубов рассказывал. Палачи простодушны, как мясники, и знают людей, как скотину.

.....

Как странно, что умер мой школьный товарищ Аркаша, самый умный во всей нашей школе, самый талантливый, самый наглый, поражавший и нас и учителей бесстрашной циничностью мысли!

Аркаша — ребеночек в детской, еще при царизме, при мамочке, бонне и гувернантке. Аркаша — дворянчик в советской школе, в жиденьких золотых кудряшках, с голубыми жилками на белых ручках. Аркаша — юноша вроде Онегина, в острых блестящих туфельках, с тросточкой с набалдашничком, в узеньких брючках

особого дворянского покроя. Аркаша, хвастающий своей родословной и отсутствием политических убеждений. Аркаша, с кавалергардской картавостью объясняющий комсомольцам: «Наш род Свиных дворянствует с тринадцатого века. Классовому чутью для понимания идеологии пролетариата взяться у меня неоткуда. Я не кухаркин сын и управлять государством по Марксу и Ленину не призван. Мы за триста лет свое отупляли. Наше дело — давать теперь критический комментарий».

Аркаша — монархо-троцкист Свиных, внезапный вождь сумасшедшей камеры.

Аркашка-подлец — издатель лагерных «Перековок», организатор мощных панам, Аркашка — придурок с масштабом, понимающий работу ГУЛага.

Аркаша, носивший мне в класс Ахматову, Белого и Гумилева. Аркаша, с которым дружили равнодушною дружбой мальчиков.

Аркашка, сделавший и меня подлецом, Аркашка, как Мефистофель за Фаустом, следовавший за мной...

Не поместилось тогда в рассказ, а теперь беспокоит: и вспоминаю, как тогда, в лагерях, где не все обязательно умирали, мне, счастливому труженику, мне, старательному завкладбищем, именно смерть Аркадия открылась провалом в Смерть.

Когда умер Аркадий, а Душегубов явился по мою душу, я, бесцельно слоняясь по лагерю, в первый раз оглянулся вокруг бессмысленными глазами смерти.

Я тогда в первый раз наблюдал, как люди ходят по пустоте.

И теперь опять вижу:

под начищенным апель-плацом, под песочком чистых дорожек, под мокрой весенней землей, под корнями аютиных глазок — смертная пустота.

Пустоглазая смерть, не спеша, разбирает кости. Смотрит вокруг и видит:

Брюльман прошел с наигранной важностью. Брюльман умрет;

собачка майора бежит с наигранным лаем. Собачка умрет;

петух кричит где-то в деревне и думает, что красиво. Петух умрет;

военнопленный тащится с котелком. Военнопленный умрет.

Нынче умерло только двое. С весной стало легче. Нет-нет да и позовут поработать к крестьянам, помочь и покушать. А к чему это?

Кто это торжественно объявил, что смерти нет? Смерть есть, и она неизбежна. Смерть много реальной жизни. Смерти нет только для того, кто сильно ее боится.

Слова Аркадия мне:

— Бессмертья нет, и это утешительно. Чем, по-твоему, могло бы быть бессмертие, как не беспмятно растянутой в вечность старостью, до меня гениально описанной Свифтом (не читал, конечно?) или, гораздо хуже, вечной памятью об упущенных возможностях и сделанных гадостях? Бессмертья нет еще и потому, что каждый из этой публики, — жест рукой на стадо в бушлатах, — ищет вечность на дне котелка и, видя чужую смерть, не может поверить в собственную.

.....

Хорошо представляю себе замызганную столовую. Портреты Сталина, Бермана и Ежова или, может быть, уже Берия. Лозунги: «Слава передовикам-производственникам!», «Религия — опиум для народа!». И представляю себе Аркадия в гражданском пальто поверх бушлата, сидящего, конечно, развалившись, перед работягами и, положив ногу на ногу, поигрывая неизменной своей тросточкой, балаганящего сочным баритоном с фальшивой подделочкой под народ:

«Вот что, граждане заключенные. Я удивляюсь



на вас и не перестаю удивляться. Что я вижу перед собой? Я вижу не рабочие единицы, я вижу скучающих доходяг на краю их братской могилы. Предупреждаю: с вашими показателями жить вам осталось недолго. Пора, как говорят попы, и о душе подумать. Некоторые из вас плоховато работают, но зато веруют в Бога, то есть воображают, будто есть Бог, Который после смерти обеспечит вам лучшее будущее. Эти надежды необоснованны. Научно доказано, что в будущем у вас пустая дыра, из которой ничего не выглядывает. Поймите меня правильно: ни-че-го! И бросьте, уважаемые, обманывать сами себя и друг друга, воображая, что что-то есть, когда ровно ничего нет.

На воле, как хорошо известно, человек работает, чтобы жить, а в наших условиях, чтобы выжить. Не думаю, чтобы верующие крестики были какие-нибудь особенные. Молись — не молись, а для котелка норму надо выполнить в процентах, а не в поклонах. Проценты же, которые вы сдаете, идут в пользу не вашему Богу, а нашему вождю и учителю, дорогому товарищу Сталину, от которого никуда не уйдете, потому что хозяин-то здесь не Бог, а товарищ Сталин и котелок. Не нравится, — ложитесь и помирайте, как говорится, добровольно: плакать об вас здесь некому. Здесь не приходится жить для Бога. Здесь можно жить только для Сталина. Поймите это, уважаемые, и покоряйтесь».

И потом, разогревшись:

«Молиться желаете, божьи залупы? Вот вам молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа, трех всемирных обманщиков, у Которых окурка не выпросишь. Молитесь: «Бог заключенных да обеспечит махрой курящих верующих, добрый, заботливый Бог! Сделай, Боженька, так, чтобы в бараке не дуло, чтобы каша не пригорела, чтобы соседи не толкались на нарах, чтобы не ныли кости, чтобы не донимали блохи.

Сделай, Боженька, чтобы снизили нормы, чтобы кончились разговоры, чтобы забыли, что ели на воле, чтобы не хвастали тем, чего вовсе не было. Сделай, чтобы мне как-нибудь придуриться, чтобы все ушли на работу, а я бы остался в бараке, и чтобы у рыжего Васьки-старовера найти в мешке горбушку, ту самую, которую он против своей веры закосил у баптиста-Лёшки. Дай мне, Боженька, эту горбушку, и я съем ее с закалом, с соломинами, с запекшимися в корке угольками, с гнилой бечевкой, которую найду в мякише... Сделай, сделай, сделай!»

Что кому из вас Бог когда сделал, молитвенные зануды? Вышел кто из вас с Божьей помощью из лагеря? Пристроился кто хоть в придурки? Сперли, Васка, твою горбушку или ты сам ее слопал?»

.....

Как тогда ясно всё было! Как осмысленно! Как разумно! Мы выполняли нормы и получали корм. Мы были нужны. Мы приносили пользу. Над нами был великий Хозяин. Мы вырыли ему канал, свалили и вывезли различными способами миллиарды кубометров древесины. Мы проложили тысячи километров дорог. Мы создали угольный бассейн и нефтяные промыслы на Воркуте. Мы построили медно-никелевый комбинат в Норильске. Мы освоили Заполярье. Мы достроили Комсомольск-на-Амуре, когда разбежались комсомольцы. Мы умирали осмысленно: мы могли надрываться и ненавидеть.

.....

Хорошо представляю себе ненависть Васьки-старовера, пристукнувшего Аркашку. Душегубов рассказывал с простодушием протокола:

«Удар, тебе говорю, по темени нанесен гранью строительного кирпича с положения глубокого сгиба на четвереньки, причем, как сказано, в момент прохождения убитого в поле действия рук убийцы. Все потом, гады, ввали, будто убитый визжал перед смер-

тью, как боров. А кирпич мне показывали: весь в мозгах. При таком повреждении не повизжишь. Разве что получилось по Павлову, вроде короткого замыкания рефлекса».

.....

Палачи простодушны, как мясники, и знают людей, как скотину.

А я хорошо слышу визг, с которым погиб Аркашка.

Душегубов рассказывал мне еще, будто ему показывали дырку в земной коре, вроде барсучьей норы, ход в никуда, прожжённый душой Аркадия.

Пустая дыра, ход в никуда.

Душегубов и я, какая разница?

\*  
\*  
\*

И совершенно напрасно (непонятно, как он явился?) сидит передо мной, как призрак, то ли другой Аркадий, выросший под другим именем в эмиграции, то ли его двойник и двоюродный братец, Виталий Константинович Свиньин, в коричневом с золотом мундире.

Сидит и разглагольствует, как всегда, знакомо заложив ногу на ногу. Китель он расстегнул. Черный зонтик поставил в угол. Желтую фуражку с орлом вверх дном положил на стол. Вытер лысеющий лоб очень тонким батистовым, очень большим платком (распустил запах одеколona). Развернул бутерброд с искусственным мёдом. Режет перочинным ножичком и ест. Пухлые ручки держит округло, совочками, как Аркаша. Аккуратно отрезанные кусочки накалывает на ножичек, заносит в ангельски розовый ротик. Гнилые зубки жуют. А сам он сидит, развалясь, и болтает непринужденно.

— Перестаньте же, наконец, удивляться, — гово-

рит он мне, — что мы так похожи. Наши отцы тоже были похожи. Женились на похожих сестрах, баронессах Меллер-Закомельских (Аркаша, верно, не рискнул вам рассказывать, что в нем баронская кровь!). Бароны же Меллеры в дальнем родстве с Розенбергами (балтийские немцы — сплошные родственники). Вот мой теперешний шеф, имперский министр завоеванных земель на востоке, и считает меня почти племянником. Ему лестно: Свиньины ведь в Бархатной книге записаны, а Розенберг — просто балтийский немец, даже не фон, хоть теперь возвысился до министра. Я его раньше не признавал. Только теперь стал звать онкель Альфред. И книжку его, «Миф двадцатого века», тоже только теперь прочел. Книжка вздорная, но онкель думает, что в ней основа основ, не ваше выдуманное Марксом классовое сознание, а голос светлой германской крови, зов, призванный положить конец эгалитарному всесмещению, марксизму, масонству, католической церкви и, главное, мировому еврейству. «Миф» построен на понятиях чести, доблести, преданности и дисциплины, присущей германской расе и несовместимой с еврейско-христианской жалостью. Насчет жалости я всегда с ним спорю. Жалость, по моему, благородное, святое чувство. Жалость неистребима. Хотите бутерброд? Возьмите, у меня много.

Византийский император Василий Болгаробоец, между прочим, тоже чувствовал жалость. После победы при Адрианополе он повелел собрать всех пленных болгар и ослепить их, оставив лишь каждому сотому по одному глазу. Император Василий был христианским государем. Он не взял греха на душу и пощадил жизнь болгар. Он только лишил их возможности воевать и отпустил на родину, позаботившись даже о поведырях. Вдумайтесь и представьте себе, как это было, как крепко связанных веревками болгар валили рядами на землю, как палачи калили железо, как помощники палачей вцеплялись болгарам в волосы, как глаз

шипел под железом, как вопили злосчастные ослепляемые! Как тащились они потом на север, держась друг за друга, — впереди кривой поводырь. Как навстречу бежал народ, как кричали в Болгарии жены, плакали дети, выли собаки... Болгары и до сих пор ненавидят греков.

Ваше положение много лучше, чем было у пленных болгар. Тем более, что с вами погорячились. Фюрер рассчитывал принимать парад победы в Москве в октябре-ноябре, а наши райхскомиссары, Шикеданц для Кавказа и не помню уж кто там для Туркестана, и сейчас еще сидят на Раухштрассе. Блицкриг не удался, и предстоит по крайней мере еще один восточный поход. Так не удивляйтесь, что вокруг ваших лагерей разовьется современное подобие работоторговли. Окрестные крестьяне — я слышал — уже примеряются к вашим мускулам. Наше министерство интересуется интеллигенцией (я, кстати, потому и здесь). Есть интерес и в промышленности. А это значит, что вы скоро начнете приносить пользу, включаться в борьбу с иудобольшевизмом, доказывая делами, что Сталин не зря обвинил вас в измене, что вас стоит и покормить, что вы не такие уже полуживотные большевики, как предполагалось первоначально.

Вдумываться надо, дорогуша, вдумываться и разбираться, а не витать в древнегерманстве, как мой онкель со своим недоучкой-фюрером. В том, что мы с вами переживаем сейчас, значителен не фюрерский «дранг нах остен» и не дядюшкин «Миф», а война, история, те самые исторические роды, в которых ваш иудобольшевизм и наш кровавый фашизм желают сыграть роль повивальных бабок, восприемниц того, что останется. Останется же нагое тело, нагое сознание, нагой инстинкт самосохранения.

У вашего Маркса есть, впрочем, и очень важное — теория базиса и надстройки с выводом: надо влиять на базис. Глупость же Маркса в том, что он имел пол-

ную возможность прочесть «Происхождение видов», но не читал, а вместо того вздумал послать в подарок — кому? — Дарвину! — свой «Капитал» во французском издании.

Фюрерский «дранг» — такая же надстройка, как производство орудий производства. Немцы в советском плену будут вести себя точно так же, как вы в немецком. Они так же охотно будут превращаться в антифашистов, как вы будете объявлять себя антибольшевиками. Это император Василий не умел превращать болгар в греков. А мы умеем. Превращение из коммунизма в фашизм и обратно — дивный фокус нашего времени. Вы знаете, в нашем министерстве есть уже запорожцы — потомки готов. «Ряд волшебных изменений милого лица», как говорит поэт, а в сущности простая вещь: вам предлагается сменить хозяина и переодеться по его вкусу. Переодеться — значит раздеться и одеться снова, бросив взгляд на голое тело и поняв, что ваша одежда — не вы, ваши мысли — не вы, ваши убеждения — не вы, ваше сознание — не вы (что каждому грамотному психологу, кажется, уже и так известно). А вы — это ваш голод, ваш страх, ваша похоть.

Вот почему коммунизм — утопия для кабинетных недоносков, а германский сверхчеловек — вагнеризация Ницше. Думается, что к концу войны эти надстройки рухнут и останется только базис: задача наладить общественное производство на основе научного планирования рас. Без пролетариев и сверхчеловеков, но с выведением общественно-полезных пород. Немцев в этих условиях целесообразно будет использовать как рабочую силу: они чрезвычайно прилежны и считают прилежание добродетелью. Евреев же можно пустить в интеллигенты: у них прирожденная мировая скорбь, основа культурного творчества.

Идиотскую идею фюрера покорить побольше странства и развести на нем сплошных немцев я поэто-

му не одобряю. Герр Свиньин, странным образом, желает остаться славянской свиньей, и тот факт, что коэффициент нордичности его черепной коробки превышает тот же коэффициент у герра Гитлера, ничего здесь, оказывается, не меняет. Я, пожалуй, сторонник расовой теории, но я не национал-социалист, и форма на мне не партийная, а чиновничья. Я — чиновник министерства оккупированных областей на Востоке. А служу я в нем по той же причине, по какой и вы будете служить. Мы ведь с вами из породы переводчиков. Специалисты по приспособлению языка к чужим мыслям. Чистопородные переводчики будущего вообще сами думать не будут. Просто никак не могу отвыкнуть.

Я дожевал бутерброд (здорово вкусно было!) и, облизываясь, ответил:

— Ваши мысли очень интересны. Брюльман, однако, мне уже объяснил основное. Возражение же у меня такое: как вы думаете организовать ваше планирование, если люди у власти уже отбирают нужную им породу с помощью собственной интуиции? И если мы с вами из породы переводчиков (в чем вы, пожалуй, правы), то вот русский комендант в этом лагере, Душегубов, принадлежит к той породе, которой я, например, перевожу. Он уже посидел тут у вас, возможно, тоже получил бутерброд. Так учтите: он умеет выкорчевывать мысли у тех, кто не умеет от них избавиться. Он — чекист с девятнадцатого года. Вам понятно, что значит «сигнализировать»? Большое спасибо за беседу и особенно за бутерброд. Разрешите идти?

— Позвольте-позвольте! — Виталий Константинович даже встал, оказавшись фигурой мельче Аркадия. — Чудак вы человек! Почему же вы не обратились в гестапо? Ничего сложного. Кадровых большевиков там сразу уничтожают. Я, действительно, немного поговорил с этим чекистом. Но он мне явно

сочувствовал и даже кое-что записал. Но, может быть, вы и правы. Это было неосторожно. Да-да, конечно, это было неосторожно. Послушайте, я вызову сюда офицера гестапо и он вас допросит. Или вы не хотели бы стать предателем?

Стать предателем я хотел только по старой памяти. Кроме того, я понимал, что офицеру гестапо в сущности следовало бы дружить с Душегубовым. Но раз начал, надо кончать:

— Вызывайте. Среди людей есть порода, естественное развитие которой невредно пресекать искусственно.

Свиньин внимательно расспросил меня, аккуратно всё записал и начал звонить по телефону. А на другой день прибыл маленький веснущатый, посмотрел на меня, постучал двумя пальцами по машинке и увез Душегубова.

Третий раунд не состоялся. Я случайно нокаутировал Душегубова первым ударом.

.....

Я лежу и смотрю в потолок, больше мне делать нечего. Что надо, сделано. «Моего друга» Душегубова больше не существует. Я предал его преднамеренно и сознательно, с душегубовским равнодушием свалил его веснущатому гестаписту, как крестьянин сваливает с воза проданную свиную тушу. Я считаю, что поступил неплохо, и меня злит, когда назначенный на место Душегубова (по подсказанной мною же рекомендации Свиньиной) новый внутренний комендант, безупречно порядочный капитан Олеандров старается не подавать мне руки. Я не ставлю ему в заслугу, что полицейские больше не смеют драться и правом рукоприкладства пользуется только Брюльман, и не собираюсь помогать ему в хлопотах по спасению доходяг. Олеандровское добро — дешёвка, и попадись мне второй Душегубов, я бы и его сдал гестапо.

Интересно, а если бы надо было допрашивать?



Тем же способом: подошел и коротким прямым ударом — в середину лица, между глаз, в переносицу? Око за око, зуб за зуб?

Душегубов вставил мне зубы и не был моим врагом. Мы могли бы и дальше жить вместе. За что, собственно, я его? За профессию? Или за то, что эвакуировался, не успев меня расстрелять?

.....

Гестапист приезжал опять. Вызывал. Выдал тридцать шесть сигарет. Спрашивал, нет ли еще комиссаров или иных большевиков.

Отвечать на его вопросы? Стать «фауманом», доверенным лицом? Перебрасываться из лагеря в лагерь, выявлять биографии Душегубовых (чем занимался до сорок первого?) и коротким прямым ударом — формуляр двумя пальцами по машинке: имя, фамилия, номер... Не дана ли мне эта вторая жизнь, чтобы расчитаться за первую?

Душегубов был комендантом и остался бы, если бы не я. Сигареты я выкурю, но дальше нет: «Синьор, я бедна, но душой не торгую»; по вашей цене, конечно.

Я — не ребенок. Душегубовых много, а я один. Полицаи под их командованием. Мараться мне незачем. Мои знания и жизненный опыт пригодятся министерству завоеванных областей на Востоке.

\* \* \*

В той моей первой жизни был Федор, был Доктор, был светлый Анарх, был Монастырь и побег в чудесную культурную Европу. В этой — Виталий Свинын, комната у фрау Райх, стол в министерстве, удостоверение личности, продуктовая карточка и сберкнижка.

— Выжить — задача животного, — говорит мне

Виталий Константинович. — Задача человека, если он с головой, — жить и давать жить другим.

Виталий — мой благодетель. Он открыл мне возможность жить. Он вывел меня из плена и устроил на работу в министерстве. Он помог мне найти прекрасную комнату с паркетным полом и с видом на двор, по которому ходит дворник.

Я прихожу домой в половине шестого и, пожелав доброго вечера хозяйке (прах мужа, пенсия, множество гребней в седой голове, добродетель, как деньги в сберкассе), могу отдыхать среди плюшевой мебели, любоваться собой в трюмо, пользоваться ванной комнатой и, лежа на пуховой перине, рассматривать люстру с подвесками и лепку на потолке (завиток направо, завиток налево, купидоны в медальонах по углам).

Я снабжаюсь по немецким нормам. Мне положено два яйца в неделю, а ежедневно пятьсот граммов хлеба, сорок граммов мяса, десять граммов жира плюс снятое молоко, сыр, крупа, макароны, картофель по специальным талонам.

Я получил ордера на костюм, на пальто и шляпу, на три рубашки с запасными воротничками, на три пары белья, на носки и ботинки. Я выкуриваю ежедневно шесть сигарет, не считая тех круглых и крепких трофейных, французских или бельгийских, которыми угощают меня чванные унтер-, обер- и гауптштурмфюреры, авторитетно разъясняя при этом, как управлять славянской душой с помощью водки, махорки и нагайки. (Я приветствую их немецким приветом «хайль Гитлер!»)

Я не вмешиваюсь в этнографические дискуссии представителей народов России и не оспариваю границы их будущих государств. Не улыбаюсь островам чеченца, издающего для пленных газету «Газават» и под лозунгом «Аллах над нами, Гитлер с нами!» вербующего соотечественников в северокавказский легион. (Соотечественники думают, что Аллаха нет, а

Гитлер — сволочь, но в легион тем не менее вступают.) Я осторожно отмалчиваюсь, когда Свиньин затевает провокационные разговорчики, и не высказываю никакого мнения о программе работ нашего министерства.

Бои в излучине Дона для меня ничего не значат. Я в глубоком тылу. И мне всё равно, Гитлер ли будет свирепствовать над Россией, Сталин ли будет душить обескровленную Германию. Я устроен на интеллигентную работу и дорожу ею. Я служу и получаю жалованье. Я перевожу на русский язык брошюру «Еврейство и большевизм» и принимаю участие в составлении «Календаря русского крестьянина» (20 января — день рождения нашего министра Розенберга; 30 января — приход к власти Адольфа Гитлера; 12 февраля — убийство коммунистами Хорста Весселя).

Я всё делаю добросовестно и в срок. Я не подвел своего благодетеля. Я на хорошем счету, и меня не прогнали вместе с украинцами, когда сам господин министр совершал обход наших канцелярий в сопровождении любимой овчарки Белли и свиты из оберштурмфюреров и орденсьюнкеров.

На меня можно положиться. Мой перевод безупречен. Мое поведение корректно. Душегубова со мной нет. До гестапо и лагерей мне нет никакого дела. Я не вмешиваюсь в политику, никого не подсиживаю, ничего не подслушиваю, ни на кого не строю доносов, никому не становлюсь поперек дороги.

— Der Kerl ist zuverlässig, könnte eingedeutscht werden. Достоин доверия, можно бы принять в немцы.

Я живу и даю жить другим. И Свиньин охотно мне протезирует.

В свободное от работы время я могу любоваться городом Гегеля. Могу посидеть, если пожелаю, в Тиргартене на скамейке с чугунными ножками, выбрасывать в урну бумажки от съеденных бутербродов.

За десять немецких пфеннигов могу пользоваться хо-рошеньким домиком-сортиром (MÄNNER FRAUEN — сторожиха с вязаньем на стуле).

За двадцать пять пфеннигов могу выпить кружку жидкого пива, которое на паре слоноподобных лошадей подвозит к пивным возница в кожаном фартуке (много толще и красней Брюльмана. Дубовые бочки с пивом он сбрасывает на специальную джутовую подушку и скатывает в окно подвала, копыта же лошадей обтирает специальной тряпкой).

За пару марок могу пойти в солидный буржуазный ресторан, сесть за столик с накрахмаленной скатертью, расстелить на коленях салфетку и, внимательно просмотрев меню в сафьяновом переплете, остановиться на комбинации из натертой брюквы с морковью (Kohlrüben mit Mohrrüben, bürgerlich, 5 г жиров) или выбрать брюквенный суп на домашний манер (nach Hausfrauen-art, без жиров и без карточек. Почтенный официант во фраке торжественно зачерпнет его из миски и нальет в тарелку с золотым кантиком).

Вечером могу пойти в «Скалу» или в «Винтергартен», куда, поддерживая дух победы, наш гениальный соперник, министр просвещения и агитации Геббельс согнал артистов новой Европы. Могу, при желании, покрутиться вокруг Александерплаца, где отчаянные иностранные оборванцы, рискуя расстрелом, спекулируют сахаром, драгоценностями и консервами. Могу пойти в «Балтикум» или в «Дон», где казачий хор в разноцветных косоворотках, подражая Жарову, поет «Вечерний звон» и «Стеньку Разина», а пухлый детина с бледностью профессионального пекаря тискает писклявую балалайку, изображая на ней по заказу эсэсовского майора не то марш Радецкого, не то оркестровый пассаж из бетховенской Пятой.

Моя жизнь превосходно организована. Мое положение упрочено. У меня есть комната, сберкнижка и служба. Я побывал у памятника Неизвестному Солдату,

посмотрел, как гусино сменяются караулы. Был на кладбище, у надгробия черного мрамора: AUGUSTIN SPARSAM, Sparkassendirektor.

Я рассчитываю, пожив и не помешав жить другим, успокоиться под дождем с ним рядом.

Я живу, как положено добропорядочному и благонамеренному гражданину, вопреки затемнению и бомбежкам сохраняющему покой и порядок. Здесь, в центре культурной Европы, в Берлине, это вполне возможно.

Я не то что скучаю — я не дитя, чтобы веселиться, но у меня каждый день остается время на размышления, а размышлять мне решительно не о чем.

И когда Свиньин снова начинает поучительный гимн своей жизненной мудрости, я кратко и ясно объявляю ему об этом.

— Так-так. То-то я замечаю, что вы закисли. Напрасно. Размышления — отрада философа, а искание правды — наркотик, способный и вас оживить. Я готов ввести вас в круг лиц, ищущих правду. Хотите? Смените только воротничок. Не начинайте опускаться, дорогуша.

\*  
\*  
\*

Я опьяняюсь наркотиком чужой правды, греюсь у чужого очага. Я рассматриваю младенцев в чужих альбомах и понимаю, как сладко, когда цепкие детские лапки хватают и больно тянут свисающие над колыбелью волосы. Я растроганно сижу в углу и наблюдаю. Я, как дворовый пёс, которого впустили в тепло, весь истаиваю от счастья.

Виталий приводит меня сюда. И когда к концу рабочего дня он ноншалантно скажет, «а не пойти ли нам к Вергункевичам?», я радостно мчусь переменить воротничок и жду его у выхода из метро «Байришер-

плац», чтобы вместе с ним войти и весь вечер сидеть, как египетский статуй, положив на колени руки.

Виталий — мой благодетель. Он не только вывел меня из Зеелюста и устроил на службу в министерство; он ввел меня в эту квартиру, полную смысла.

.....

Квартира у Вергункевичей очень большая и необычайно дешевая. Лучше никак не найти. Семья живет в ней уже семнадцатый год.

Во-первых, место прекрасное: до русской гимназии на Гогенштауфенштрассе (очень важно было, пока девочки учились), чуть направо за угол и — готово дело; до церкви на Находштрассе (там же и Красный Крест, и доктор Аксенов всех лечит) — четыре квартала, а от Комитета по делам эмиграции (Бискупский — Таборицкий, их не любят) как раз в сторонке. Тут же и «Исмих» с пирожками (до войны на Страстной принимал заказы на куличи), и «Арзамас», и Купчинский (книжные магазины), тут же и ресторан «Балтикум» на Аугсбургерштрассе, и до «Медведя» дяде Васе ходить недалеко. Вся русская жизнь как на ладони. И знакомых масса.

Недостаток, конечно, лестница: шесть этажей! Снизу она, правда, мраморная с нескользкой зеленой дорожкой, но от первого этажа — деревянная, и так отчаянно навошенная, что ходить опасно для жизни. Только свой последний этаж бабушка запрещает вошить. Лестница поэтому грязновата, но ведь немцы не видят, а своим всё равно.

Все стены в квартире скошенные. Где крыша, это понятно, а про остальные дядя Вася острит, что по немецкой идее — «воцу эйнфях, венн эс аух комплицирт гемахт верден канн» («зачем просто, если можно и сложно сделать»), а на самом деле потому, что дом строился в двенадцатом году с декадентскими выдумками (потому и сдается теперь так дешево), а в квартире жил известный тогда художник. В его ателье весь

дом теперь сушит белье, а у Вергункевичей — верхний свет в передней и в столовой. (Этот верхний свет от бомбежек раз навсегда замаскировали толем, и приходится жечь электричество.)

Комнат много, и в комнатах много вещей. Вещи это, во-первых, дорогая мебель, которую дешево приобрел Авксентий Афанасьевич, во-вторых, наброски, эскизы и фантазии дяди Бориса и Танюрочки, в-третьих, музыкальные инструменты, на которых все учились и никто толком не научился играть, в-четвертых, вазы, вазочки и вазоны, ковры, коврики и подушки, разные вышивки и прочий хлам, какой дарят друг другу на именины, а затем не знают, куда девать, потом игрушки и спортивные принадлежности, мячи, ракетки, лыжи плюс разные сувениры, альбомы, вывезенные из России вещи, репродукции из Третьяковской галереи и, конечно, русские книги: от Пушкина до «Амазонки пустыни».

Вещи в доме живут, как средневековые феодалы, независимо, самостоятельно и даже назло: нужные всегда пропадают, а ненужные так и лезут в руки. Хозяева маневрируют между ними с привычной ловкостью, гости же — путаясь и сбиваясь, как Ливингстон в африканских джунглях.

Гостей очень много. Приходя, они сдают няньке пакетики. Нянька берет их без разговоров, уносит в кухню и там развертывает. В развернутом виде они появляются потом к чаю. До войны, говорят, в пакетах были пирожные, конфеты, печенье и дорогие закуски, а теперь — куски сала, хлеб, сахарин; чечевицу и ту приносят.

По понедельникам регулярно журфикс (дядивасин свободный день). Тут уж все стулья заняты. И на каждом журфиксе: либо кто-нибудь приехал из Смоленска и расскажет, либо дядя Вася споет («Занесло тебя снегом, Россия», конечно, «Калитка», «Твои глаза зеленые»), либо поговорим о будущей России, либо стан-

цуем. Вокруг Шурочки, Мурочки и Танюрочки — симпатичные молодые люди. Они-то и достали ленинградского профессора. И вот и лекция: «Советский человек и его место в истории».

.....

— Перед внешним миром, а в значительной степени и перед самим собой, советский человек никогда не бывает откровенен. Внешне он всегда старается удовлетворить предписанному стандарту. Он старается выполнить, а по возможности, и перевыполнить, свою среднепрогрессивную норму, или по крайней мере достаточно убедительно делает вид, что старается. Он присутствует на цеховых собраниях, голосует за предложенные президиумом резолюции. Посещает какой-нибудь кружок по изучению истории ВКП(б) или биографии товарища Сталина. Занимается повышением квалификации. С удовлетворенным видом подписывается на заём. Занимается умеренно критикой и самокритикой. Откликается на призывы партии и правительства. Включается в социалистическое соревнование. Он всегда играет роль стопроцентного беспартийного большевика. Он хорошо знает свое место в том спектакле, который ставится на гигантской сцене Союза Советских Социалистических Республик.

.....

Профессор сидел за отдельным столиком, точно на сцене, и с видом артиста, сегодня особенно удачно исполняющего любимую роль, бодро взглядывал на присутствующих. Профессор был счастлив. Он был в Берлине. Он говорил. Он обобщал. Он влиял на умы. Двадцать лет вынужденного молчания в проклятой стране советов не прошли даром. Мысли выношены. Выводы сделаны. Формулировки отточены. Теперь у него были слушатели. Теперь он мог говорить. Профессор радовался и совершенно не думал о том, что круглый его животик, клок белых волос над розовой лысиной и такая же белая бородка клинышком делают



его стариком, хитрым дедушкой, рассказывающим детям неожиданно замысловатую сказку.

— Когда нужно, советский человек легко и свободно говорит на политические темы. На любые случаи жизни у него заготовлено бесчисленное множество словечек, штампов, цитат из речей вождей; и всё это он применяет кстати, бойко и с величайшей уверенностью. У него в высшей степени развит талант забвения вчерашнего дня и смены своих фиктивных убеждений по команде. Никогда не коснется он по ошибке ни одного из многочисленных советских табу. Всегда сумеет поддержать разговор на любую тему: возмутиться вредительством, одобрительно отозваться о качествах партийного руководителя, сочувственно отнестись к поощрению индивидуального огородничества, сурово осудить разбазаривание колхозного имущества, загореться гневом, слушая о фашистских зверствах. Случись, он и перед американской делегацией лицом в грязь не ударит и в самой наивной и непосредственной форме выразит гордость успехами Красной армии и убеждение в обреченности германского фашизма. Свои настоящие чувства он прячет так глубоко, что подчас даже и сам их не знает. Свою роль рядового советского труженика он играет так виртуозно, что и сам не всегда различает, что в нем привычная, годами исполняемая роль, а что он сам, его подлинная душа, его подлинное лицо.

.....

Лампа под матовым зеленым абажуром освещает белые, мягкие руки, перекладывающие листки рукописи. Нет, на лесоповале профессор не был. У него была комната в Ленинграде и доцентура по математической логике. А здесь у профессора уже есть черный, открывающийся на две стороны чемодановидный портфель, какой носят в Германии священники и проводники поездов дальнего следования. Здесь против него уже сидит Анна Евгеньевна, радуется на него и

жалеет: выбрался, слава Создателю, сколько перенес, наверно! — и уже готовится поить его чаем, спросить, есть ли у него семья, узнать, как он устроился в Берлине, не обманывают ли, не дай Боже, с карточками?

.....

— Психика советского человека установлена на определенную цель. Советский человек хочет выжить и отлично знает, что при советской власти это — задача нелегкая. Во-первых, бытовые заботы: советский человек вечно бьется как рыба об лёд, вечно кружится как белка в колесе. Служебные интересы: требования власти, темпы, выполнение и перевыполнение, выжимание соков и вечные неприятности и опасности, даже в случае перманентного перевыполнения. И, во-вторых, отношение к власти. Оно непременно должно проявляться вовне, причем в строго определенных формах. От советского человека требуется не только работа, но и сознательность, ясно очерченное партией политическое лицо. За отсутствие правильного лица грозит Лубянка.

Это официальное отношение к власти, в свою очередь, имеет два сосуществующих, но очень различных содержания. Первое: совершенно официальное, показное. Это — аплодисменты на собраниях, голосование за резолюции, подписка на заём, принятие на себя дополнительных социалистических обязательств. Это — внешний рисунок роли, который мы только что описали. Второе: отношение внутреннее, но тоже неискреннее, тоже неподлинное, тоже выработанное искусственно под влиянием эгоизма, страха и всеобщего лицемерия. Это — рисунок внутренний, но не подтекст и не вдохновение актера, который, даже перевоплощаясь, знает, что через час разгримируется и сядет ужинать. Нет, спектакль, в котором играет советское население, не кончается никогда. И чтобы не сорваться с роли, советский человек не только на собрании, но и дома, в общежитии, в квартире, в бараке продолжает играть.

И, чтобы не сбиться с роли, совершает интеллектуальное предательство: вопреки всякой очевидности, он изо всех сил старается думать, будто советская власть не так уж плоха или, по крайней мере, могла бы быть не так уж плоха. Это полуубеждение не выбрасывается, как вредный хлам, потому что с ним легче выжить.

Казалось бы, внутренний мир советского человека есть мир глубокого внутреннего раздвоения. На самом деле этого раздвоения нет. Советский обыватель счастливо избегает его, обкрадывая и уродуя сам себя, приспособливая свое сознание к предписанной властью сознательности. Механика этого приспособления это — механика воспитания в себе подлости. Советский человек сам воспитывает в себе подлеца и предателя, сам себя ставит на службу своему собственному угнетению. Советские заключенные сами строят караульные вышки, сами обматывают свой лагерь колючей проволокой, сами стараются выполнить норму, выдать проценты, хоть и отлично знают, что эти проценты — прибавочная стоимость, идущая на содержание угнетателей. Социалистический трудовой энтузиазм, конечно, — лишь общеобязательная фикция. Казалось бы, в качестве такой она и включается не в сознание, а лишь в лицемерную сознательность советского человека. Но для сознания это не проходит бесследно. Человеку, только что перевыполнившему план и принявшему на себя новые обязательства, человеку, которого только что хвалил парторг и имя которого красуется на доске почёта, человеку, которому, пусть по навязанной ему роли ударника и новатора, но пришлось же сказать, что своим достижением он обязан мудрому руководству правительства, партии и лично товарища Сталина, стыдно признаться, что он ломает неприличнейшую комедию, что он лицемер, лжец, что его поведение укрепляет власть во вред народу и в конечном счете ему самому, что все окружающие отлично понимают его неискренность и его трусость, толка-

ющую его к этой неискренности. Он скажет себе, что так поступают все, что иначе не проживешь (и будет в этом в значительной мере прав), затем, что нельзя же заботиться только о своих личных интересах, что хорошо, если удастся дать что-то стране и народу, что чем больше производится благ, тем лучше в конце концов для всех... И дальше он уже может черпать сколько угодно — пусть совершенно неубедительных — аргументов из арсенала хорошо знакомых ему пропагандных фикций и договориться сам с собой до тех самых формулировок, которые он только что производил по роли и за которые ему только что в глубине души было стыдно.

Советский человек не в переносном актерском, а в подлинном смысле слова вживается в свою роль, срастается с ней, теряя самого себя. Пропагандные фикции, в которые, казалось бы, невозможно поверить, втягиваются в его сознание. В соответственно измененном и приспособленном для внутреннего употребления виде социалистический энтузиазм определяет не только внешнее поведение, но и мысли советского человека. И большинство советских людей, несмотря на все оговорки, убеждены сейчас в том, что советскую родину следует защищать от фашистских захватчиков, что построенный большевиками социализм, все эти московские метро, Магнитки, Комсомольски и Днепрострой в самом деле нужно было строить, что какой-нибудь канал имени Сталина или норильский медно-никелевый комбинат зачем-то нужны народу.

Это настроение может быть определено как воля к самообману. Люди хотят быть обманутыми и готовы клюнуть на всякую удочку.

.....

Профессор не клюнул. Профессор говорил правду. Сколько их было таких! Да и сам я... вспомним-ка ледяную дорогу...

Теперь он всё время взглядывал на меня острыми

торжествующими глазами. Теперь, казалось, он говорил только мне, только со мной, только для меня: согласитесь, что это так; вы это и сами знаете; вот вам точная формула.

.....

— Все эти ужасы большевизма, о которых здесь, в эмиграции, так много говорят и пишут, все эти ночные аресты, Лубянки и бесчисленные исправительно-трудовые лагеря, вся эта «Россия в концлагере», миллионы погибших и нерожденных единиц населения, сокращение объемов грудной клетки и снижение роста каждого нового поколения, всё это физическое опустошение нации — ничто в сравнении с тем душевным опустошением, которое внесено в наш народ принудительным лицемерием.

Я прочту вам отрывок из моей работы о советском языке. Я предлагал его «Новому Слову» в качестве передовой, но Деспотули не принял. Фабрика мертвых слов. Филиалы по всему миру. Божественная природа слова забыта не только в Совдепии. А пишу я так:

«Слово божественно. Сказано ведь: «В начале было Слово». Слово — душа и дух, мысль и чувство. Слово — поступок, ибо словом творится смысл.

И, пожалуй, еще ничего, пока советский гражданин «становится на трудовую вахту» или «включается в ряды борцов за выполнение плана», пожалуй, еще не страшно, пока он «мобилизует силы или резервы на преодоление трудностей», на «ликвидацию узких мест и прорывов, изживание недостатков», пока он «внедряет новаторские и скоростные методы, повышает производительность труда и обеспечивает выполнение государственного плана или партийного задания». Страшнее, когда его призывают к «большевистской бдительности, к уменью давать отпор всяческим искривлениям, уклонам, вражеским выпадам или вылазкам», страшнее, когда он должен уметь «выявить или разо-

благить замаскировавшихся врагов нашего советского строя, наймитов империалистических разведок». И совсем страшно, когда он «взволнованно» или «с энтузиазмом» встречает «мудрые решения партии и правительства», с негодованием или возмущением или гневно «протестует против контрреволюционных или троцкистских происков», с одушевлением «становится в ряды борцов за лучшее или светлое будущее», «включается в движение патриотов или честных (простых) людей всего мира», «укрепляет подлинную демократию», «доблестно выступает в защиту правды, прогресса, гуманности», «героически жертвует собой во имя трудящихся, человечества, свободы, родины»...

Страшно, когда «прогрессивными» или «передовыми» именуется только формулировки, одобренные для данного этапа товарищем Сталиным, когда слово «правда» всегда означает ложь. Страшно, когда «общественным мнением» именуется нужные власти фикции, «демократией» — подчинение населения комедии советских выборов, а «добровольностью» или «свободой» — готовность с лицемерным восторгом принять на себя дополнительные тяготы, не ожидая приемов принудительного воздействия.

Страшно, когда высокое и святое используется для вымогательства, когда слово не раскрывает, а прикрывает смысл.

«Лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели», сказал, помнится, французский философ Монтень. Счастливец Монтень! Для Сталина лицемерие — это способ вынудить добродетель платить дань пороку, выхолостить самое понятие правды, превратить идеалы в фикции, превратить наш живой и богатый язык в орудие духовного предательства.

Скрытый за обездушенным словом цинический нигилизм власти вызывает ответный нигилизм подвластных. Подумайте, как расценивает демократию

человек, проголосовавший за Сталина и Берию, и что стоит добрая воля подписавшегося на заем?

За ограблением речи следует ограбление душ. Разве только в парткабинетах можно видеть этих ограбленных составляющими доклады, пишущими статьи для «Правды» и «Коммуниста»? Разве только их голоса можно слышать с трибун съездов и пленумов, с театральных подмостков и в радиопередачах? Обездушенные слова-фальшивки, слова-подлоги, слова-паразиты сыплются из уст каждого советского гражданина, кружатся в бессмысленном маскараде, мелькают, как пушкинские бесы в лунной метели, издеваясь над здравым смыслом, пачкая идеалы, надежды, стремления, убивая правду и веру в возможность правды, взращивая поколение нигилистов, работая на ограбление духа, ибо большевизм способен питаться лишь дальнейшим ограблением ограбленных.

И присутствуя на этом маскараде, глядя в лицо трудящемуся, так непринужденно повторяющему за партией всё, что она ни вложит ему в уста, задаешь себе иногда вопрос: чем живет такой человек?

.....

Профессор задавал риторические вопросы, а я слушал и думал о нас, о советских людях, о тех, к которым принадлежу.

Действительно, на вопрос, зачем мы живем на свете, мы не знали ответа. Это для профессора советская власть была внешней силой. Для нас она была судьба, от которой нельзя уйти.

Эта власть существовала независимо от нашего желания. Мы росли в ней. Она началась для нас очень рано, началась, когда мы учились играть в орлянку, лузгать семечки, кататься на трамвайных буферах и тайно от родителей курить, приклеивая к губе окурки и запуская руки по локоть в карманы сшитых на вырост штанов. В детстве мы считали ее своей властью.

Советская власть понравилась нам, когда мы пошли в единую трудовую школу и узнали, что пролетариат победил буржуазию, а время слушаться взрослых — прошло. Мы весело грызли молодыми зубами гранит науки и бодро боролись со старорежимными шкрабами. Мы были молодые граждане молодой советской республики. Мы презирали папу, маму, тетю и дядю и строили новый мир, который они не одобряли. Мы приходили домой только вечером, чтобы спать или читать книжки: разговаривать с таким вот профессором нам было не о чем.

Мы далеко не все были членами ленинского комсомола (презренные «предки» в большинстве этому препятствовали), но многие примыкали, с упоением участвовали в школьной общественности, ходили в юнштурмовках, мечтали о кожаных куртках (с ремнями!), носили кепки назад козырьком, не вытирали ног, входя в помещение, принципиально не застегивали пиджаков, говорили «здорово!» вместо «здравствуйте!» и «пока!» вместо «до свиданья!», участвовали в ликбезе и Осоавиахиме, мотались в культпоходы и вылазки и с энтузиазмом подхватывали любое новое словечко как из партийного, так и из блатного жаргона, увлечённо покоряясь любой заложенной в нем идее.

Мы увлекались «Дневником Кости Рябцева» и утверждали, что любить следует «без черемухи», а торговать стыдно. Мы верили, что семья — пережиток феодализма, что собственность — это кража, а свобода — осознанная необходимость. Мы рвались к светлому будущему и искренне удивились, когда Сталин начал уничтожать нас.

Поняв же, что не «Коммунистический Манифест», а НКВД плюс анархо-монархо-троцкистский блок это и есть советская власть, мы поняли сразу всё и капитулировали без боя. Вместо светлых вершин коммунизма в нас вошло желание выжить, и не здесь, в немецких сталагах, а под водительством Сталина мы успели



твёрдо усвоить, что жизнь — только отпуск у смерти, а свобода — отпуск из лагеря.

Каждому из нас хотелось погулять в отпуску подольше, и мы готовы были говорить, что угодно, и работать на любой работе, круглое катать и плоское таскать, вывозить вручную баланы, прославлять великого Сталина, переводить брошюры об иудобольшевизме, набивать снаряды для гитлеровской армии, служить в полиции и доносить друг на друга, лишь бы продлить свой отпуск у смерти, а по возможности, и из лагеря.

Наша жизнь была никак не мёд, но она была нам дорога. И отнюдь не обманывая себя, но стараясь угодить Душегубовым, мы предъявляли там как оправдательный документ остатки наших школьных увлечений, здесь же пространно рассказывали об ужасах большевизма. Мы ценили жизнь и свободу, а словам не придавали значения. Неужели это не ясно профессору?

.....

— Поведение советского человека, поскольку оно определяется его сознанием, есть поведение конъюнктурное. Поведение это диктуется всем строем его мышления, приспособленного к требованиям советского строя. Стремясь непременно выжить, советский человек утерял, вернее, сам уничтожил в себе уважение к слову. Он мыслит по целям, он решает задачи, его мысль носит технический и служебный характер. Правдолюбцы в России уничтожены. Искать правду в Советском Союзе нелепо. Ее там нет. Она ликвидирована. Я прошу понять это до конца. Никакого лица за маской советского труженика не скрывается. За маской — инстинкт самосохранения и похоть, нагая, безликая, первозданная, готовая надеть любую маску, принять любой образ, приспособиться к любой среде.

.....

Профессор повернул листок, вынул носовой пла-

ток, тряхнул им и высморкался. Он окончил изложение первой части. И, сняв очки и пристально глядя именно мне в глаза, приступил ко второй: *dura lex, sed lex; dura veritas, sed veritas*: слушайте горькую правду!

.....

— Живя в Совдепии, я еще сохранял надежду. Мне мечталось, что Россия жива. Мне думалось, что за личиной предателя скрывается душа мученика. Увы! Немецкое нашествие сорвало маску не только с большевизма, но и с русского народа. Рухнул не только миф о войне малой кровью и на чужой территории, рухнули не только хвастливые разговорчики о несокрушимой мощи РККА. Рухнула вся трагикомедия советской власти, и партийная режиссура, лепеча что-то невнятное, бросилась эвакуироваться, Красная армия стала сдаваться, а советские люди — будь то попавшие в плен солдаты, будь то обитатели советских городов и весей — увидели, что спектакль сорван, и стали разгримировываться.

Чего только не услышать было тогда и среди окруженцев, и среди пленных, и среди обывателей! Советский человек торопливо сбрасывал с себя костюмировку и присматривался к новым хозяевам, стараясь поскорей угадать, какую роль приготовил ему Гитлер-освободитель.

Была ему приготовлена роль? Нет, немцы, увы, оказались куда бестолковы. Если бы они несли нам другую диктатуру, если бы на место большевизма они предложили хоть русский национал-социализм, советский человек знал бы, что требуется. Он получил бы нужную установку. Он переоделся бы, и при его талантах без труда разыграл бы назначенную ему роль так, что Сталин сидел бы сейчас где-нибудь в Монголии или Китае. Но немцы запатентовали свой национал-социализм для себя. В Россию они пришли без установок. Люди им не нужны; им нужна только территория. Советский человек под немцами — это актер

без роли. И бедняга оглядывается вокруг себя и задумывается...

Спросим, чего можно ждать от этой задумчивости? Может ли он сам придумать себе новый образ? Есть ли надежда, что он, предоставленный самому себе, вернется к потерянной человечности? Способен ли он найти правду и устремиться к ней?

Не думаю. Судя по поведению всех этих наших старост, бургомистров, редакторов бесчисленных «новых путей» и «новых слов», служащих немецких комендатур, переводчиков, писарей, полицейских и тех, кого немцы берут теперь даже в армию под презрительной кличкой «хиви», «хильфсвиллиге», «желающий помогать» — непохоже. Никак непохоже. Ведь если присмотришься ближе, то слишком хорошо видно, что то, что под Сталиным прикрывалось хоть лживой идеологией, теперь делается открыто, из откровенного шкурничества. Скажите, какие мотивы ведут этих коллаборантов? Ради чего берет в руки оружие этот злосчастный «хиви»? Думает ли этот «доброволец», кому он идет служить, чей порядок он готов наводить в России?

Советский человек не так глуп, чтобы не знать немецких намерений. Он понимает функции гестапо не хуже, чем понимал функции НКВД. Он выжил при Сталине и надеется выжить при Гитлере, причем лично он; до того, выживет ли Россия, ему нет дела. Под маской верности большевизму, в огромном, в подавляющем большинстве случаев скрывался лишь циник и шкурник, властепоклонник, служитель Сталина, совершенно логично готовый служить теперь Гитлеру. Не ждите от него привязанности к идеалам, не ждите патриотических чувств, любви к родине, к людям, к высокому и прекрасному. Не ждите от него даже ненависти к большевизму или фашизму. Всё это для него только слова. Он легко выговаривает их, но ничуть в них не верит. Место веры в нем занимает чутье, кото-

рым он легко понимает, что вы о нем думаете и чего от него ждете. И если ему покажется, что от вас может быть польза, он, не задумываясь, примется лицемерить, выступая перед вами в том образе, в котором вы желаете его видеть. Он ведь артист. Он может принять любой образ, оправдаться в любом предательстве. Его святыни растоптаны им самим. Он не верит коммунистической партии, он ничуть не предан делу Ленина-Сталина, но он так же не верит в Бога и плюет на свое отечество. Он хочет жить на земле, и никакая цена ему не дорога. Он готов служить Гитлеру, и если не служит, то только потому, что Гитлер не очень-то берет его на службу. Не обольщайте себя в этом отношении и не ждите от советских русских раскаяния в страшном грехе предательства. Они не знают, что предательство — грех, и идут сейчас в партизаны, точно так же спасая шкуру, как идут в полицейские и переводчики, чтобы получить лишний паек. Большевистские инженеры душ основательно поработали над нашим народом, они добились, чего хотели. Коммунистов в России нет, как нет в ней фашистов и демократов. В России вообще нет народа, в ней есть только отдельные люди. Цареубийство — вершина плебейского бунта — завершается народоубийством, атомизацией социальной ткани. Потеряно понятие греха, а вместе с ним — чести и долга. Потеряно уважение к правде, а вместе с ним — доверие друг к другу. Советский народ — толпа одиноких. И великое счастье, если в этой толпе найдутся отдельные лица, способные взять на себя бремя русского возрождения...

.....

После лекции подали чай с развернутыми пакетиками. Горькая правда профессора не произвела впечатления. Анна Евгеньевна, занимая его разговором, подвигала ему сухарики с маргарином, Виталий начал было что-то об интеллектуальных наркотиках, но вокруг пошла разноголосица, и стали читать стихи,

не имевшие никакого отношения к прослушанной лекции.

Окруженный поклонниками гражданской музыки, взлохмаченный юноша в толстых очках, похожий на старорежимного бурша из Гейдельберга или Геттингена, рассеянно выхватывая из-под носа профессора драгоценные полусдобные сухарики, скрипучим баритоном вопрошал, имея в виду Гитлера, а не советского человека:

Кем послан ты? Дьяволом иль Богом?  
 Не всё ль равно! Как ураганный смерч,  
 По нашим разухажистым дорогам  
 Пронесший истребление и смерть,

Ты сгинешь и развеешься в сугробах,  
 И радость отомщенья затая,  
 Чудовищным и необъятным гробом  
 Вдруг обернется Родина моя.

Так смейся же теперь оскалом волчьим,  
 Ломай, грызи железо мертвых скреп,  
 Стой во главе своих позорных полчищ,  
 Корми их песнями про сытный русский хлеб,

Веди их дальше, в степи, тундры, топи,  
 Еще бессмысленнее и лютей,  
 Чтобы потом по всей твоей Европе  
 Не смолкли плачи бледных матерей...

Несколько юношей увлеченно записывали его слова, зная, что этот поэт не из тех, кто хранит свои произведения.

А на другом конце стола, пытаясь изгнать политику из поэзии, переехавшие недавно из Праги создатели «Скита поэтов», вещая нараспев и в нос, рассыпали по бархату ночи бриллианты печальной души и без всякого учета переживаемого момента взлетали к звездам и низвергались в бездны. Восхищенные молодые глаза следили и за их низвержениями.

.....

Там, за спущенной маскировкой, — теплая майская ночь, каштан в цвету и сирень в садах. Из этой ночи пришли и в нее уйдут, шагая посередине пустынных улиц, оглашая звонкими русскими голосами строго берлинскую тишину, провожая друг друга до дому, долго крича у дверей и возвращаясь снова: ах, что там, дай я теперь тебя назад провожу!

.....

А здесь, — где можно и нам с Виталием, — старый овальный стол, жидкий чай, сухарики с маргарином, лампа с павлином на абажуре, вязанная крючком скатерть, московский Кремль за спиной профессора, молодость, русскость, нежность и та сладкая надежда на счастье, которая живет везде, где есть добрые старики и милые девушки.

Магнетические притяжения и отталкивания, лунные взгляды, таинственные намеки, робкие признания, бабушка с прямым вопросом «про кого это он?», три сестрицы с ершистым Колей, в стихах которого то гражданственность, то одиночество, то скифы, то серафимы, то нежный и благопристойный старомодный девятнадцатый век. Милые мои все! Жизнь моя, гнездо мое, семья моя!

.....

...И знаю я, что ты вчера грустила,  
Какой-то смутной тяжестью полна,  
И в сторону работу отложила,  
И отдохнуть присела у окна,  
Когда к тебе прихлынуло бывшее,  
Всё затопив шемашею тоскою.

И вижу я твой дом, твое окно, твой сад,  
Дерновую скамью, заросшую аллею,  
Тех прежних чувств твоих мятежный аромат,  
Твою неожиданную и дерзкую затею,  
Его, восставшего внезапно пред тобой,  
Увлечшего тебя насильно за собой!

Хотел бы я, чтоб ты вовеки не узнала,  
 Что тоже на скамье, здесь, в сквере городском,  
 Она меня вчера поцеловала,  
 Она, с которой я три дня всего знаком,  
 Она, чья честь тебе всего дороже,  
 И что в наш век так можно и пригоже!

Ершистый поэт отбросил со лба жёсткие волосы, бросил дерзко-магнетический взгляд на Анну Евгеньевну. А на поэта, прямо и не таясь, как девочка на своего героя, смотрела ее Танюрочка: вот люблю и целую и всю жизнь буду целовать. Всю жизнь. Навеки.

— Спасибо вам, милый, — нисколько не волнуясь за честь Танюрочки, сказала Анна Евгеньевна. — Ваши стихи мне очень нравятся. Я ведь плохо понимаю теперешние. Я и девочек воспитала на старый лад. Мы с ними Пушкина и Лермонтова читали. И такие стихи, как вот вы пишете. Не правда ли, Танюрочка?

.....

А Виталий свое:

— Снятый ныне с вооружения, но в свое время популярный большевистский лозунг «без черемухи!» так же несносен, как идея организовать для красивых людей случайные пункты. Экономический материализм в вопросе любви должен был бы опереться на Канта, определившего брак как сделку, заключаемую в целях совместного пользования половыми особенностями брачующихся. Материализм же биологический должен был бы внимательней отнестись к Платону, который справедливо указывает, что хоть любовные клятвы и не считаются, ибо даются в состоянии опьянения, но без любовных клятв тоже нельзя, ибо любовь — замечательная игра, которой умеют заниматься уже животные. Любовь — наркотик, не менее привлекательный, чем даже размышления и идеи. И хоть судья не склонен принимать во внимание стихи, биология без черемухи тоже ничего не стоит. Стихи — это хорошо. Стихи — это распушенный хвост павлина, это — коканье

петуха, это — поднятый хвост восторженного самца, это — вой весенних котов на крыше... Это, конечно, — надстройка и самообман, но какая великолепная надстройка!

.....

Томик Анны Ахматовой сам раскрылся на этих стихах. Я только прочел:

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.  
Очертанья столицы во мгле.  
Сочинил же какой-то бездельник,  
Что бывает любовь на земле.

И от лени или со скуки  
Все поверили. Так и живут:  
Ждут свиданий, боятся разлуки  
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,  
И почиет на них тишина...  
Я на это наткнулась случайно  
И с тех пор всё как будто больна.

Я никого не хотел обидеть Ахматовой. Томик раскрылся сам, и я стал читать, не подумав, выражая только свою тоску и тайну полной ненужности подаренной мне второй жизни. И я ничего не мог ответить, когда Танюрочка, с потемневшими от гнева глазками, нервно приподняв ноздри и обнажив остренькие клычки, набросилась на меня:

— Как вы смеете! Как вам не стыдно! Ну, право, как вам не стыдно! Витюшок — это же совсем другое дело! Витюшок — он всегда такой. Но вы-то, вы-то! Вы же сами не понимаете, как мне вас жалко! Неужели вы вправду так думаете? Как же вы тогда живете? Ведь кто любит, тот и живет, а кто не любит, тот и не живет вовсе. Витюшок, он просто болтает, а мы спорили только, как надо любить. И никто, никто здесь не говорил, что любви нет. А вы сказали. Как же так? Я не понимаю.



.....

Ах, Танюрочка! Я тогда ничего тебе не отвечу, не посмею и не сумею, и не пойму даже, что именно тогда надо было вскочить и, прямо при всех, облапить тебя со всех сторон и сжать так крепко, чтобы хрустнули все твои милые косточки и расцеловать в обе щёчки и вынести на руках туда, в берлинскую ночь, на ту самую Гогенштауфенштрассе, на которой ты и твой Коля взяли меня в тот вечер с двух сторон под руки и, перебивая друг друга и сжимая между собой, повели туда, где ждала меня моя любовь, в наш Союз, в наше светлое братство!

.....

Милые мои все! С каким жаром, с какой благодарной нежностью, с каким страхом за каждого вашего мальчика и за каждую вашу девочку, с какой ежесекундной молитвой, чтобы вы сбереглись, сохранились, буду называть ваши имена, ваши адреса, буду составлять описания ваших личностей, характеризовать вашу антисоветскую деятельность! С какой сладкой тоской вспомню те дни, те сны, те надежды! С каким отчаяньем буду узнавать, что тот или иной из вас — тут, на Лубянке, рядом! С какой жгучей, безмерной жалостью буду читать его показания! С каким восторгом буду замечать по тону подлицов-следователей, по растерянности, с которой, не споря, без крика заносятся в протокол выдуманные мною данные, кто из вас остался вне досягаемости! С каким упорством стану обдумывать каждое обстоятельство, подготавливать каждую интонацию, выбирать каждое слово, рассчитывать каждое впечатление! С каким хладнокровием буду пользоваться каждой возможностью, чтобы очернить тех, кто на воле, и обелить тех, кто, как я, предательствует! С какой стойкостью перенесу ругань, снижение пайки за плохие показания на допросе, изъятие табака, порчу и уничтожение ваших писем и фотокарточек, предложение папирос и еды, потом

побои, питание селедками без питья, тридцатишестичасовой допрос со сменой допрашивающих, избивание линейкой, рукояткой револьвера, резиновыми дубинками, угольными лопатами, пинки ногами до бесчувствия, приведение в чувство и снова побои, удары кулаком и ногой в нижнюю часть живота, холодный карцер, карцер, в котором можно только стоять, пять дней жаркой камеры, десять дней подвала, четыре часа водяной камеры с последующим переводом в жарко натопленное помещение, запираение в узком подвале с капающей водой, бетонную темную камеру, ледяной подвал, запираение в узкий шкаф, водяную камеру с электрической лампой в пятьсот ватт, закутывание в шубу в накаливаемой камере, заключение в темноте, стояние навтыжку, «вставать и садиться!», стояние в положении «руки вверх!», испражнение в собственную посуду для еды, стояние у горячей печи, обливание ледяной водой, обжигание спичками, пребывание босиком и без рубашки на ледяном цементном полу, заключение в камеру, в которой слышны крики истязуемых и стены запачканы кровью, тиски для пальцев, вырывание ногтей, сидение на бутылке, врезающейся в задний проход, защемление половых органов в двери, спецобработку!

С какой ясностью пойму, наконец, что душа питается снами, что мучимые за веру — душою уже в раю!

С каким вдохновением буду снова и снова возвращаться домой, входить в мою комнату с купидонами, спускать маскировку, включать свет и переводить на русский язык повешенные на стенке, в узкой черной рамке за стеклом, незамеченные дотоле, красными готическими литерами вышитые по белому шёлку старинные немецкие стихи:

Die Liebe hemmet nichts; sie kennt nicht Thür noch Riegel  
 Und dringt durch Alles sich.  
 Sie ist ohn' Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel  
 Und schlägt sie ewiglich.

Любовь не удержать ни дверью, ни замками,  
 Она пройдет сквозь них.  
 Из вечности любовь летит, шумя крылами,  
 И ввек не сложит их.

С каким упоением буду перебирать собранную как вещественное доказательство следствием, а тогда вынутую для меня из громадного Колиного портфеля союзную литературу: «Зеленые романы» (курс национально-политической подготовки), «Схему национально-трудового строя», календари-памятки революционера, борца за русское будущее, несколько листовок, распространявшихся среди русских в Германии и в оккупированных областях, наставления, как бороться с большевиками, используя немецкую оккупацию, журнал «Наши дни», циркулярные письма Исполнительного бюро Союза, неизменно начинающиеся с обращения «Дорогой друг!», довоенные периодические издания Союза: ежемесячную газету «За Россию!», напечатанный на ротаторе журнал «Костер», всё сияющее той ясной и чистой искренностью, тем обаянием молодости, той безусловной готовностью принести себя в жертву, всё так просто выражающее чистый и честный мир членов Союза Коли, Танюрочки, дяди Васи и, за старостью имеющих право только сочувствовать, бабушки, няни, Авксентия Афанасьевича, Анны Евгеньевны!

Милые мои все! Да сохранит вас Бог!

.....

Если бы накануне того вечера меня спросили, люблю ли я родину, я бы ответил: нет, не задавайте глупых вопросов; страну, описанную профессором, страну, где властвуют Душегубовы, любить нельзя.

Я ненавижу эту страну, когда бежал, перескакивая через русские трупы. Я преднамеренно и сознательно перешел на сторону врага.

Почему же слово «Россия» стало для меня священным и, вступив в ряды НТС, я дал присягу честно и жертвенно служить родине, не жалея самой своей жизни?

.....

Если бы НТС мог действовать открыто, в него вошли бы миллионы. Профессор поймет это, когда допишет свой труд о большевизме. Не тогда, в сорок третьем году, но через десять лет, в богатой Америке, он напишет:

«Поведение советского человека, лишь поскольку оно определяется его сознательной мыслью, есть поведение конъюнктурное. Оно есть поведение существа, в каждом своем движении вынужденного приспособляться к внешней, враждебной ему стихии. Но приспособляясь, это существо упорно не желает покориться. Оно выкручивается и вывертывается с поистине сверхчеловеческой ловкостью, оно внешне и внутренне приспособливается, хитрит и юлит, обманывает и своих мучителей и себя самого, когда это кажется ему целесообразным, изобретая тысячи вечно новых форм блата, туфты, очковтирательства, фальсификации отчетности, семейственности, халтуры и прочая и прочая. Но не покоряется.

Да, конечно, сознательность как явное, узаконенное лицемерие — это ужасно. Да, приспособление своей внутренней жизни к этому лицемерию — тоже ужасно. И мышление, употребляемое лишь для того, чтобы обмануть и власть и себя — ужасно, и коррупция и nepотизм, — потому что как же назвать иначе систему всеобщего воровства, перестраховки и надувательства? — ужасно! Да, советский человек нечестен с самим собой и собственными усилиями заполняет свое сознание мусором трансформированной созна-

тельности. Но перечисляя пороки советского человека, не будем забывать, как и м режимом они ему привиты. Не будем забывать также, что они суть прежде всего защитная оболочка его упорно не сдающегося «я». И, изучая его душевную жизнь, будем изумляться не тому, как он плох, а тому, как он удивительно хорош, сколько честности, сколько правдивости, сколько подлинной человечности он сумел отстоять, — и теперь это можно сказать с полной уверенностью, — навсегда отстоять у большевизма. Ведь приспособившись к большевизму и, если можно здесь употребить это слово, даже «сжившись» с ним, советский человек не стал ни большевиком, ни покорным рабом большевизма. В его душе хранится некая святыня, не позволяющая ему сделать это. Понять ее из того, что он говорит, обычно нельзя. Для этого надо идти глубже, надо погрузиться в полусознательные, иногда вполне бессознательные сферы его души, попытаться понять его эмоциональные и волевые импульсы, источники его любви и ненависти.

У людей, жизнь которых заполнена жалкой заботой, как выжить, сознательная мысль заполняется приспособленчеством, а отрицание зла опускается в тайный ярус души. В этом ярусе у них хранятся неформленные обрывки мыслей, чувств и желаний, о которых страшно подумать. Страшно не потому, что осознание их превращает человека в заклятого врага советской власти, но потому, что тогда придется стыдиться своей самообманной сознательности и своего внутреннего приспособления к ней. Справиться с этим стыдом человеку помогает культивирование в себе цинизма. Последовательные и сознательные враги большевизма почти всегда циники, вернее, люди, любящие щегольнуть своим цинизмом, понимающие вкус в цинизме. Стыдясь своего малодушия и приспособленчества к ненавистной ему действительности, такой человек склонен тщеславиться приобретенным им

— якобы глубочайшим — пониманием жизни как звериной борьбы всех со всеми. Лишь немногие из них сознают, что своим отказом принять фиктивное добро социализма за пусть относительное, но всё же добро, они поднимаются до совершенно ясного понимания заложенного в большевистском насилии абсолютного зла. Они воображают себя обычно людьми ничему не верящими, скептиками и нигилистами. «Я всех людей считаю сволочами и редко ошибаюсь», — одна из их излюбленных формул.

Ни во что неверие человека, поднявшего в явный ярус души то, что хранилось до тех пор в ярусе тайном, есть, однако, лишь новый самообман, обнаружившийся особенно явно в годы немецкого плена: «вижу зло, лицемерие и ложь, но ничего, кроме них, вообще не вижу, а потому, послужив до сих пор большевикам, соглашаюсь послужить и гитлеровцам, беру наш отвратительный мир таким, какой он есть, приспособляюсь к нему в меру необходимости (заметьте: не «в меру сил»!), надо же как-то жить». Это рассуждение с головой выдает его автора: то, что кажется ему скептицизмом, есть на самом деле утверждение абсолютного, а в том, что высказывается им с таким цинизмом, внимательное ухо улавливает обличающий голос совести. Ибо скептицизм советского человека происходит не из сомнения в добре и истине, а из несомненности окружающего его зла и лицемерия. И не только советскую власть и немецких своих господ клеймил такой циник в анекдотах, злобных насмешках и поистине беспощадных формулировках, клеймил он беспощадно и самого себя.

Когда, попав в плен, литературно одаренный советский лейтенант, а скорей замаскировавшийся политрук, стремясь понравиться новым хозяевам, пишет в газету для военнопленных: «Бой затих. Наконец к нам подошли немецкие солдаты. Боже, до чего это красивые, элегантные и обаятельные люди! Закури-

вают свои душистые сигаретки, угощают и нас. Я беру одну и оставляю на память об этом дне, дне моего второго рождения», — цинизм этого писания несомнен. Но и понимание того, какой дешёвкой можно было угодить немцам, тоже несомненно. В течение всей войны можно было наблюдать зондерфюреров, пребывавших в перманентном восторге от своих «хиви». Эти зондерфюреры почему-то любили русских и искренне воображали, что поняли русскую душу. Они не поняли только (боюсь, что не поняли и сейчас), что хиви-то с первой минуты уже видел их насквозь и водил вокруг пальца и за нос. В зондерфюрерах советский человек разобрался так же хорошо, как и в гитлеровской политике. Советский человек видит и понимает оскорбительно много. Он только самого себя не понимает. Он пытается скрыть от себя, что понимание зла и лжи предполагает знание о добре и правде.

Скептицизм советского человека не есть следствие равнодушия к правде, а его цинизм не есть выражение нравственного нигилизма. Они вытекают из абсолютного презрения к предметам, абсолютно достойным презрения, и, как это ни парадоксально, могут быть определены: скептицизм как переодетая вера, а цинизм как переодетая совесть. Переодевание же их обусловлено двумя причинами: эмпирическим их происхождением (советский человек начинает с познания несомненности зла, а не с акта уверования в открывшееся ему добро) и страхом перед рождающимся в нем бескомпромиссно антибольшевистским мировоззрением, требующим от него такой беспощадности к себе, на какую обычный человек не способен».

.....

Когда профессор поймет это, глаза его, как мои, увлажнятся слезами. К горлу подступит комок нестерпимой любви и жалости. Он снимет очки и подойдет к окну. На развесистом старом дереве (профессор будет жить в Сиклиффе), расевшись на толстых сучьях, как

галки, будут галдеть девчонки в узких блюджинсах и пестрых пуловерах. (У Лолиты, что с длинными светлыми волосами, из ярко покрашенных губ вздуется безобразный пузырь жевательной резинки «баблгам».)

Сквозь пелену слёз профессор увидит их мутно-расплывчато, вернется к столу и допишет:

«Как служение абсолютному добру ведет человека к святости, к абсолютному расцвету его духовной личности через умерщвление плоти, через гибель личности эмпирической, так и познание природы большевистского зла толкает человека на бескомпромиссную борьбу с ним, на самоотречение и самопожертвование вплоть до полного самопреодоления.

Страх, о котором может идти здесь речь, уже не есть, таким образом, элементарный страх перед органами расправы. Элементарный страх перед ними советский скептик и циник преодолевает уже тогда, когда изгоняет из своего внутреннего обихода стремление приспособиться к большевистским фикциям и цинично принимается употреблять их как средство самозащиты и обличения. Страх, заставляющий советского человека рядить свою веру и совесть в одежды нигилистического скептицизма, есть страх перед тем путем, на который зовут его вера и совесть.

Подлинная вера советского человека (да и только советского ли?) скрыта от него самого и лишь время от времени прорывается в неожиданных актах умиления, любви и героического самопожертвования.

Пламя жертвенного патриотизма, вспыхнувшее во время войны, означает начало возрождения России, залог длительного и трудного, но несомненного преодоления большевизма».

.....

Пламя жертвенного патриотизма обожгло меня в доме Вергункевичей.

— Мало ли что там делается, мы всё равно ее любим, Россию! — взвизгивая, восклицала Танюрочка, и



в светлом девичьем этом взвизге я слышал и жалость к истерзанной нашей родине, и стыд, и нежность, и верность.

— И что вы сидите в этом министерстве? Это же склянка с пауками! Там все — враги России, абсолютно все, Витюшок ведь рассказывает. Переходите к Власову или уезжайте в Россию. Наши это могут устроить. Вы — умный, хороший, сильный, вы много сможете сделать, а составлять гадкие календари — это стыдно!

А Витюшок:

— Напрасно вы волнуетесь, дорогуша. Вас здесь любят и ценят. Вы совершенствуетесь в языке. Впрочем, если вы непременно хотите, я поговорю с онкелем. Рекомендую «Штаб Розенберг» — вывоз художественных ценностей. Оберштурмфюрер Дибшталь привез наемни ящик икон. Вот роскошь! Один Георгий Победоносец новгородского письма — м-м-м! И никого убивать не надо. И государственное имущество. И армейский паек. Я бы сам двинулся с этим «штабом», да побаиваюсь. Я ведь трус, а там партизаны. Так вы поезжайте, а я лучше тут посижу. Пришлите мне кого-нибудь только на ваше место.

А дядя Вася:

— Если бы не семья, мама, Анечка, девки эти, — все ведь на мне, — помчался бы с вами на крыльях ветра. Ведь это такое дело! Такое дело: Россия! Таньку только с собой не тяните, так и рвется, патриотка, на родину. — Да-да. Здорово-здорово. Рад за вас... И вот что, приятель. Там у меня в неизвестном мраке, кажется, притаилось нечто. — И из-под досадной своей кушетки извлекает мутноватую бутылочку: — Няня! Нянечка! Вот же несносная старуха! Ты, нянька, чем-нибудь соответствуй. Сальца дай, что ли. Уважь отъезжающего борца за родину, поскреби по сусекам!

И торжественно чокается со мной и, ласково гля-

дя в глаза честными своими глазами, скромно говорит: «За Россию!»

А бабушка (приподнимаясь в креслах):

— В Рос-сию!? От министерства пошлют!? А не боятся, что вы убежите? Ну, поезжайте, скорей поезжайте, голубчик, и обязательно всё пишите, все сведения шлите, вы знаете, как это нужно. И не попадайтесь большевикам, смотрите. Вы поезжайте, но осторожно. Где опасно, вы старайтесь сторонкой. И обязательно расскажите, когда приедете.

Анна Евгеньевна:

— Милый вы мой! Как вы нас радуете и пугаете! Я понимаю, конечно, для дела надо. Но очень страшно за вас. Вы в чем поедете? Этот ваш плащ не годится. Я вам подберу другой. А обувь? А белье?.. Вы, родной, приходите-ка еще раз завтра. Я подумаю, мы что-нибудь сделаем.

Авксентий Афанасьевич:

— Поезжайте-поезжайте, послужите Отечеству, нечего здесь сидеть.

А Шурочка (стоя в передней, раскручивая и снова накручивая на пальчик кончик изумительной своей косы):

— Я вот, правда, не знаю, как вам сказать. Вы, может быть, не так поймете или не то подумаете. Вы поймите меня, пожалуйста, правильно. Я вам верю, ведь вы теперь член Союза... Так вот, знаете, я подумала, я бы тоже могла, я бы очень хотела, ну, принять участие в борьбе... Ну, возьмите меня, пожалуйста, с собой в Россию! Мне так хочется! Правда, пожалуйста, возьмите меня с собой!

Коля (волнуясь. Он ведет меня к союзному руководству):

— «Штаб Розенберг»! Это же то, что надо! Самая первоклассная маскировка! Милльон возможностей! Свободное передвижение и поиски!! Вы с кем едете? С зондерфюрером Шиллером? Так это же почти

наш человек. На его документе? Тем лучше. Уже познакомились? Нет? Завтра же пойдем вместе. Это лучше, чем в министерстве. Он же нас почти знает. Он ученый, о русском народном фольклоре диссертацию хочет писать. Только должен предупредить: он из военной семьи. Поэтому выправка, выдержка, застегнут всегда на все пуговицы, держит дистанцию. Но по душе он нам близок. Он и у Вергункевичей был. Сидел, как аршин проглотил, ну точно как вы первое время. Виталий над ним издевался, а он будто не замечает, всё рассказывает, почему выбрал славистику. Он вообще любит русских, и вы с ним, наверно, сработаетесь. Наши дадут вам пароль, и вы уж смотрите: ни одну группу не пропускайте. У Вергункевичей лучше потом поменьше рассказывать, мало ли что. А в Исполбюро привезите полный отчет. Действуйте смело, но осторожно. Мы с Таней гордимся вами. Рассчитывайте на мою дружбу.

Союзные руководители (убежденно, больше друг другу, чем мне):

— Мы вступаем в новый этап. Связь на этом этапе является важнейшей задачей. Вы включаетесь в задачу связи. Связь осуществляется в личном общении и передачей идей. В идейном аспекте мы неизмеримо сильнее. Возьмите с собой литературу: малое издание «Схемы нацтрудового строя» (это кладезь союзной премудрости), наше последнее обращение «Дорогой друг!» (оно даст кадру оценку текущего момента). Адреса вам дадут в закрытом секторе (мы их сами не знаем). И — езжайте с Богом! Ну, — по старинному русскому обычаю...

И все четверо с чувством целуют меня троекратно.



И вот оно, русское небо! Вот они, русские дали!  
Вот оно, горе мое, вот он, дом разоренный!

Вот она, злыми руками захватанная, злыми ногами потоптанная, такими, как я вот, брошенная, оккупированная земля!

Станции: Брест, Негорелое, Минск, Борисов, Смоленск. На станциях детские ножки, босые, бегут по перрону за поездом, детские ручки протягиваются: «Пан, гиб брот!», детские глазки молят: будь милостив, завоеватель!

У станции — каптерки с сухим пайком и ячменным кофе, комендатуры в колючей проволоке. В комендатурах зондерфюреры и кригсфервальтунгсраты\*.

В бывшем парткоме — зольдатенхайм. Палисадничек из березки, желтенькие дорожки, анютины глазки, как в Зеелюсте. Русские девушки разносят пиво, с хохотом бьют по рукам, если кто начинает охальничать.

В бывшем горсовете — горуправа: бургомистр бежит в комендатуру.

А тут же — площадь с собором и лужей, домики в три окна, сады с гнилыми заборами, козы на травянистых улицах, женщины в тяжелых платках.

А дальше — кривые дороги, овраги, разлужья, косогоры, чащи; петлистые ручьи в куге и осоке; избы с мухами, тараканами; собаки с репьями в хвостах; люди в лохмотьях; березы и вётлы в вороньих гнездах.

И одиноко, средь лета, за тошей клячей пахарь с сохой по голому полю. Что ждет тебя, русский пахарь?

.....  
Дурак! Советской власти не знаешь? Пахаря ждет колхоз, а девушек хуже — концлагерь.  
.....

\* Работники военной администрации. — Р е д.

Советская власть! Она надвигалась сюда, как кара, как неотменимый ужас.

И пахарь среди поля знал: не заслонит его завоеватель.

И девушки знали: не уйти никуда с фрицами.

Советская власть вернется. Придет и спросит, как смели жить без нее? Как смели пахать и сеять, как смели носить немцам пиво? Как смели ходить по земле, как смели готовить пищу, нянчить детей и спать по ночам? Как смели стирать белье, топить печи и выносить сор? Как смели кормить козу и делать запасы на зиму?

Как смели дышать одним воздухом с теми, с кем она, советская власть, воюет?

Советская власть посмотрит на разрушения и пришлет своих Душегубовых, привезет километры колючей проволоки, обмотает наново сталаги и дулаги, понаставит попок на вышках, попривозит собачишек, понатащит с Большой Земли бушлатов второго срока: пожалуйста, дорогие освобожденные, надевайте нашу одежду, занимайте места на нарах, восстанавливайте Отечество!

Страшный усатый Хозяин сам одобрит таблицы признаков, чтобы Душегубовы знали, кого на сколько сажать, что осветить и выяснить и какие именно методы законно применять на допросах.

И Душегубовы спросят:

— А ну, кто тут живой остался? Кто не пошел в партизаны, кто надеялся без нас прожить?

— Кто мечтал, что мы не вернемся, кто тут радовался, что нас прогнали?

— Кто растаскивал без нас колхозы, кто сдавал немцам сало, кормил фашистских захватчиков? Кто заимел козу, кто выкормил поросенка, кто держал без нас курицу, развивал частнособственнический инстинкт?

— Кто тут торговал на базаре? Кто открыл са-

пожную мастерскую? Кто спекулировал немецкими эрзацами, реставрировал капитализм?

— Кто подоставал с чердаков иконы, ремонтировал церкви, шил попам рясы, разводил религиозный дурман?

— Кто без нас открывал тут школы, кто вымарывал из букварей слово «Сталин»? Кто работал в больницах, лечил изменников родины? Кто служил в горуправах, холуйствовал перед оккупантами?

— Кто тут рвал сталинские портреты, кто ругал советскую власть, издавал грязные газетёнки, восхвалял фашистское иго, утверждал, будто немцы сильнее нас?

— Кто пошел в полицейские отряды, взял в руки фашистское оружие, стрелял в славных представителей советской власти, защищал фашистское отребье?

И начнется поголовное предательство, всероссийская сумасшедшая камера, когда точно, как в «Бесах», не просто бдительность, а каждый обязан доносом, когда все пойдем через карательные органы...

.....

Когда в то роковое лето расстроенные толпы окруженцев разыскивали свои части, когда из дверей парткомов выскакивали потные руководители и, тяжело отдуваясь, сваливались в кузова грузовиков, когда со дворов областных, районных и городских управлений НКВД поднимался дым и летели обугленные бумаги, когда на вокзалах и станциях, не останавливаясь, проходили составы и метались опоздавшие эвакуироваться, люди закладывали руки в карманы. Люди ждали. Люди не зажигали пожаров, но и тушили только свои собственные дома.

В те роковые дни население не трогало коммунистов, но и не бежало за ними.

Когда же, высунувшись по грудь из танковых люков, надменные немецкие лейтенанты самоуверенно проехали мимо, когда деловитые сержанты с бляхами

на груди предусмотрительно прибили на развилках дорог указатели «на Москву», «на Харьков», «на Ленинград», когда пыльная довольная пехота, отфыркиваясь, стала мыться и бриться на огородах, когда бюсты великого Сталина полетели на свалку, а в парткомах и горсоветах развесили плакаты «Гитлер-Освободитель», когда зондерфюреры и кригсфервальтунгсраты объявили в приказах, что мир освобожден от большевизма, когда в помощь новой власти срочно потребовались переводчики, бургомистры, канцелярские работники и полицейские, люди поверили, что советская власть ушла, и, засучив рукава, приготовились разгрести развалины и жить, еще неизвестно как, но, наверно, уж не хуже, чем при Сталине.

.....

Не тут-то было! После каждой яичницы с салом нам с Шиллером вручали меморандумы.

В Киеве нам внушали:

«Политика Германии в занятых немецкими армиями областях Украины может быть чревата большими и тяжелыми последствиями. Население городов и сёл, встретившее немцев как освободителей от тяжкого коммунистического рабства, начинает сравнивать установленный здесь режим с самыми худшими годами сталинского террора...»

В Минске вторили:

«Советская пропаганда, не переставая, твердит народу о том, что немцы пришли к нам как завоеватели, чтобы ограбить страну и превратить ее в свою колонию. В мероприятиях немецких властей население, к сожалению, видит порой подтверждение слов советской пропаганды».

В Смоленске требовали:

«Считаем необходимым признать независимость и целостность России и неприкосновенность ее границ 1939 года. Дать русским людям возможность создать свое антикоммунистическое правительство и, если

окажется нужным, помочь ему очистить Россию от большевизма».

А в Пскове, не предаваясь иллюзиям, заклинали: «Если Германское правительство не найдет возможным удовлетворить просьбы русских людей и провести предлагаемые мероприятия, то мы просим: обманите нас, обманите русский народ, но дайте ему возможность покончить с большевизмом!»

Мой зондерфюрер Шиллер никого не обманывал. Он происходил из достойной семьи и был абсолютно честен. Он изучал Россию и желал помочь русским в беде. Он принимал меморандумы и посылал их вверх по начальству. Он надеялся на положительный ответ. Он делал, что мог, исполняя то, что приказано. Он был законопослушен, верил в трудолюбие и дисциплину и старался верить в победу.

Глаза у него были чистые, как у младенца, а пробор на голове — как щель в копилке.

Когда я буду рассказывать об этом на Лубянке, Душегубов-второй схватит со стола мраморное пресс-папье и с силой бросит в меня:

— Ты мне антисоветскую агитацию не налаживай, сволочь! Что ты думаешь, я в протокол писать это буду? Подыми промокашку.

— Это как вам угодно, гражданин майор госбезопасности. Хотите — пишите; не хотите — пишите, что хотите. Я вам любую страницу на любом месте подпишу.

В протоколе мы с ним напишем:

«Советские люди во временно оккупированных фашистами областях Советского Союза оказывали упорное сопротивление завоевателю, поддерживали живую связь с партизанским движением, умело помогали героям-патриотам наносить сокрушительные удары по



врагу, самоотверженно распространяли правду об истинном положении на фронтах Великой Отечественной Войны, с нетерпением ждали возвращения родной советской власти».

В протоколе мы с ним напишем:

«Помогая заклятому врагу советского народа зондерфюреру Генриху Шиллеру выполнять задачу, поставленную так называемым Штабом Альфреда Розенберга, я участвовал в объездах Смоленской, Брянской, Орловской и других областей, совершал налеты на культурные и художественные ценности советского народа, грабил имущество советских людей, изымал экспонаты из музеев, разрушал исторические культовые здания».

.....

Когда люди поверили, что немцы прогнали большевиков, они обрадовались. Бабы подоставали из сундуков иконы. Работавшие сторожами священники вылезли на свет Божий. И старики пошли в церковь.

Их осталось бесчисленно — стариков — в оккупированной России. Старики немощны, худы, морщинисты. Старики высохли, они мощи, мумии. У них узловатые кисти рук, синие жилы, больные кости. У них выцветшие сухие глаза. Такими глазами больно смотреть на небо. Старики смотрят в землю. Они знают: их место там, под землей.

Но пока они живы, они ходят в церковь к обедне и потом весь день движутся с места на место. Они собирают сучки в городском парке, кряхтя, выламывают доски в разбитых зданиях, рвут по канавам траву для коз и кроликов, жмутся в очереди в городской управе, выклянчивают себе пособие. Сунув руки между коленями, сидят в приемных амбулаторий, доказывая, что они инвалиды, что пособие им необходимо; узнают, что немецкие социальные законы в завоеванных областях пока еще не действуют, и тащатся на базар менять кроличью шкурку на горстку соли. Они жалуются

друг другу, больше жаловаться им некому. Их никто не эвакуировал, и они сотрудничают с фашистами, живут на оккупированной земле, стараются прокормить внуков.

Старики боятся советской власти, но рады, если дочь служит в комендатуре или сын в полициях. Если так, то старики сыты. Если так, то предатель-сын приносит им яйца, сало и самогон. Является с операции или в отпуск, сбрасывает немецкую шинель, снимает пояс с подвешенной кобурой, объявляет имена товарищей — «то — Никита, а то — Николай!» — кладет на стол сумку — «жарь, мама, яичницу!» — и садится прямо за непокрытый стол пить согретый в кармане самогон из граненого чайного стакана.

Старики, ужасаясь, слушают, где кого убили партизаны, рассматривают советские листовки, изъятые в соседней деревне, читают сводку Совинформбюро о продвижении победоносной Красной армии и не вмешиваются, когда захмелевший Никита начинает говорить Николаю:

— Плохая немецкая власть. Еще хуже советской. И гореть нам с ними ярким пламенем.

И молчат, когда Николай отвечает:

— Корешков надо обязательно занять у партизан. И как закачается, сразу в лес, к своим. Бороться за родину, как говорится.

И потом, когда ребята уйдут, долго думают о самом страшном, о возвращении советской власти.

.....

Кто не жил тогда, не поймет, как не поняли англо-американцы: если предательствуют миллионы, нет никаких предателей.

Суд истории Сталин определит заранее и вперед: изменники Родины. И историки в России и вне России будут повторять за ним: изменники, квислинги, коллаборанты, стрелявшие в честных русских, которые защищали Сталина.

Ведь легко в исторической перспективе провести фронт от Ленинграда к Сталинграду и сказать: вот здесь, по эту сторону — Россия, а там, по ту сторону — Германия; здесь — русские, а там — немцы; русский на немецкой стороне — предатель!

«За Родину, за Сталина!»

«Ein Volk, ein Reich, ein Führer!»\*

Будущие историки согласятся со Сталиным. Они будут работать с источниками. Я, как источник, скажу, например: «Передвигаясь по временно оккупированной врагом территории, я общался с подонками человечества, с фашистами и предателями, которые, подобно мне, изменяя Родине и Сталину, поддерживали фашистских захватчиков. Выполняя так называемые задания реакционной, антипатриотической организации НТС, я вел бешеную антисоветскую агитацию, пытался обмануть честных советских людей, вовлекал их в ряды НТС, учил предательству и измене».

Я поставлю под этим показанием свою подпись, засвидетельствую, что это правда, и вспомню о первой, кого научил, о первозванной моей, о переводчице Вале.

\* \* \*

Перед комендатурой газончик.

В комендатуре комендант и переводчица.

Комендант ловит рыбку, а переводчица переводит.

Ночью комендант — на переводчице, а днем переводчица — за коменданта. Быстрая, гибкая, голос пронзительный, влетает бурей: «Что значит — жалу-

---

\* «Один Народ, одна Империя, один Вождь!», с нем. — Р е д.

ются?!» И на диванчик: скучать над немецкими журналами.

Мой Генрих не верит, что всё это так просто, а не видит плитку шоколада «Саротти»: три арапчёлка в тюрбанах и шароварах с поклоном несут своей даме чашки дымящегося какао.

А это значит, что меморандума здесь не будет. Поп сам сюда принесет иконы.

Это значит, что когда муж Вали, твердя о долге советского человека, добился для себя места в литературном поезде и пришел домой за вещами, Валя даже не спросила: «а я?», потому что и раньше знала, что муж — подлец.

Это значит, что когда скособочившись он приподнял и потащил к двери перегруженный чемодан, Валентина содрогнулась от отвращения. А когда люди в голубых околышах торопливо обходили дома, объясняя, как разжигать пожары, она только поджала губы и стала смотреть на Сталина. А как только они ушли, сорвала его со стены и потоптала ногами, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!»

Валентина топтала тогда свое прошлое, пионеррию и комсомолию, веру в правоту коммунизма, трескучие фразы мужа: «Так учит товарищ Сталин!», его взвинченную неискренность, его зависимость от установок, текучку районных будней, отношение к ним соседей, все свои заслуженные обиды жены завагитпропотдела.

Поискав слова в словаре, Валентина составила фразы: «Я ненавижу Сталина!», «Я желаю помогать Гитлеру!» И выкрикнула их немцам от себя и от всех, кого бросили.

Теперь у Валентины всё есть. Комендант ей ни в чем не отказывает. Валентина читает немецкие журналы, совершенствуется в языке, готовится ехать в Германию, а сама стервенеет и злится, скучая, как я в Берлине, и удивляясь: до чего же подлый народ!

Мужичье ждет в приемной. Пусть ждет. Мужичье

в России спокон веку ждет. Сиворылые, косопузые, вшивые, паршивые, просители, посетители, ходоки, ходатаи. Шапки между колен позажимали. За правдой пришли.

— А ну, разойдись! Нет вам правды! Из Берлина гости приехали. Га-па!

За переборкой вздохи: нет совершенно покою. Но, однако же, — туп-туп-туп, босыми ногами из кухни — домработница тетя Гапа с самоваром, с подносом, с закусочками: сало ломтиками, розоватенькое, местного производства, огурчики свежие, прямо с грядки, редис, грибки, немецкая водочка «Шинкенхегер» с копченой ветчиной на этикетке, чтобы нескучно ждать, и:

— Зетцен зи, зетцен зи, садитесь, пожалуйста, — журналы долой со стула, стул нагнут на передние ножки, обмахнут тряпкой: милости просим!

Кителя, конечно, долой. Оружие хоть вон туда, на диванчик бросьте. За комендантом послано.

.....

Комендант с тремя окуньками:

— Ну, как в Берлине? Не бомбят ли? Как насчет дальнейших побед?

Валина подружка — с гитарой (тоже стерва). Столик под яблонькой. Эх!

Широка страна моя родная!

.....

Мой Генрих пьет слабо, но считает долгом участвовать. Ах, Генрих! Ему бы доцентом при кафедре славянских литератур, рассуждать о русском фольклоре, о Ваське Буслаеве, о стремлении к бездне, о Бердяеве и Достоевском. Пей, Генрих, падай в русскую бездну!

И через час или два:

Мой Генрих: Ми, немци, тоже имель душа. Есть плохой немци, они деяляль здесь много глупость. Я хотель би поправить глупость. Я много старался для русский народ. Я любиль русский народ. Я

имель много стыд, когда видель здесь немци деляли свинство!

*П о д р у ж к а (бросив гитару, вскочив к нему на колени). Не стыдись, чушечка, хрюшечка, душечка, заграничная моя швейнюшечка! (Хохочет заразительно, треплет напомаженные Генриховы волосы, портит ему пробор.)*

*Г е н р и х (страда, ссаживает ее с колен). Ах, оставьте пожялюста. Я не могу больше. Извините, я теперь пойду. (И, пошатываясь, уходит. Подружка бежит за ним, захватив на всякий случай гитару.)*

*К о м е н д а н т (переводчице). Walja, kommen Sie her, ich wünsche auch ein Potzeluitschik!\**

*В а л е н т и н а (совсем расстроенная). Отстань, пьяная морда! Ночью храпит, как мотор включает, а пьяный — лезет. (С живым интересом ко мне, с желанием обменяться мыслями.) Ну, скажите, — вот вы интеллигентный человек, — есть в Германии люди?*

*И я (сам удивляясь: с чего бы? — тряхнув волосами, кулаком по столу). Есть! Есть правда! Есть люди! (И с внезапной жалостью к ней, задушевно, вдруг поняв, что и она — несчастная.) Валенька, глупая-глупая-глупая! Ну чем вы живете, ну что вы знаете в жизни? (С праведным гневом.) Валька-дура, торгуешь Россией?! (С пьяной безмерной искренностью: вот он я, всю душу тебе открою.) Валентина! Мне наплевать, что ты стерва и с комендантом сошлась. Я сам стервец и предатель. Валька, я пропал, как ты. Я тоже был переводчиком. Валя, я в святые не лезу. Но видел святых. Ты видела? (И не ожидая ответа.) У меня при виде святого душа кричит. Кричит! Как от боли! Ты слышала крик души! Не моей, а от нежности?.. Валька, я в Бога не верю, но на Доктора я*

---

\* Валя, идите сюда, я желаю тоже поцелуйчик! (с нем.) — Р е д.

молился. А ты знаешь, какая сила, если святые организуются?! *(И отталкивая бутылку с веселым берлинским мальчишкой, выглядывающим из кружки.)* Нет, не хочу больше пива. Дай воды. Вон просто из кадки. И уведи коменданта. Уложи его и приходи. *(И снова, как только она вернулась и села против меня, сама тихая, а душа кричит.)* Ты вот публику гонишь, коснуться людей не хочешь — возможно, вшивые — а я девушек знаю в Берлине, у одной коса изумительная — нагни-ка голову, цвет, пожалуй, как у тебя, — а другая... другая, как совесть, подлости ни за что не простит! Эти девушки — ты не думай, у них не такие женихи есть — эти девушки мне — святыня, «душа души моей и царь!» Вот, не знаешь Державина! Божество! Эти девушки нам в военнопленный лагерь передачи носили. Унижались перед конвоем: «зайен зи меншлих!»... Валюха, пускай я пьян, но я — русский. У меня цель в жизни есть: Россия. Нет-нет, не советская власть, но Рос-сия! Валька, я тоже думал, что мне Россия до ручки, а теперь только тем и горжусь, что — русский! Я смерть души пережил. Немецкие права, а душа мертва. Валенька, я и так понимаю, можешь мне не рассказывать: у тебя душа умирает. Тебе полюбить надо, Валя. Кто любит, тот и живет, а кто не любит, тот и не живет вовсе. Россию люби, Россия в беде, Россию нужно спасти.

.....

Для Гапы — нормально: стол с обедками, откушенная редиска, соскочивший с вилки грибок, окуньковый скелетик в водочной лужице. Летняя ночь. Пьяный лепет. Завоеванная Россия. Переводчик и переводчица в комендатуре под яблонькой.

Для Вали — благая весть.

А для меня — детство: подруга моего детства, Любочка, с соседнего двора.

Не комендатура с газончиком, а широкий мощный двор, тонкие ломтики хлеба и полуподвальная

комната; печка-буржуйка (в поддувале зола с угольками), строгая моя тетя и черноглазая Люба, у которой папу забрали.

Большой стол для еды (ничего-ничего нельзя ставить!) и наш подстольный уют: мальчик с девочкой играют в домик. Наши звери: плюшевый мишка (очень красивый, ночью он спит со мной в моей постельке) и лошадиная голова (тела нет, вместо тела — палка). Наши звери живут с нами вместе, в нашем домике под столом.

Тетя нас кормит обедом: суп из воблы (вкусная, если побить о полено, в супе — не очень), тоненький ломтик хлеба и на закуску, на сладкое — морковный чай с сахарином и лепешечки из картофельной шелухи.

А зверей мы кормим бумажками или просто так (золой тетя не позволяет).

Для тети — ужас: плесень на хлебе, мороженая картошка, осиновые дрова, трудповинность, бои, грабежи, расстрелы. Вшивый, голодный, тифозный, легендарный восемнадцатый год.

А для нас наверху — наш двор: солнце, лужи, сосульки, весна. И девочка в пиджаке, совершенно чужая и очень бледная, с глазами, как с того света, и с подземным глухим голосом. Эта девочка просит «поисты» (неправильно: надо сказать «поесть»!).

Тетя всегда режет хлеб совсем тонкими ломтиками, а Люба кричит: «сейчас!» и бежит вниз, в нашу комнату, и несет весь хлеб, всю буханку, и отдает чужой девочке, и мы вместе кричим ей:

— Теперь беги, а то тетя увидит!

.....

Я рассказываю Валентине про братство. Я кричу пьяным голосом, а в трех улицах от комендатуры, на Валиной прежней квартире, убивается тетя Надя, прежняя их соседка.

Ее девочку забрали в ОСТы, увезли на работу в



Германию. Теперь дочка кажется ей маленькой и веселой, как когда они играли с Валентиной.

И рыдания у мамы в горле. И ничего нельзя сделать. Не помогла им Валька, выскочила тогда к ней:

— Что значит — на одном дворе жили? Что значит — вместе учились? Что значит — как сестры росли? Не могу я списки менять! И поймите, и уходите. Кто записан, тот и поедет. И не ждите, пока полицаи придут!

А ведь сопли утирала этой Вальке, соску ей в рот совала. «Что значит — как сестры росли?»! Как язык повернется такое выговорить?!

.....

А на площади висит повешенный. Голова упала на грудь. Огромные босые ноги белеют в лунном свете. На груди и спине картонки: «Я ПОМОГАЛ БАНДИТАМ».

Мертвец качается молча. Но Валентина знает, и смотрит на меня исподлобья, и ловит каждое слово.

.....

А в Смоленске, среди развалин в чудом сохранившемся доме, в полуподвальной комнате печатают союзные листовки. Толстая девочка Алла в яростно желтой блузке проводит по массе валиком, снимает расплывчато-лиловую печать.

.....

А в Минске два члена Союза — один из Белграда, другой из Праги — сидят за эти листовки.

.....

А на Гогенштауфенштрассе, шагая посреди улицы, Танюра и Коля вводят в Союз человека. Человек зажат между ними. Коля держит его под правую руку, а Танюрочка виснет слева. Как трепещет его рука под доверчивой Таниной ручкой!

.....

А на утро переводчица — зондерфюреру:

— Лиген зи кранк. Поболейте. Он без вас съездит.

Он — это я. Вот мне и маршбфель, командировочное удостоверение. В него мы вписываем: переводчик такой-то направляется в село Ивановку. 30. VI. 1943. А Ивановок в России хватает. А 30. VI. 1943 написано так, чтобы только палочки подставлять: 30. VII., 30. VIII...

Прощайте, зондерфюрер Шиллер!

.....

Я неверующий. Когда честно, положи руку на сердце, я сам себя спрашиваю: «Есть ли Бог?», я отвечаю: «Вряд ли».

Но когда я встречаю священника, я немножко отхожу в сторону и незаметно кланяюсь. Я знаю, что священники бывают всякие, но для меня они все особенные. А когда я иду мимо церкви и церковь отворена, меня тянет войти-помолиться.

И у меня есть Евангелие. Не всё. Но

«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия»

— я взял в одной из церквей —

— от Марка, краткое, мужественное, обжигающее:

«как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой перед Тобою».

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»

— и начинается:

«Явился Иоанн»

— Предтеча. И тут же —

разверзнутся небеса, и Дух, как голубь, и:

«Глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»

— И —

Сорок пустынных дней...

«Искушаемый Сатаною...»

«Был со зверями...»

— но и там —

«Ангелы служили Ему».

— И как я —

«Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море»;

— и как просто! —

Сказал им: «Идите за Мною!»

.....  
 Богохульство! То были Его апостолы. А у меня Валька-стерва шепчет слова присяги:

«Разделяя идеологию и программу Национально-Трудового Союза, как верная дочь России даю слово и клянусь, не щадя себя и самой своей жизни, честно и жертвенно служить России в рядах Национально-Трудового Союза. Клянусь всегда и во всех своих действиях и поступках руководствоваться честью и благом Родины. Клянусь свято хранить вверенную мне тайну. Клянусь следовать приказам Союза, выполнять его задания и соблюдать требования его Устава».

Всё это, опустив глаза. А потом подняв их, темные, немигающие, скорым и сильным шёпотом (как шептали друг другу тайны иудейские девочки-подростки):

— Христом-Богом, вот как тебе клянусь!

\* \* \*

На севере лето короткое, а сколько радости! А человек, как личинка в коконе, — я это по доходагам знаю. А счастье бывает вдруг, как с неба скатится. В апреле растает снег, а в мае!..

Душа мотыльком вылетает из кокона на солнце счастья. Помани только!

Вот и лечу мотыльком от Рудни к Одессе. Марш-бефель вместо крылышек, а маршрут ясен: из дома в дом, от души к душе.

Приблизительно так:

Шагает по Руси странник, постукивает посошком. Хорошо ему странствовать! Идет и идет он себе, и не знает даже, что позади осталось, а что впереди предстоит. Позади деревенька, впереди деревенька. Сёла, веси, губернии. Соловецкий монастырь далеко на холодном море, и опять всё леса да реки, да где-то Афонгора. Посидит в избе с бабами, с курами, с ребятишками, с клопами и тараканами, где укажут ему, там и переночует. Пустят в дом — посидит, отдохнет, а не пустят, милостыньку под окном попросит. Да ведь пустят: наш народ добрый. И в каждой такой деревеньке всё такие же избы, такие же окна, такой же хлеб. И всё такие же бабы возятся по хозяйству, такие же дети и тараканы крутятся по углам...

А в вольном широком поле нет ни женщин, ни детей, ни тараканов. В поле веет прохладный ветер, дух, о котором не знаем, откуда и куда он летит. В поле надышишься этим духом и пойдешь-пошагаешь, как он, куда хочешь. Всё останется позади, и всё будешь идти и идти по Божьей степи, по вечным покоям, и сам станешь духом...

Странствование не прогулка, а служба духу, святой досуг. И кабы все люди пошли бы так по полю, вдыхая дух, все надышались бы им, единым, овевающим землю...

Вычитанное когда-то с Федором по-прежнему непонятно. Но хочется послужить духу. Застранствовать, зашагать по Руси, не спрашивая дороги.

— Кому служишь?

— Духу.

— Чем?

— А правдою нашей. Верой, что если всех обойти, к каждому обратиться, то не Гитлер и Сталин, не

ложь и страх, а вера, любовь и совесть станут управлять миром.

С больной головой Валя втискивает меня в газик. В нем шофер, два полица и арестованный.

— ...еще вот этого гражданина возьмите. Что значит — некуда?! Втроем сзади сядете, вот и всё. Гражданин — командированный из Берлина. Сядет с шофером. Вещи вот его в ноги себе поставьте.

Полиции не очень довольны, но Валентину знают. Только и могут, что хлопнуть дверцей. Едем молча, пылим. Партизан в этих местах вроде нет. В шоферское зеркальце мне видно лицо арестованного: светло-голубые глаза, низкий мясистый лоб, густые сальные волосы. За что его?

В зеркальце встречаю его взгляд, мрачно исподлобья меня испытывающий. Смутившись, спрашиваю:

— За что тебя взяли?

— За мальчика.

— За какого?

— А за Митеньку, за любовь.

Слово «любовь» он произносит по-белорусски: «любоу». От скуки включается шофер:

— Ты что, спал, что ли, с ним? (Знает, сволочь, что немцы уничтожают педерастов.)

— Нет, не спал.

— Так за что же?

— Я ж говорю: за любоу.

— Ты скажи, как ты с ним любился.

— И скажу, коли сами не знаете. Всем говорю, так и вам скажу, чего ж не сказать. Митенька, он — внучек царский. Когда *то* началось и царя-Николая сбросили да повели убивать, так дочка его, Настася, только в шею пораненная, убежала в Сибирь к тунгузам, ждать, когда оно кончится. А когда оно кончилось и стала советская власть тиранить народ колхозом, стала и Настася гадать, как бы сделать, чтоб

царский род не пресекся, то есть как бы родить ей мальчика. А вокруг, слышишь, тунгузы да тундры, где тут царской крови возьмешь? И уж как там, не знаю, — говорят, будто Бога она умолила, и ангелы ее перенесли — а только ушла Настасея в Европы и там объявилась, был ей великий суд: царская ли она дочь, или кто, и зачем корону не носит? Не поверили ей в Европах, заявили: не может быть, и есть у нас Гитлер-вождь, и царской нам крови не надо. Так живи, мол, пожалуй, а политику мы без тебя всю сделаем. Хорошо. Да только нашелся испанский граф королевской крови и взял ту нашу Настасею за себя замуж и сделал ей сына Митеньку, Дмитрия Гвидоновича, то есть мальчика, царского внука. Вот имею его портрет. Мальчик-Митенька, Дмитрий-царевич убиенный.

Парень порылся за подкладкой пиджака, вытащил завернутую в тряпку продолговатую берестяную коробочку, потом из кармана штанов вынул ключик, отомкнул ее и достал завернутую в голубую бумагу открытку, репродукцию картины Нестерова «Явление Ангела отроку Варфоломею». Развернув, с умилением посмотрел сам и, не выпуская из рук, касаясь только краев, чтобы не запачкать, повернул сначала ко мне, а потом к полициям:

— Вот ваш царь перед матерью своей Анастасеей. А вы — Гитлеру служите!

Полиции посмотрели и засмеялись:

— Брось нам сказки рассказывать. Так тебя за это и посадили!

— За это самое! За этого мальчика, за Митеньку, за любовь!!

— А где ж он, твой Митенька?

— Как где он? Тут вот он, с нами. Где портрет, там и он. Не знаешь, советский выкормыш. Где царский портрет — там присутствие. И сам он живой по Расее ходит. И многие уже видели. Только германцы

прячут его, а народ не требует. А я ихнему генералу сказал: «Зачем ты от нас нашего Митеньку прячешь?» А он сейчас же: «Арестовать!» И взяли меня за любовь, за Митеньку. Боятся, народ узнает и тогда уж «никс Гитлер!» — будет Митино милое царство.

Парень шепчет что-то тяжелыми толстыми губами, глядя на своего Митеньку, грубыми руками работы бережно завертывает его в бумажку, кладет обратно в коробочку; а я тут же, на коленях, пишу записку Шиллеру (он же не знает еще, что я сбежал).

«Дорогой Генрих Карлович!

Помнится, мы уже сделали с Вами несколько записей любопытной легенды о мальчике, в котором народ видит воплощение правды и с которым связывает надежды на будущее. Мне посчастливилось только что выслушать еще неизвестный Вам интереснейший вариант этой легенды. Больше того, мне показан даже портрет мальчика-Митеньки (вообразите, он же царский внук и Дмитрий-царевич убиенный!). Не пересказываю в подробностях, но уверен, что этот вариант будет жемчужиной Вашей диссертации.

Рассказал мне его тот самый арестант, с которым меня отправили попутной машиной в Оршу. Так, пожалуйста, свяжитесь с Оршей и потребуйте, чтобы его никуда не отправляли до встречи с Вами.

Кстати, он обвиняется в агитации против оккупационных властей, но это такая глупость, что, думается, Вам будет нетрудно добиться его освобождения. Тем более, что он старообрядец и, возможно, сможет навести нас на след тех старинных икон, которые так ценят в Штабе».

— Как тебя зовут?

— А вам на что?

— Да вот записку пишу, чтобы выпустили.

— А мне что в тюрьме, что на воле, лишь бы при Митеньке.

— Ладно-ладно, говори, как зовут.

— Зовут Митрий.

— А по фамилии?

— Фамилия была Романов, а теперь нет никакой.

Кто за мальчика, тому фамилии не надо.

— Вот болван! — Полицаи давятся от смеха.

.....

В комендатуре в Орше:

— Eine Doktorarbeit! Диссертация! Разумеется, мы готовы задержать у себя арестованного. Можете быть спокойны. Мы готовы изолировать этого человека от внешних влияний. Мы будем кормить его досыта, и вашему зондерфюреру он будет представлен сытым. Разумеется, мы не должны забывать о науке. В гестапо мы передадим его потом. Пожалуйста. Будет сделано.

Немцы, в сущности, неплохие люди. Ума бы вот только прибавить. Жаль, что не приписал к письму: «Я взял на себя смелость предупредить немецкую комендатуру и получил согласие коменданта задержать у себя арестованного до вашего прибытия».

Я обедаю с комендантскими офицерами, получаю маршевое довольствие, а ужинаю уже самостоятельно в зольдатенхайме, чтобы избавиться от скучных разговоров. Сам, уже совершенно свободный, сижу на пропыленном дворе, заставленном голыми столами, съедаю сербский гуляш из мясных консервов с фасолью, пью полноценное, не по-берлински крепкое пиво (всё для фронта!), пересматриваю вчерашние газеты и наблюдаю, как подавальщицы кокетничают с солдатами.

Я говорю им:

— Девушки! А думаете вы, что дальше будет? Или так, как сорняк придорожный: «хоть день, да мой!»?

Я спрашиваю лишь бы спросить... Я и так знаю, что они думают. Они с охотой подсаживаются ко мне, достают фотокарточки братьев и женихов, сра-



жающихся в Красной армии, смеются и, вторя моим словам, начинают рассказывать о таинственном мальчике, который уже явился в народе и, без сомнения, спасет Россию.

\*  
\*  
\*

Какой славный мальчик! Ведь бывают же такие лица! Улыбнется, словно подарок сделает! И смотрит на меня и улыбается.

Я только спросил его:

— Вы куда едете?

— В Милгородок.

— Вы там стоите?

— Да. А кстати, мы теперь отдельный отряд Российской Освободительной Армии. Видите нашивки «РОА»? Специально за ними ездили. Расцениваем как большой успех русского дела. А вы откуда?

Мы с ним едем в телячьем вагоне. Я — посаженный посторонний с маршбefeлем в Ивановку, а он — командир отдельного отряда РОА.

Сидим рядом в раскрытой двери, курим, побалтывая ногами. Смотрим, как медленно поворачивается вокруг нас степь, и слушаем, как за нашими спинами его отряд — наши русачки в немецкой форме, молодые ребята, человек двадцать или тридцать — сидя и лежа горланят песни, то советские, а то какие-то, видно, старые: про ротного запевалу Василия, про Марусю, что при виде их роты «позабыла про дела», и про собачку, «что за ротой побегла». Хвост у ней, безусловно, торчал гордо кверху, штыком, у собачки.

«Российская Освободительная Армия» под немецким командованием, в немецкой форме! А мальчик такой хороший. Какие глаза! И какая молодость в лице!

И смеясь, оттого что вижу его глаза, вызывающе кричу ему сквозь стук вагона:

— Мало что ваши нашивки стоят! Так и подадут вам немцы Россию на блюдечке с золотой каемочкой! О России надо думать самим.

А он мне:

— А мы думаем!

И — опять как подарок делает — обернувшись назад, в вагон:

— Прекратить! «Бьет светлый час» — давай!

«Бьет светлый час за Русь борьбы последней,  
Нас не пугают ни свинец, ни сталь.  
России зов всё громче, всё победней,  
Идем вперед, нам ничего не жаль!»

И я достаю карандаш и, заранее предвкушая эффект, рисую на стенке вагона трезуб (собственно, не на стенке, а на раме двери. Совсем небольшой трезуб, наш знак св. князя Владимира, на поперечине толстой дверной доски).

А он берет у меня карандаш и красивой смуглой рукой подписывает под ним: «НТС», а чуть выше, точно как в «Календарике-памятке революционера», в кавычках и с восклицательным знаком, наш славный девиз: «За Россию!»

И на ветру, в стуче и лязге, в болтне и качке разбежавшегося под горку вагона, я влюбленно обнимаю его за плечи и, любуясь его глазами, кричу ему в самое ухо:

— Россия наша! Прошлое России наше! Будущее России — тоже наше!

А он мне:

— Заезжайте к нам в Милгородок!

.....  
Таков Петя Гринев. А у него — сестра Клава.

Клава — ландыши, Клава — лебеди, Клава — белые облака над березами.  
.....

Приблизительно так:

Ехал по Руси князь Потемкин-Таврический, в пудреном парике, в золоченой карете с гербами. Ехал в вольную степь, отвоеванную у турок, ставил верстовые столбы, городки и деревни, готовил проезд царице души своей, матушке Екатерине Алексеевне.

И поставил между лесом и степью, между Рославлем и Екатеринославом, на границе дикого поля сельцо Миловидово, Милорадово тож.

И стал Милгородок не велик и не мал, не нов и не древен, а так себе, в уездном ранге — райцентр при советской власти.

А небо над Милгородком, как при Таврическом, блестит серебряно; кучатся в нем на закате кучерявые облака, громоздятся фигурами, алеют пышно. А полнотельные младенцы с крылышками — то ли ангелы, то ли купидоны — прячутся в них (розовое на розовом), надувают пухлые щечки, пускают стрелы любви, поют пасторали.

Речка милгородская — не то Врскла, не то Псла — на закате золотом блестит вокруг собора. А собор в Милгородке (теперь горкино на четыреста мест) из желтого камня, веселый, с круглыми окнами, ну, тульский самовар в архитектуре — пузатится себе, словно так и остался собором.

И сидят себе милгородские люди возле ворот на лавочках, ходят друг к другу в гости, пекут пироги, жарят блины, солят огурцы и квасят капусту. В садах Милгородка пахнет резедой и укропом, на улицах пасутся козы, бегают дети и кошки, дерутся воробьи и шествуют гуси. В трехконных и пятистенных домиках с полосатыми половиками и занавесками качаются в люльках и зыбках милгородские младенцы. Их деды, отцы и братья в императорских и красноармейских мундирах браво смотрят с засиженных мухами фотографий. Подушки пирамидятся на кроватях с блестящими металлическими шарами. Венские стулья

парадно стоят у стенок, фикусы и столетники зеленеют в углах. Хозяйки хозяйничают, а постояльцы — унтер-офицеры и солдаты Германской армии — рубят для них дрова, чинят заборы и, чтобы не наследить на полу, снимают у порогов смешные немецкие сапоги с широкими низкими голенищами.

На улице Ленина, бывшей Большой Дворянской (где в барских особняках изразцовые печи с лежанками), — дом с колоннами, бывший партком, ныне комендатура. И как ямщики при Таврическом, подкапывают к нему лихо, с ветерком разворотистые шоферы на немецкой службе, как при советской власти то льстят, то хамят начальству, вышибают из бутылок пробки, пьют прямо в горло, высоко запрокинув голову, утираются рукавом и веселые выезжают по нарядам.

Весна приходит сюда по зеленым, как пастушка в каштановых локонах с полным передником роз. А лето лежит лениво, вспоминая о ландышах, белых чашечках нежных, нежнее божественных лилий, Небесным Отцом одетых в райскую ризу.

Над Милгородком, километр всего по шоссе, на высоком обрыве над Пслою — дом Потемкина с флигелями, конюшнями, парком и статуями по аллеям. В доме — Петин русский отряд, а в конюшне (младенцы рядом с солдатами) — родовспомогательный пункт, а заведующая этим пунктом — Клавдия Андреевна Гринева, Петина милая сестрица.

.....

Когда прямо с вокзала Петя привел меня к ней, Клава полола огород. Солнце уже припекало, но сорняки еще хорошо выдергивались: ночью был ливень с грозой — земля вымокла. И в свете чистого утра, в запахе мокрых трав — лебеды, молочая, укропа, — босиком и в подколотой юбке, повязанная платком с горошинами, Клава то опускалась на колени в между-грядье, то поднявшись, широко расставляла ноги,

одну на одной, другую на другой стороне грядки, чтобы лучше достать середину.

— Вон Клавка вкалывает. Сейчас надергаем у нее редиски. У нее редиска замечательная. Только тихо, она нас не видит.

И оставив меня стоять, Петя подскакивает к ней сзади, хочет зажать глаза, закричать, как в детстве: «угадай-ка кто?», но разве подскочишь?

— Петюшок! — Клава целует его, не обнимая, широко раскинув испачканные в земле руки. — Ну, пойдемте. Здравствуйте. Это кого ж ты привел? Проходите, пожалуйста, и садитесь. Я сейчас. Только руки ополосну.

.....

Клава всего лишь акушерка. Мечтала стать врачом-гинекологом, но не смогла. В тридцать седьмом отца — на Колыму, а ее — вон из института. Так и вернулась в Милгородок.

И теперь — что при немцах, что при советской власти — как рожать, так к Клаве: Клавдия Андреевна, помогите! Да и где уже родилось, там тоже Клава: чем кормить, как купать. Одни соски — целый вопрос! И пеленки. Почему уж так повелось, чтобы заведующей гладить пеленки? А только у Клавы всегда их ворох. И в тепловатом уютном воздухе, пахнущем утюгами и глаженным чистым бельем, фыркнув на пеленку кипяченой водой из кружки, Клава говорит совершенно просто:

— Типографию устроим во флигеле, а жить будете у старосветских помещиков. Есть здесь такие старики. Сохранились. Я поговорю с ними.

.....

Если тебе одиноко в жизни, полюби старичка или старушку. Расскажи им что-нибудь о себе, пожалуйста на судьбу, если хочешь. Почини что-нибудь у них в домике, принеси какой-нибудь гостинчик.

Если ты полюбишь старушку, взаимность тебе обеспечена. Не волнуйся о своей внешности. Ей понравится твоя внешность. Она будет хвалить тебя соседям, будет вязать тебе носки и шарфы, будет восхищаться тобой и ждать твоего прихода.

А если ты присмотришься к старичку, ты увидишь, что он будет ждать тебя как младший старшего брата. Он отдаст тебе всю свою душу, не поленись только взять.

Я не был одинок в Милгородке, но, поселившись у старичков, полюбил их, и хоть и пропадаю целый день, странствуя от души к душе, чинил и чистил их домик, играл с ними вечером в карты и чуть не поссорился с Петей, настаивая на их праве присутствовать на союзных встречах.

.....

— Пульхерия Ивановна, опять ваша Манька бунтует! — слышалось каждый раз перед встречей.

И каждый раз домашняя коза Манька занимала бунтовскую позицию у калитки, глядела недобрыми желтыми глазами и, нюхая воздух, поднимала верхнюю губу и скалилась, точно желала обругаться. Коза Манька не любила членов Союза и бодала их при всякой возможности.

— Ну и что же, Афанасий Иванович, — высывалась из окошка всегда серьезная Пульхерия Ивановна. — Вы примите ее к сторонке, вы в сарайчик поставьте ее, Афанасий Иванович!

— Ну что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Она же бодается, вы же отлично знаете.

— Но вы же мужчина, Афанасий Иванович, вы должны справиться с козой.

— Перестаньте, Пульхерия Ивановна, вы же ее доите, она вас знает.

— Ну вот, Афанасий Иванович! Ну и что ж, что дою? Разве в молоке дело? Ведь вы — хозяин. Вы прикрикните на нее, она и отойдет.

— Не отойдет, Пульхерия Ивановна. Не отойдет, уж я знаю.

— Отойдет, Афанасий Иванович, уверяю вас, что отойдет!

— Да не отойдет, бестия. Видите ведь, как она скалится. Она чувствует что-то.

— Она не чувствует, а видит, Афанасий Иванович: человек за калиткой.

— И не человек, Пульхерия Ивановна, а и еще идут. Примите Маньку!

Насладившись этим стариковским разговором, я выходил из своей каморки, ловил Маньку за бодливые рога, оттащивал ее в сарайчик и широко распахивал калитку: заходите, друзья, милости просим, поговорим о наших задачах!

.....

Изложение наших задач я строил систематически, начиная, разумеется, с идеологии. Я прекрасно усвоил ее, излагая снова и снова.

Современный кризис. Капитализм, коммунизм, фашизм. Труд — товар, человек — придаток к машине. Человек — статистическая единица, человек — номер, человек — материал. Человек, механически выполняющий указания, и, наконец, Душегубов — уничтожитель свободы.

А надо простое, прекрасное, давно известное: неповторимая ценность личности, неотъемлемое право человека самому выбирать свою любовь. И свобода духа, конечно, о которой мы мечтали с Федором. Свобода от лжи и страха. Свобода искать и находить правду. Свобода любить и жалеть людей, свобода дружиться и верить людям, как поверила мне Валентина, как поверил Петя Гринев, как верят Коля с Танюшкой, как верят мне Шурочка, Мурочка, дядя Вася и Анна Евгеньевна, бабушка, нянька и тихая Зоя Сергеевна, как поверил суровый Авксентий Афанасьевич, как верят приведенные сюда Петей Никита и Николай.

Не та пустая свобода, в которой я жил в Берлине, а та, которую с помощью Вали я украл у болвана Шиллера, та, при которой ни часу, ни даже минуты не остается свободной. Свобода не «от», а «для», свобода любящая, самоотверженная, творческая, имя которой «воля». Наш старый Анарх, добровольно преобразенный, властно требующий: «полюби!», а полюбив, послужи любимому.

Запомните: долг человека один — жить по собственной доброй воле.

.....

Вы читали «Духовные основы общества»? Нет, конечно. Советская власть закрыла русскому народу доступ к мировой философии. А это замечательная книга. Мы берем ее за основу. Я прочту вам анализ понятия «мы», и вы тотчас же станете солидаристами. Вот:

— «Мы» столь же первично, но ни более, ни менее, чем «я». «Мы» не есть просто множественное число от «я», простая совокупность многих «я». В своем основном и первичном смысле «я» вообще не может иметь множественного числа... Поэтому «мы» есть не множественное число первого лица, не многие «я», а множественное число как единство первого и второго лица, как единство «я» и «ты». В этом замечательная особенность категории «мы». Вечная противопоставленность «я» и «ты», которые каждое само по себе и в отдельности никогда не могут поменяться местами или охватить одно другое, преодолеваются в единстве «мы», которое есть единство категориально разнородного личного бытия «я» и «ты»... «Мы» есть некая первичная категория личного человеческого, а потому и социального бытия. Сколь бы существенно ни было для этого бытия разделение на «я» и «ты» или на «я» и «они», это разделение само возможно лишь на основе высшего объединяющего единства «мы». Это единство есть не только единство противостоящее мно-



жеству и разделению, но есть прежде всего единство самой множественности, единство всего разделенного и противоборствующего, — единство, вне которого немислимо никакое человеческое разделение, никакая множественность. И даже когда я осознаю полную чуждость мне какого-нибудь человека или стою в отношении разделения и вражды к нему, я сознаю, что «мы с ним» — чужие или враги, то есть я утверждаю свое единство с ним в самом разделении, в самой враждебности.

Никакого готового «я» вообще не существует до встречи с «ты»; явление встречи с «ты» именно и есть то место, в котором в подлинном смысле возникает само «я». Какая поразительная мысль! Я всю жизнь, кажется, о ней догадывался! Одинокое «я» бессмысленно. Одинокое «я» так бессмысленно и не нужно, что носитель его может думать только о смерти... Я бывал одинок. Я знаю. Одиночество — смерть души, ибо одинокий предательствует.

Это глупости, будто душа внутри нас. Душа там, где мы любим, вне нас, в других людях. Наши «я» только там, где есть «мы». Мы за всё отвечаем и нам всем до всего есть дело.

Вот почему мы солидаристы. Солидарность — основа жизни.

Но в основе солидарности — любовь. Любовь же не бывает «вообще». Любовь конкретна и деятельна. Вот почему высшая форма социального объединения — нация. (На данном этапе, конечно, в пределе же — человечество. Но любовь ко всему человечеству, это пока невозможно, это теория, это дальше, это пока для мечтателей.) А любовь к своему народу, к этой родной земле, к этой жизни кругом, к этим домам и людям, так внимательно меня слушающим, к этой низенькой комнатке с чистым окошком в сад, в пятнистую тень от яблони, к этим моим старичкам, и к Петё, и к Клаве (Петя — я вижу — волнуется, я для него

всё еще как товарищ из центра, он думает, что по мне здесь судят, как я рад, что он мною доволен!) А Клава (у Клавы круглые плечи и полные щедрые руки; младенец в этих руках как плод, как благословение)...

.....

Мы, солидаристы, хотим видеть нашу Россию сильной и равноправной державой, в которой люди будут свободны, а власть будет принадлежать народным избранникам.

Мы хотим видеть нашу интеллигенцию свободной, имеющей доступ к мировым сокровищам культуры.

Мы хотим видеть наших рабочих и служащих свободными тружениками, свободными, как от капиталистической эксплуатации человека человеком, так и от коммунистической эксплуатации человека государством.

Мы хотим видеть русских крестьян подлинными хозяевами русской земли.

Мы хотим видеть русскую женщину полноправной подругой мужа, матерью чудесных детей, воспитанных в любви и радости.

Мы хотим видеть наших стариков обеспеченными и довольными.

Мы хотим видеть нашу родину в расцвете. Мы хотим, чтобы наша страна, преодолев свои трудности, примером, а не пропагандным криком, вела за собой другие народы.

.....

Мы хотим создать такую Россию, которой мы сможем гордиться, которую стоит любить.

То есть, конечно, мы любим ее и такую, и всякую будем любить, на то мы и русские. Но нужна нам другая Россия, Митино милое царство со столицей в Милгородке.

.....

Я хорошо говорил на союзных встречах и еще лучше думал. И лозунги «Ни Сталина, ни Гитлера!», «Не коммунизм, не капитализм, а национально-трудо­вой солидаризм!» я выговаривал так, словно только что сам их придумал.

Ни у большевиков, ни у немцев не было таких пропагандистов. Не беритесь за пропаганду, если в нее не верите, если не любите тех, кого хотите увлечь. Союз верил и верит, и наша Россия будет!

\* \* \*

Ха

Ха

Ха

Ха

!

!!

Ваша Россия!!!

?

?

!!!

Это на книжных заставках  
— виноградные лозы и  
птички.

Это на фресках —  
лилии и пальмовые ветви.

Это ведь на иконах —  
ангелы благовествуют

Девам,  
цари поклоняются Младен-  
цам,

мертвые выходят из ада.

Это во время Пасхи —  
небесное пламя нисходит  
в Иерусалиме.

Попрекрасней Милгородка

Попрекрасней Милгородка

Попрекрасней Милгородка

(Поезжай в Палестину — увидишь.)

.....  
Не ваша Россия, а иконы в канаве.

Не ваша Россия, а в поздний осенний вечер, вся в слезах, вся в грязи, нерожденная дочка моя ползет в распаханном поле.

Еще в сумерках принесли ее сюда и положили:  
— Лежи, не вставай, хуже будет!

А она встала и поползла. И ползет теперь за людьми, переваливаясь из борозды в борозду, падая личиком в глину, вскидывая голенький задик.

Ветер гуляет по полю, продувает ее насквозь, поддувает под рубашонку, студит застывшее тельце.

Девочке страшно и холодно, девочка кричит и плачет, а люди сидят по домам, отужинали, благодумствуют.

Нерожденная девочка, дочка моя брошена в пустом поле!

В низких изорванных тучах бездонные черные пятна. Ветер. Редкие звезды взблескивают и исчезают. Луны не будет. А огни в своих теплых домах люди замаскировали от бомбежек.

Ночью в осеннем поле дочка моя, вся испачканная в земле, всё ползет и всё плачет.

Хоть легла бы куда-нибудь! Ну, куда ты ползешь? Всё равно никуда не выползешь.

И тоскует душа моя и, в голос воя от жалости, черной летучей мышью бьется на ветру над полем.

Дочка моя! Ребеночек мой, младенчик! Дочка моя пропадает в осеннем поле! Дочка, дочка моя, дочурочка-доченька-дочечка, Клабочка брошенная стынет одна на ветру, а я?

.....  
Ну, что я могу? И куда я гожусь со своей любовью?  
.....

Как побитый бездомный пес, я тащусь в толпе жалких беженцев. Документы я бросил с Генрихом, а что личность без документов? единица без назначения, рот вне учета, пылинки в мусоре. Один из прочих, из тех, что идут толпой, кого грузят навалом, чье горе в

землю уйдет, чью беду не опоют в песнях, не опишут в романах, не покажут в кинокартинах.

Не они ведь стояли у станций, когда шли поезда на фронт.

.....

Это в фильмах потом покажут, что у каждого была мама. На экранах покажут, как мимо безвестной платформы проходят сотни вагонов, как мамы бросаются к поезду, кричат: «Ко-оля! Пе-тень-ка! То-олик!», заснимут отдельные лица, отдельные вскрики, отдельные слезы, а увидишь лишь общий большой полушубок, огромные общие валенки, во всё небо огромный плат и, еще гораздо огромней, одно общее, горькое, лично тебя зовущее мамино плачущее лицо...

Тех, с кем я шел, никто не опишет, разве я, в единственной этой книге.

Те, с кем я шел тогда, — это брошенные судьбе наши матери, жены, дети, те самые, которых мы предали, сдавшись в немецкий плен.

Ведь не мы в метели, в пурге, в буране бросались в контратаки, не мы громоздились горами трупов, не мы отстояли Москву в том безжалостном ветре, в те горькие дни, когда в схватках лютого страха Россия рожала ненависть. Не мы в том страхе и ненависти ломали немецкую оборону, форсировали переправы, бежали на огонь батарей, наваливались на вражеские доты, висли на колючей проволоке, врывались в окопы, преодолевали препятствия и пространство, умирали и убивали, останавливали врага.

.....

Мы лежим на вокзальных перронах, толпимся в очередях за супом, громоздимся в переполненные поезда. Оставляя мешки и узлы, забиваемся в тамбуры и проходы. Отталкивая друг друга, занимаем места на крышах. Мы дружно рвемся на запад, спасаемся от большевизма.

Когда нас начинают бомбить, мы кидаемся в подворотни, забиваемся в погреба и подвалы, валимся в придорожную грязь и прячемся в ней, как ребенок в коленях матери. Мы закрываем руками головы и вспоминаем жизнь, каждый свою.

А когда кончится, мы хохочем. Мы не оплакиваем погибших, но радуемся, что сами живы. Мы лезем на свежий воздух, отряхиваемся и острим. После каждой бомбежки мы счастливы. Еще раз остаться в живых! Разве это не счастье?

Наше счастье бессмысленно. Но мы не знаем об этом. Мы знаем, что идет Сталин, но мы думаем, что не всё кончено: ведь спаслись же на этот раз!

Мы бежим в никуда. Мы забыли, откуда пришли, и не знаем, докуда дойдем. Мы бежим перед побежденными. Мы беженцы — пыль от колес истории.

И за это, лютей, чем немцев, нас ненавидят те, кто ведет нам обратно Сталина.

.....  
Потому что не Милгородок, не свобода, а

\* \* \*

в комендатуре, в Орше:

— Eine Doktorarbeit! Диссертация! Разумеется, мы готовы задержать у себя арестованного. Можете быть спокойны. Мы готовы изолировать этого человека от внешних влияний. Мы готовы кормить его досья, и господину фон Шиллеру он будет представлен сытым. Разумеется, мы не должны забывать о науке. Пожалуйста, пройдите в жандармерию и оформите ваше требование. Это от них зависит.

А в жандармерии:

— Что? Задержать у себя арестованного? А вы кто такой? Документы? Маршбэфель в Ивановку? А кем выдан? А на каком основании? А вы не знаете,

что Ивановку взяли бандиты? А предъявите еще удостоверение личности.

...Так-так. Значит, вы по национальности русский. Так-так. А откуда вы знаете арестованного? Почему вы о нем хлопочете? Для науки... Зря взяли?.. У нас зря не берут! И никто не давал вам права критиковать политику Фюрера.

...Хорошо, мы позвоним в Рудню. Мы подождем приезда вашего господина Шиллера. И вы подождете. Мы только сделаем так, чтобы вы, действительно, ждали. Нас обмануть нельзя, и вы это сейчас увидите. Мы всё сделаем правильно, согласно приказам и предписаниям. Ваш маршбфельд остается у нас. Следуйте за сержантом.

.....

Сержант совершенно лыс, и лысина у него совершенно белая. Наружу он всегда в фуражке и потому снимает ее — как раздевается: лицо одето загаром, а купол бел, гол, в прозрачных капельках пота.

Фуражку он снял, как только мы вошли в тюрьму, и понес ее вместе с ключами. Нарушая тюремное правило, доверчиво пошел впереди, светясь своей белой лысиной. Сержант немолод и добр драгоценной добротой тюремщика. Дома, в Германии, у него больная жена и некрасивая дочка с тряпичной куклой. Обе одинаково зовут его «Паппи». Когда до войны он служил в настоящей тюрьме, заключенные тоже звали его «Паппи». Здесь же этого нет. Здесь сидят главным образом русские, с которыми не поговоришь и которые нарушают порядок. Но сержант и к ним относится как к людям. Заключенные тоже люди. Это не все теперь признают, но это так. Как профессиональный тюремщик сержант совершенно в этом уверен.

Глядя на него мне не страшно, а только грустно. Потому что ерунда всё это. Что мне стоит покормить пару дней клопов у него в камере? А идти с ним по ко-

ридору даже приятно. Если бы все тюремщики умели так добродушно позвякивать ключами!

И всё это приключение, в сущности, ничего не стоит. Не пройдет ведь недели, как тот же «Паппи», без всякой улыбки и с тем же мирным спокойствием, выведет меня обратно и сдаст моему зондерфюреру и начальнику Генриху Шиллеру. А Генрих, по приобретенной с высшим образованием деликатности, конечно, не станет выяснять не вполне ясную историю с маршбефелем в Ивановку. Мы запишем только дословно Митькин рассказ о мальчике, в благодарность устроим самого Митьку истопником при комендатуре и поедем эвакуировать иконы.

.....

А про Милгородок я выдумал. Не было никакого Милгородка. Маршбефель был. Валентина была. Митька был. А Пети и Клавы не было.

А за Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича мне дадут водяную камеру:

— Не заливай, падло! Не может этого быть, чтобы гоголевские старички сотрудничали с фашистами. Давай лучше раскалывайся, называй настоящие имена.

После водяной камеры я назову имена старосветских помещиков. Синея в холодной воде, в промежутках между двумя обмороками, я успею окончательно поверить, будто они оба умерли, будто я предаю умерших.

Старики недаром боялись советской власти.

\* \* \*

Я не плакал, конечно, в сарайчике, разделявая за Афанасия Ивановича тушку Маньки-козы, собирая несчастных стариков в последнюю печальную дорогу, но грустил о них, как об умерших. Ведь нетрудно было понять, что эвакуация для них — круговой маршрут, дорога в смерть.



Пульхерия Ивановна собирала в эту дорогу Афанасия Ивановича, укладывая для него сундучок, а я гонялся за нею в сарайчике, предвидя, что с ними будет.

Ведь Афанасий Иванович так послушно пойдет в эвакуацию, как маленьким мальчиком выступал, одной рукой придерживаясь за юбку маменьки, а другой волоча на шнурочке пушистую козочку на колесиках.

Афанасий Иванович будет так же сидеть на вокзалах, как смиренхонько сидел на табурете в магазине, пока маменька осматривала товар. И, принимая миску скверного супу, будет так же говорить «спасибо большое», как говорил его ласковому к нему приказчику, и взглядывать будет тем же благодарным взглядом, за который получал второй леденец, специально завернутый для него в бумажку с наставлением спрятать его «на потом» в карманчик.

И Пульхерия Ивановна, серьезная с самого детства, ничему не удивляясь и ничего не требуя, из последних сил будет уютить свой угол в бараке, подсаживать Афанасия Ивановича на верхнюю койку, постилать на вымытый табурет вязанную крючком салфеточку, вешать над ним фотографии своих родителей и, если возможно, варить в углу на спиртовочке то какие-нибудь галушечки из неведомо кем пожертвованной муки, то жарить Афанасию Ивановичу сладенький блинчик, то тушить под крышечкой соленые остатки вот этой самой Маньки-козы. (Мясо жесткое, старая была уже коза).

.....

Когда мы с Генрихом приедем с ручной тележкой, чтобы помочь старикам добраться с вещами до вокзала, комнаты в старосветском доме будут вымыты, фотографии сняты, зеркало завешено простыней, а окна раскрыты настежь. Чистый осенний воздух будет стоять в доме, как в сжатом поле.

И в недомашнем уже этом воздухе, одетая в мантильку, Пульхерия Ивановна будет ждать нас в крес-

лах, а Афанасий Иванович — рядом на стуле, высокий и тощий, в сюртуке и в брюках в полоску, похожий на карикатурного янки, шляпа и палка — возле.

И едва мы войдем, Пульхерия Ивановна поднимется и не спеша примется закрывать ставни и окна, сперва в опустелой спальне, потом в сенях, потом в кухне и после всех — в зальце, в котором мы будем ждать втроем, наблюдая ее движения.

И с каждым закрытым ставнем в доме будет темнеть, и без всякой к тому ее воли такая тоска будет в этих движениях, в том, как, высунувшись, потянет она к себе сперва один, а потом другой ставень, в том, как замкнет их на откидные крючки, как закроет оконные рамы и как дальше, не останавливаясь, будет продолжать свое дело... Такое будет в них горе, что даже Генрих закроет лицо руками, а вечером скажет мне:

— Какой ужас! Зачем мы эвакуируем стариков? Они умрут, они не смогут жить вне России.

Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне в благодарность за то, что мы жили у них, Шиллер выхлопочет покойное место в поезде, запишет их в «народные немцы» (я покажу под присягой, будто у Пульхерии Ивановны бабушка была немка), обеспечит им приём в Лицманштадте. А другие?

Других повезут навалом и повезут без разбора. Налепят потом белые буквы ОСТ на голубом поле и посадят в стандартные бараки без проволоки и с проволокой.

Другие ведь просто женщины, повязывающие платок.

Когда всё уже собрано, и ноги обуты, и пальто, полушубок, шинель или ватник застегнуты на все пуговицы, а вещи стоят у двери, остается — платок повязать. И платок берут за углы и натягивают, и привычным вековым движением накладывают на темя. И

натянуто опускают концы и, перекинув правый конец через плечо, два, а то и три раза обматывают вокруг шеи. Потом убирают с лица материю внутрь, заправляют углы у висков. И голова покрыта, готово.

И тогда открывают дверь и, подняв с полу мешок и чемодан на перевязи, перебрасывают их через плечо, чемодан спереди, а мешок, мягкий, за спину, между лопаток. И выходят, одни по-старинному, перекрестившись, другие по-новому, не крестясь.

.....

Что думает Генрих, глядя на них, я не знаю. Я слишком не люблю его, чтобы спрашивать.

\* \* \*

О, конечно, мой Генрих — образцово воспитанный и порядочный человек. Но я не люблю его. Он ничем не обижает меня и ничем не дает почувствовать, что я от него завишу. Но между нами — стена из его безупречной порядочности, добросовестности, дисциплинированности и готовности в меру сил помочь всякому, кто стремится к достойной цели или не по своей вине попал в трудное положение.

Разумеется, если это возможно, Шиллер оказывает помощь беженцам. Но когда (еще в самом начале) я попробовал заговорить с ним о Союзе, он совсем не понял меня:

— Das darf man doch nicht. Это же не позволено. Ваша идея мне кажется хороша, и нам следовало бы переменить политику именно так, как вы желаете. Но политические организации у нас, к сожалению, запрещены. Кроме NSDAP\*, конечно. Но будем друзьями. И зовите меня, пожалуйста, просто Генрихом.

.....

---

\* NSDAP — Национал-Социалистическая Немецкая Рабочая Партия (с нем.) — Ред.

Мой друг Генрих Иоахим Непомук фон Шиллер — сын офицера и внук офицера. Но сам он — не офицер. Это единственное, что сейчас, во время войны, немножечко его смущает, создает в нем нечто вроде малюсенького комплекса, вроде чуть-чуть нечистой совести. Он и сам знает, что это зря, но тем не менее всегда спешит объяснить преимущества ученой карьеры перед военной, подчеркнув, что славистику как науку он выбрал из патриотических побуждений, будучи твердо уверен, что будущее Германии — в России.

Да и теперь он всегда готов защитить свой выбор. В самом деле, ведь зная русский вопрос, Генрих, хоть не был ни дня в военном училище, как зондерфюрер приравнивается к капитану, в то время как папин любимец Фридрих всего только месяц тому назад получил, наконец, майора.

Нет, Генрих вполне уверен, что не ошибся. Напротив, ошиблись те, кто считал, что славян изучать не сто́ит. Ведь только подумать, сколько творится глупостей, оттого что мы плохо знаем славян. Незнание — источник недоверия, а недоверие — источник вражды. Генрих счастлив, что изучал и понимает русских! Русские доверчивы, как дети. Если знать их язык, если понимать их фольклор (начиная с Васьки Буслаева), если подходить к ним не то что как к равным, но деликатно скрывая свое превосходство, они проникаются полным доверием и несут свои меморандумы, из которых ведь ясно, что именно Генрих прав, и даже сам Фюрер (в гениальности которого, разумеется, нет сомнений) не имеет в русском вопросе советников, способных дать полноценный анализ. Генрих очень надеется, что с помощью меморандумов, а отчасти и в результате неудач (умные люди ведь видят, что восточный поход — неудача, но об этом лучше не говорить, чтобы не снижать дух народа и армии), германское руководство поймет, что необходимо переменить политику, и тогда

вот таких, как Генрих, приравняют, пожалуй, и к генералам, и в опоре на таких, как я, они будут оказывать влияние, о, разумеется, благотворное для обеих сторон, в духе великого Бисмарка, в духе подлинной германо-русской дружбы!

.....

Пока же и он, и я, мы посланы за определенным делом. Мы, конечно, принимаем меморандумы, раз уж нам их приносят, но прямая наша задача — вывоз икон и художественных ценностей, а разумный и рассудительный человек, желающий продвигаться по службе, должен думать прежде всего о деле. Разумеется, мы помогаем, кому можем, но эвакуировать беженцев поручено другим, и растрачивать наши силы на это было бы безответственно.

О, конечно, Генрих фон Шиллер на редкость ученый, разумный и преуспевающий молодой человек. И как бы ни сложилась в дальнейшем политическая картина мира, где бы ни пришлось ему служить, он, несомненно, выстроит себе не слишком далеко от службы красивый и комфортабельный домик с газончиком, цветничком и желтенькими дорожками, со вкусом оставит его и одарит безоблачным счастьем себя, супругу и деток.

Нелюбовь моя к Генриху совершенно необоснованна. Его домик куда реальней Милгородка и Клавы. Удивительно, как не влюбились в него все три сестрицы, когда он начал бывать у Вергункевичей. А тихая грусть, с которой я вспоминаю тюремщика в Орше, лишь свидетельство скверного вкуса и черной неблагодарности.

\* \* \*

Где-то в Бирмингеме или Манчестере, а может быть, в Эссене или Реклингхаузене, на вокзале прощалась пара.

Он, видно, отправлял ее куда-то, где не бомбят. Внес ей в вагон чемоданы, уложил их на полку, поцеловал ее, вышел и стал у окна снаружи, глядя на нее снизу вверх, тоскуя, жалея, прося прощения и утешая, и всё толковал ей что-то о климате тех деревенских мест, куда отправлял ее без себя.

А она смотрела на него и улыбалась. Не слушала его и улыбалась, видя только, как он раскаивается, как упрекает себя и сожалеет, что так часто оставлял ее одну, что не приносил ей цветов и так редко делал подарки. (О, как он знает теперь, как неожиданный, необещанный подарок, не к дню рождения, не к Рождеству, не к Пасхе, как какой-нибудь флакончик духов, косыночка или зонтик могли бы ее обрадовать!)

Его губы жалостно улыбались, описывая погоду, а глаза уверяли, что всё это будет, будет, будет, а она не слушала его и улыбалась, и хотела, чтобы ничего больше не было, не было, не было, чтобы так ей и плыть в его взоре...

.....

А в Берлине, в отеле «Иден», министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп давал званый вечер в честь своего итальянского коллеги графа Галеаццо Чиано.

Мужчины были в смокингах и фраках. Дамы — в дорогих вечерних туалетах. Корреспондентка нейтральной швейцарской газеты насчитала в гардеробе двенадцать накидок с шеншеллями, семьдесят котиковых манто и десять собольих шубок.

Гостей забавлял французский балет Сержа Лифаря. Лакеи разносили шампанское.

.....

А в Польше играли Шопена. Все, кто мог, сидели к роялям и, открыв окна и двери, разыгрывали «Революционный этюд».

Фальшиво, беспомощно и великолепно, путаясь в трескучих пассажах, бравадно набрасываясь на аккор-

ды, с каждым днем набирая скорость, выбрасывали Шопена на улицу.

В Варшаве, на Маршалковской, в доме со снесенной крышей, жил профессор консерватории. Он был модернист и Шопена стал играть только теперь. Он играл его как Хиндемита, как Гершвина, как Шостаковича. Шопен кричал у него под пальцами. Шопеном кричала Польша.

.....

Когда мы проезжали Польшу, Генрих интересовался вопросом, почему поляки играют Шопена? Не Вагнера, не Бетховена, не Моцарта, а всегда и только Шопена?

.....

А Россия эвакуируется.

Впереди мы — с иконами, за нами — беженцы, а за беженцами — войска. Под иконы дается грузовик: «Штаб Розенберг» заботится об исторических памятниках, Великая Германия понимает в искусстве, знает цену иконам, спасает их от большевизма.

.....

А бандиты раскладывают на дорогах мины. А мне какая разница: беженская телега, танк или грузовик с иконами?

.....

Вот мы и сидим у дороги. Посмотрели развороченный грузовик, вытащили водителя, убедились, что он убит, составили протокол, дали подписать его свидетелям, сложили иконы в канаву и ждем транспорта в комендатуру.

В канавах в эвакуацию — всё. В канавах не только иконы. В канавах сломанные телеги, отказавшие автомашины, околевшие лошади и коровы. У околевших коров огромные вздутые животы, ноги подняты над землей: хайль Гитлер!

Возле такой коровы наш мертвый водитель смотрит в пустое небо.

.....

В революцию, в восемнадцатом и девятнадцатом годах, трупы в Москве называли «жмуриками». Я был ребенком и думал, что «жмурики» — это оттого, что зажмуренные, оттого, что глаза закрыты.

.....

Мы с Генрихом даже не поцарапаны, а у водителя синие, как небо, глаза раскрыты настежь. В суете мы не подумали о глазах, а теперь поздно: глаза больше не закрываются.

.....

На краю канав отдыхают, закусывают, кормят детей и спят. На краю канав умирают.

В канавы сбрасывают лишние вещи. Из дому берут много, а по дороге сбрасывают. В канавах лежат столы, стулья, столетники, фикусы, деревянные сундуки, чемоданы, узлы, картонки, подушки, перины. Между сундуком и периной бросили мальчика. Забыли, видно.

Мальчик не плакал, крепился и каждому заявлял гордо:

— Ну вас. Отстаньте. Я сам. Сам хочу. Сам сижу. Проходите, а то собаку натравлю.

И сразу Жучке:

— Кусь! Возьми! Укуси! Это чужие.

Жучка, брошенная с ним рядом, ворчала слегка для форсу, морщила глупый нос, слушалась господина. Уходя, ведь сказали: сидите тут, ждите, достанем подводу — приедем, заберем вас с вещами. А вот не едут.

.....

Так я понял и так объяснил Генриху. А оказалось — не так. Оказалось, что мальчик — наводчик и регистратор, регистрирует, кто наехал на мину и сигналит перерывы в потоке. Партизаны выходят тогда из укрытий и опять кладут мины.



А тех, кто сидит и ждет, забирают, понятно, в лес.

Так забрали и нас с Генрихом.

\* \* \*

Офицеров смотрит на меня. Да, тот самый. С умной маленькой головой на громадном костистом туловище. Тот самый, без которого немислим Доктор. Тот самый, что вел хозяйство в Монастыре. Он, оказывается, реабилитирован и теперь — командир отряда.

Размеренный тонкий голос и выдержка педагога: — Вы сами знаете, я — беспартийный. И в партию не вступлю, напрасно втягивают. И лагерных лет не забуду, забывать нам их незачем. Но — вот, будьте добреньки вникнуть, — как по-вашему, что с нами было бы, если бы победил Гитлер? Вы думаете, ничего особенного: колониальное рабство, национальный позор, расчленение великой державы, разумеется. Немецкие помещики на Украине, немецкий язык в университетах. Стыдно, конечно, но стыд можно и перенести. К татарам за ярлыками ездили — не стыдились. Да и ораторов слушаем — не стыдимся. Не в стыде дело.  
.....

Ночь. Партизанская масса спит прямо под ёлками. Генрих — в карцере, в яме, вырытой хитро, с подкопом, воронкой, повернутой горлом вверх; возле нее — дежурный.

А Офицеров — тот же: спокойствие и порядок. Землянка у него, как индивидуальная кабина в лагере: две койки, стол. На столе лампа, чашка с махоркой, газета «Правда» и консервная банка-пепельница. (Сам он не курит, но — для сожителя-помполита и проходящих, чтобы не сорили вокруг). Ужином он меня накормил. Выслушал. И, как раньше в Монастыре, хочет объяснить положение:

— Курите, если хотите. И не перебивайте. Я вас послушал, послушайте теперь вы меня.

.....

— Я ведь не спору, выбор был небогатый: направо Гитлер, налево Сталин. И кабы мы с вами выбирали, можно было бы и подумать. Но выбирали не мы. Обратите внимание: выбирали. Выбор-то сделан уже. Вы попали на фронт когда? Осенью сорок первого? Вот и понятно, что мы с вами — на разных концах: вы с осени, а я прибыл только к весне, когда всем стало ясно — за родину значит за Сталина. Нет, подождите, не спорьте, я переубеждать вас не буду. Суть не во мне и не в вас, суть в народе. Я вам, помните, еще в лагере объяснял: размышлять — это наше интеллигентское занятие. Народ ведь не размышляет. Рядовой солдат, как и зэк, применяется к обстоятельствам. Обстоятельства же такие; первое: что́ было с теми, кто в плен пошел, кто Гитлера выбрал? Лагерь-ки-то вам дали не хуже сталинских. Сколько там вашего брата позарывали? Второе: на советской-то стороне — хоть плохие-хорошие, да свои же русские люди, а немец пришел к нам, на нашу землю, нас же бьет да с нас же и спрашивает. Сталина, может, и он не любит, да воюет-то с нами, с солдатами, с партизанами, нас в плен берет, нас убивает, над нами бахвалится. От отдельного человека и вообще-то мало зависит, а на войне и подавно. На войне одиночка — ноль, один в поле не воин. И не взаимодействие частей и родов оружия, — это само собой, и дело не в этом, — но взаимодействие каждого с каждым, та боевая спайка, которая образуется в ходе военных действий, в ходе самозащиты каждого от идущего на всех врага — это в природе армии, боевого товарищества, войны... Армия — это сила, которая всех защищает. Вы защищаете родину, армия защищает вас. А немец стремится всех уничтожить. Какой же тут выбор? И хоть жизнь наша была не ах, но немец и ту разрушил. Из-за него

мы на фронте, из-за него в лесах. Немец вломился к нам со своим Гитлером... Плохо было, хорошо ли, причем тут немец? Завоевателей всегда ненавидят. Это закон истории.

Исход войны решит не любовь, а ненависть. Причем ненависть не отвлеченная, не к формам собственности или социальному строю (международный пролетариат-то подвел и не с капиталистами ведь воюем), а как бы это объяснить? — ненависть боевая, прямая, конкретная, видящая свой объект. Немца ведь каждый видит, каждый знает, что немец — враг, каждый чувствует, что немца надо ударить, надо его уничтожить, надо ему отомстить. С немцем просто: бей немца и будешь героем, и Сталин тебя наградит, и родина вроде похвалит... Он страшен, Сталин, но в данном случае... в данном-то случае, чтобы бить немцев, это и хорошо, что страшен.

Теперь еще: обиды у нас накопилось много. А знаете, что значит сорвать злость и выместить обиду? Сталин нас всех обидел, но Сталин — он там, в Кремле, до Сталина не достанешь, а на немцах он сам велит зло срывать. Бить, скажем, партийных руководителей, а тем более особистов, запрещено законом. Тут и статья, и параграф, а в армии еще и дисциплина, и воинский устав, и трибунал. А немец, он тоже сволочь, а бить его между тем героизм... Вот выбора-то никакого и нет. Решение диктуется не выбором, а конкретной исторической обстановкой, реальной возможностью ударить. Выбирать может отдельный человек, да и то редко, а масса течет по наклону.

Ваша третья сила — теория. Для отдельных интеллигентов, пожалуй, и привлекательная. Но за ней же ничего нет. А люди примыкают к силе.

В первое время, пока еще немцы не стали объектом ненависти, люди сдавались в плен, не очень-то защищали Сталина. В то время у вас был шанс. Тогда надеялись на что-то вроде. А когда оказалось, что не-

мец — враг, когда узнали, что делается, и начали накаляться, и всякие Эренбурги подлили, конечно, масла в огонь...

И теперь уж — никакая сила. Увидели разрушения, посмотрели повешенных, пожалели детей и женщин, — а это, знаете, какая сила, когда сама жалость оправдывает! — и озверели. Немец теперь за всё перед нами в ответе: и за обман семнадцатого года, и за колхозы, и за лагеря, в каких мы сидели, и за черного ворона, и за страх, и за стыд. Теперь, оказывается, все муки наши были нужны, чтобы сковать оружие и бить немцев. Теперь все надежды и мечты — только чтобы поскорей их разбить. Теперь — ясная цель, и сама гибель осмысленна.

Вот и верят, что после войны всё изменится. Понимают, что коммунизм мертв, и думают — вместо Сталина явится светлый мальчик и рай начнется. Народ теперь — патриот. А такие, как вы, — предатели. Понятно вам это?

Да, понятно. В Берлине, в семье, так не думают. Но тем понятней. Рассказывать ему еще о солидаризме?..

— Владимир Николаевич, а Доктор?

— Что Доктор? Доктора вы же и предали. Я вас не осуждаю, я напоминаю только. Я и тогда, при вас говорил: «Не отпускайте, предаст».

Говорил. И спокойно рассказывает теперь, как Монастырь обмотали проволокой, а Доктора увели в застенок. Там, где все за всех отвечают, каждый побег — предательство.

И смотрит спокойно, и говорит почти ласково:

— Курите. Отпустить, к сожалению, не могу. Я хоть и командир, но здесь не хозяин. Вернется полит, пускай сам решает, как делать. Впрочем, дело-то ясное: раз сразу не шлепнули, надо сдавать на Большую Землю... Ну, да вы хоть не в форме, а этот, что с вами... Я завтра, пожалуй, рискну — самовольно его

отправлю, а вас задержу. Отправим потом с отдельной сопроводительной. Вряд ли это поможет, конечно, но всё-таки...

Ну, ступайте. Мне жаль вас, поверьте, но и я ведь подчиняюсь обстоятельствам. Можете считать меня врагом. Точней, предателем. Я ведь предаю вас в руки Лубянки.

.....

На Лубянке — сквозные этажи. А в пролетах между этажами, как паутинное кружево, тонкие и прочные стальные сетки. Говорят, будто это с тех пор, как Борис Савинков бросился в лестничную клеть.

А любимый цвет Лубянки — голубой. Не небесный, и не морской, а нежно-дамский. Этим цветом покрашены коридоры верхних этажей и нумерные кабинеты следователей.

На Лубянке любят паркеты и очень за ними следят. В старом здании, где я был уже, где при царе помещалось страховое общество «Россия», замечательные паркеты.

На столах у следователей на Лубянке горят лампы под зелеными абажурами.

При задумчивом свете такой вот лампы приятно поговорить о политике, выпить рюмочку коньяку, понюхать ландыш.

На Лубянке со мной обращались культурно. Никаких пыток не было. На Лубянке меня поднимали в лифте, отделанном мореным дубом, вели по коридору, освещенному белыми молочными шарами.

На Лубянке, в камере № 13, было безумно весело. И только при чтении приговора мучила тошняя зевота.

Теперь надо встать и идти на Лубянку. Мужественно встать и мужественно идти. Ну, вставай и скажи что-нибудь мужественное, заяви, что «мне тошно и кончайте скорей!», как Борис Львович над ямой.

.....

Мутно-белый молочный шар лопается у меня в голове. Я скольжу по паркету и падаю в лестничную клетку, распластавшись, как Борис Савинков. Но неудачно: у меня разматывается кишечник. Я лечу и разматываюсь, а в верхнем пролете лестницы меня держат за конец кишки. Кишка пружинит, как у вербного мячика, и чекисты гоняют меня вверх и вниз, хихикая как девчонки.

Я хочу сказать что-то мужественное, но меня ударяют о стенку. Я лопаюсь, как бумажный мешок, и липкий раствор изливается из меня на стол, на пепельницу и на газету «Правда».

Вдумчивый баритон моего первого додусегубовского следователя говорит о патриотизме и мужестве, а трескучий дискант Офицера раздраженно зовет дежурного.

— Ты для меня — блатной мешок с костями, а для тебя — сумка с молотками, — говорит громадный надзиратель с бычьей шеей и толкает мне железный ключ под ребра. Он отпирает меня и, скрючившись от животной боли, я переступаю порог и мужественно говорю:

— Извините. Рвота — это ужасно. Но рвота не значит покорность. Дайте тряпку и я всё вытру. И не говорите об обстоятельствах. Лубянка — не обстоятельство, а судьба. И вам незачем отправлять меня отдельно. Генрих — случайность.

.....

У дежурного низкий лоб с глубокой морщиной, сальные волосы, узкие голубые глаза и тяжелые руки работяги. Это — Митька Романов.

Он выводит меня из землянки. Молча проходит со мной двадцать или тридцать шагов. А после этих шагов:

— Теперь бежите пошибче! Выскочите на стезжку

и — вправо. Я сразу стрелять не буду, я погода пару раз стрельну.

\* \* \*

Бог! Бог!

Где Ты был в ту ночь и в тот час?

Неужели Ты мстишь мне за то, что я плохо верю?

Почему не блеснула молния? Почему как черные шоры, те, другие, не Твои крылья закрыли от меня Генриха?

По-че-му?

Есть Твоя, животная паника. Она спасительна. Есть другая, погибельная. Не она ли несла меня через лес?

И вынесла.

Бросив Генриха.

.....  
Бог!

Я подонок, трус и предатель. Ты знаешь. Так зачем же Ты спас меня снова? На что я Тебе? Нельзя было разве меня оставить? Пусть бы не Ты меня судил и наказывал. Пусть без Тебя бы, законно, подушегубовски...

Может, добряк-вертухай покурить перед смертью дал бы.

.....  
Слушай, Бог! У меня вопросы к Тебе: что Ты думаешь делать с Генрихом? За что Ты его? Он же старался быть честным. Он не предательствовал. Он старосветским помог.

.....  
— Бога нет, и это тебе известно.

.....  
Это из мрака пустого, из черной дыры бесстыдства глумливый голос Аркашки:

— На рыночную стоимость буржуазной Генриховой добродетели тебе даже и оглядываться смешно. Это классики ее бичевали. А нам с тобой она — как мертвому припарки.

И хамски, с приклатнённой гнусной ухмылкой:

— И на хрена тебе сдался Генрих? Ты же не любил его вовсе. И сбежать от него хотел. Вот Господь тебя и избавил. Кланяйся и зажигай свечки, раз уж ты такой верующий. А если тебе справка для очистки совести нужна, так вот: перекуется Генрих. Адаптируется к условиям новой среды. А что? Ты считаешь, это нехорошо? Не тебе считать, тем более, что великий закон адаптации скоро станет в центр научных анализов. Приспособляемость к условиям среды сделала человека царем природы. Это наконец понято. Экологический подход. Адаптация к среде обитания. Прослеживается сквозь всё развитие живой природы вплоть до первоначальной слизи. Бытие и сознание, обратное влияние надстройки на базис, борьба за существование, естественный отбор, экономические факторы — это все функции. Аргумент — адаптация, способность приспособиться к условиям.

Но пугаться в теориях не будем. Рассмотрим вопрос на практике, на интересующем нас примере. Судьба Генриха Шиллера научно предрешена: он пойдет в переводчики к Душегубовым. И поступит разумно. А что? Для него так гораздо лучше, чем попасть под конец на фронт или в плен в общей массе, с миллионами, месить белорусский песок, а потом — в лагерь, в дизентерию, в тиф, в дистрофики. Путь хорошо известный. А сейчас Офицеров сдаст его Большой Земле индивидуально, отдельно, трофейно. Трофейно его и обработают. Война хоть еще не кончилась, но служить фатерлянду на обратной стороне фронта начинают уже и немцы. Комитет «Свободная Германия» уже есть. Победителей-то ведь уже видно. Пол-Германии освободим ведь мы, и спрос на хороших немцев, да



еще с русским языком, будет немалый. Так что только поначалу и помучается твой Генрих. Попугают его. Да повинную голову и меч не сечет. Разумеется, когда она нужна. Раскается, разоружится, перекуется. Проявит себя антифашистом и перейдет из зондерфюреров в функционеры, и домик ему будет, и супруга, и детки, и садик с цветочками, с газончиками и с камушками, вделанными друг за дружкой, чтобы не потоптать газончик. И пока нужен, не тронут. Разве что после. Но это уже по другому закону и без всякой связи с тобой.

.....

Бог! Ты жесток. Ты нехорошо поступаешь. Ты же знаешь, что думают люди под следствием. Ты знаешь, что будет с Генрихом, когда его сдадут шмонать. Ты знаешь, как они ему душу вытопчут, знаешь, что ходить по камушкам при домике будет ему горше, чем мне по паркету у фрау Райх.

Бог! Я подонок, пусть, но мне хоть Генриха жаль, а Ты? Или Ты вправду бессилён, безвластен и немощен, и весь мой крик в никуда?

.....

И оттуда ж, из той же провальной дыры, терпеливый, воспитанный, вежливый, европейский, а такой же бессовестный голос Виталия:

— Не впадайте в отчаянье, дорогуша. С таким же криком, как ваш, Бога молят со всех сторон. Но заметьте, почти исключительно в горе и особенно назойливо в отчаянье. И всегда то же самое: «Если Ты есть, сделай чудо по моему заказу». А Его и нет вовсе, вам уже объявил Аркаша. А если бы был, то войдите в Его положение: что ж, так каждого подлеца по первой молитве и спасать? Это же никакой доброты не хватит! Нет уж, надо самим устраиваться. На то разум дан и инстинкт самосохранения.

Так что бросьте скорбеть о Генрихе и не теребите зазря вашу бедную измученную совесть. И спокойненько, без эмоций, подумайте о собственной судьбе. Ваше

положение ведь выглядит только страшно. Скорей даже оно хорошее. До комендатуры вы доберетесь, а в комендатуре объявите, как было дело, и свяжетесь со мной по телефону. Как ваш прямой начальник я не предъявлю претензий. Мы составим протокольный отчет. В нем будут потери при эвакуации, будет и зондерфюрер Шиллер. Вот и всё. Спишем за счет потерь. При эвакуациях неизбежны потери, и материальные, и в людях. Сейчас все несут потери, и нам даже желательно не отставать. Вы же героически сбежали от бандитов и пробились к своим. Вы остались верны Великой Германии и готовы продолжать борьбу с иудобольшевизмом. За зондерфюрера вы не в ответе. Перед фатерляндом и фюрером он за вас отвечал, а не вы за него. В том, что вы наехали на мину, виноваты тоже не вы, а коварный и подлый враг, не гнушающийся диверсией. Вы же, согласно инструкции, не только не оставили казенный груз, но остались на страже его вместе с погибшим фон Шиллером. Вы разделили с ним ужасы плена и покинули его только потому, что сбежали. Полсуток плена не считаются у нас преступлением, Гитлер не Сталин, и вы можете преспокойно продолжать служить. А если бы вы и груз еще доставили...

Аркадий: Постарается, так доставит. Груз же никуда не делся, лежит себе при дороге. Утром явится в комендатуру, укажет на его ценность, возьмет конвой и притянет. Накладная пропала? Ерунда. С бюрократизмом надо бороться. Есть печати на ящиках: «Реквизирт дурх Айнзатцштаб Розенберг». Вполне достаточно. У тебя, кстати, нет отличий? Так еще и зеленого змия получишь. Так что: не надоедай Богу с Генрихом. Прояви воинскую находчивость. Комната у фрау Райх за тобой. Сможешь опять любоваться плафонами.

.....  
Бог! Ты же знаешь, что в комнату к фрау Райх я не вернусь и протокол составлять не буду... И, Господи, неужто некого было Тебе ко мне другого послать?  
.....

— По святому и ангелы, — дружно сострили братцы. — А тебе бы крылатых, пернатых, поющих и вопиющих? Не слишком ли православно будет? Мы к тебе с благой вестью, суть объяснить и на путь спасенья наставить... Так что не хаами нездешним силам и не отказывайся от комнаты.

— Перед тобой два пути: либо с Виташей — он умница, он твой спаситель и он тебя не оставит; он не сейчас еще, но своевременно начнет ссориться с онкелем и терять влияние в министерстве. Риска тут нет, ибо и онкель, и министерство сами теряют влияние. Так и наступит время написать неприятный доклад с неприятными предложениями, а там — и отставка по причине непримиримых расхождений. Останется только переехать, — например, в Бонн, — и в обиженном виде дожидаться... И учить английский язык. И оборвать, понятно, связи с теми, кто в тяжкую годину испытаний... К Вергункевичам ни ногой, из НТС выйти скандально, а уж от власовцев, как от заразы, беречься. Их ведь выдадут. Всех. В Ялте уже и протокол подписан.

Либо, если так уж советская власть не нравится, если так уж Россию жаль и так уж непременно надо ее спасать, то, пожалуйста, есть и другая дорожка: с нацмальчиками по немецким кацетам или к Власову в Российскую Освободительную. Там будешь вымалывать немецкие патроны к винтарям и формировать полторы дивизии, да не повоевав и славать их в сформированном виде на расправу. На той же дорожке встреча тебе подготовлена не с Генрихом, — Генрих-то будет уже служить обновленной социалистической родине, — а с подельниками твоими, с Митькой и с Офицеровым.

Они ведь тебя упустили, а ты от них убежал, так что об этом преступлении надо будет кое-что припомнить.

После той же невеселой встречи и чистосердечных признаний Митьке влепят десятку и пять по рогам, Офицеру — двадцать пять, а тебе — отдаленные северные широты, где снег и лед, и лес не растет, и белый медведь в валенках ходит. По справедливости: кто сколько завоевал. А что? Тебе белый мишка не нравится? Врут про него: там в валенках только охрана. И óпер, конечно. А ваш брат, те, что на нашего Сталина неблагодарно ножи точили, те — босиком, по-медвежьи. Шансов выжить там нет.

.....

Бог! Не пугай меня. Я трус и предатель, но я не хитрил расчётливо. Английский я учить не стану, и тех, кто точит ножи на Душегубовых, я не предаю. Запиши у Себя: им я останусь верен. Я — член НТС и поклялся честно и жертвенно служить России. Чести у меня нет, а нацмальчики, конечно, Твои коровки: крылышки распустя, летят на гибель. Но их свет — Твой свет, и я буду с ними, и братья Свиныны мне не нужны. Будь добр, заberi от меня эту нечисть. Прости руку и заberi. Сам ведь видишь: светает.

И мраку уже конец, и дорога уже видна. Моя дорога, наша дорога, Тебе и нам предначертанная дорога

Ты ведь с нами пойдешь по ней. Потому что наш враг — Твой враг, и наша правда — Твоя правда, и Тебя уже били за нее тростью по голове, и мордовали на следствии, и распяли, оклеветав, и Ты не сошел с креста и висел бессильно и жалко.

.....

О, замордованный брат мой, Иисус Распятый! Когда Ты доходил, и Отец Твой Тебя оставил, и Твои все зашлись от страха, и мухи лезли к Тебе в глаза, Душегубовы шмутки Твои делили, хитонишко Твой

заношенный на свет рассматривали, бросали кости и матерились, крича с низу своего к Тебе вверх:

— Эй, там, Бог! Что башкой-то мотаешь? Слепни заели? Потерпишь. Не на курорте.

Ты, руками распятыми мух отогнать не могший, Ты — Царь мой и Бог мой! Вот, обещаю Тебе: доберусь до семьи, попрошу у Анны Евгеньевны крест и заплачу, когда мне сорвут его с шеи на шмоне.

.....

Люди! Пожалейте Бога Распятого!

\* \* \*

Когда не Анне Евгеньевне, наедине доверяя, а всей семье я скажу, никого не смущаясь:

— Подарите мне крестик, — я промолчу про ту ночь и рассвет. Рассказать-то ведь нечего. Никаких видений не было. Свиньиных я слышал отчетливо, но даже не голоса, а лишь то, что они говорили. А про наше братство с Иисусом — что расскажешь? Не объяснишь ведь за чайным столом, что Бог Распятый = Бог Распинаемый, Бог побитых, раздавленных, сдавшихся и замученных. Бог, раскалывающийся на следствии, Бог, валяющийся у параши, Бог, заталкиваемый в воронók. Что Он вместе со всеми лежит под колесом истории, что Спаситель мой — Спаситель всех. Кресту Его поклоняюсь.

Да они это и сами знают. Их так и в школе учили. Они и без того обрадуются, и раскудахчутся, и расхлопочутся, ища мне крестик. И вот: все с крестами, а лишнего в доме нет, и надо покупать на Находштрассе, а не хочется покупной, а хочется, чтобы отдать по-братски, чтобы не купленный, а от души душе...

Милые мои все! Уж не знаю, кому из вас, бабушке ли Нилинишне, Авксентью ли Афанасьичу, дяде Васе, Зоеньке ли Сергеевне, Анне Евгеньевне или кому из де-

вочек, свой непотерянный крестильный крестик досталось бы мне отдать.

Но был тут капитан Олеандров.

Что ж, тогда все хорошие люди (вкрапливались, впрочем, и плохие) добирались до Гейльброннерштрассе. Олеандров и тут норовил не подать мне руки, но узнали мы друг друга сразу, хоть я — в гражданском, а он — в полной немецкой форме, на курсе в учебном лагере РОА, где высоченный генерал Трухин беспощадно браковал немецких агентов, а черноглазый Зайцев прямо на лекциях довольно ясно объяснял ребятам, как плохо, если ефрейторы берутся управлять государством.

Мне не хотелось при нем, но, видно, именно при нем-то и надо было просить мне крест.

Так вот Олеандров и вынул тогда, не смущаясь кудахтаньем, из грудного кармана завернутый в бумагу нательный крестик, не спеша развернул и сказал, осмотревши сначала всех, а потом глядя мне в глаза и думая о Душегубове:

— Вы когда-то совершили поступок грязный и недостойный, но в общем-то правильный. Я это понял, когда надел вот эту форму, и удивляюсь, что вы еще не в ней. Вот вам крест. Возьмите. Мне дал его молодой священник, что, помните, приезжал к нам в лагерь Зеелюст, весной, на Пасху. Я атеист, и крест мне не нужен. Просто неудобно было отказаться. Он уезжал тогда очень расстроенный: верующих-то у нас не оказалось.

.....

И приняв из рук его крестик, я без колебаний надену форму врагов России и вместе с ним пойду в те последние роковые полгода, в ту безумную надежду отчаянья, с которой, утешаясь трехцветной нашивкой РОА, к нам хлынет волна добровольцев, и уже не в Берлине, а в славянской Праге Власов будет читать манифест о восстановлении прав, добытых народом в

1917 году, и о почетном мире с Германией. Вместе с Олеандровым займусь текущими делами, вместе с ним буду формировать вторую дивизию, вместе с ним вымалывать у опекунов из ЭсЭс оружие и в хлопотах безумной надежды вместе с ним поверю, что, может быть, еще не поздно, что еще можно создать, сколотить и спаять миллионную русскую силу на месте разгромленного Райха. И с нечленами и членами Союза буду надеяться на Трухина и Власова, подсчитывая не свои силы.

Ведь нам известно: ведь доложил же еще в июне сам штандартенфюрер Гюнтер Д' Алкен, что в результате «Власовской акции» удесятерилось число перебежчиков. Ведь получили же мы после Манифеста свыше двух миллионов заявлений от остовцев и пленных, желающих вступить в ряды нашей освободительной армии. Ведь по немецким же подсчетам (скорее преуменьшенным!), нас уже в отдельных батальонах и вразброс до восьмисот тысяч служит в немецких частях. Ведь один казачий корпус у Паннвица — это чуть не восемьдесят тысяч сабель, а еще у Доманова и Краснова — их тысяч двадцать. (А драться казаки будут непримиримо, это известно.) Да русский охранный Корпус в Югославии, да Семеновский усиленный полк. А Северокавказский легион? А украинская дивизия «Галичина»? А другие национальные формирования? А латыши, а эстонцы? А среднеазиатские батальоны? А югославские четники, а православные сербы-льотичевцы (их целых три полка), а словенские домобранцы?.. Им всем мы — единственное спасенье от сталинской расправы. Им просто и другого пути нет, как с нами. А поляки? Не догадаться разве, что они думают после варшавского предательства? И Армия Крайова у них еще в лесах... Да если всё это собрать в кулак, да сопроводить целевой и развернутой пропагандой... Ведь мы не с пустыми руками идем. Нам есть, что сказать народу. И лозунги семнадцатого года, и соли-

даризм как идея русского будущего. Разве не каждому русскому нужна Россия без большевиков и капиталистов? И разве там, по ту сторону фронта, не именно о ней-то и мечтают, думая (ошибаясь, конечно, но думая), что «после войны всё будет иначе»?

.....

И забуду об Офицеров, и не представлю себе англичанина, того юного полковника с усиками в сдвинутом набор берете и рубашке с короткими рукавами, который примет нас в плен, чтобы выдать потом Душегубовым. Не догадаюсь о безжалостном солнце побежденных, о мае 1945 года, о голом поле с плоской ямой посередине, вырытой для сброса оружия.

.....

К этой яме мы будем идти, выстроившись в длинную очередь. По-батальонно, по-ротно, по-взводно, еще солдатами, но уже не рядами, и не цепочкой, а просто в затылок один другому, как за пайком.

И сбросив, как ненужный хлам, автомат, кобуру с пистолетом или винтовку, будем переходить за ворота и вмешиваться в толпу, оплетенную колючей проволокой. Побежденные. Пленные. Сдавшиеся на милость победителя. Те, кому выдадут номера.

.....

Шаг к этой яме — последний свободный шаг, и, готовясь совершить его, подойдя уже безнадежно близко, я увижу, как недалеко впереди капитан Олеандров, офицерски чеканя шаг, поскрипывая немецкими сапогами с квадратными задниками и показывая мне пример, отстегнет кобуру и, вынув свой прекрасный бельгийский парабеллум, красивым парадным жестом, плавной дугой сбросит его на свалку, попутно, на том же движении, выпустив себе пулю в висок.

.....

Над мертвым Олеандровым я вспомню, как в Зеелюсте, добываясь поблажек для умирающих, среди прочих текущих дел, он просил меня перевести майору:



— Через неделю Пасха. Весьма уважаемый в России праздник. Я прошу господина коменданта вызвать к нам в этот день священника.

Я тогда перевел, и майор, по закону германского рыцарства, желая преподать вверенным ему пленным необходимые утешения религии, согласился и стал звонить по телефону.

И вот:

в восемь часов утра, закончив поверку, Брюльман оглушительно скомандовал: «Alles antreten zum Gottesdienst!», «Все на богослужение!», — и повел нас в столовую и выстроил там рядами. А из кухонной двери, бесшумно, легко и чудесно, словно Христос по воде, двинулся к нам священник и не запел, как мы ожидали, а, крестя и благословляя, заговорил вдруг быстро и путанно, как человек, которому, пусть не умея, но надо всё сразу сказать.

— Друзья мои, братья мои во Христе! Родные мои, вот вы среди нас, вот я среди вас, вот вместе мы, в общей беде. Вот вы, мои страждущие, недугующие, плененные. Сколько я думал о вас! Сколько молился за вас! Сколько ждал этой встречи!

Он стоял перед нами, высокий, худой и юный, в молодой бороде и больших роговых очках, вцепившись тонкими пальцами в блестящий наперсный крест. Облечение было ему коротко. Из-под черного подола рясы видны были брюки и стоптанные полуботинки.

А голос дрожал и срывался в сладком восторге жалости, извиняясь, прося и заискивая, выдавая его всего, всю его радость, растерянность и готовность.

— Вот. Мне поздно очень сказали. Вышло так, что не успел и собраться. И кадило забыл, уж простите. Только Крест и Дары со мной. Но ничего, ничего, и будем сейчас молиться. Вы и не знаете как. Вас, говорят, не учили. Но Бог есть! Это точно, я уверяю вас. Бог с вами здесь, в этом лагере. Сам Спаситель-Христос, в нищете, в смирении. Сам Спаситель-Хрис-

тос, Он и в плен с вами шел, и голодал, и если в карцер, то и сейчас Он и с тем, кто там мучается. Вот, знаете, приспособленным, сытым, успешным, им не понять, а вы поймете: Христос всегда с пропадающими, со страждущими, с труждающимися и обремененными, ибо Он — сама Жалость, сама Любовь, ибо Он — Бог — Страдалец страдальца не покидающий. Потому-то Он и есть Бог, а я люблю вас.

Большевизм... Германское командование... Голод — холод — умираете тут без христианского погребения, бедные вы мои, родные мои, братья мои во Христе. Вот пойдем на ваши могилки молиться. Я брат ваш, священник Игорь, я всё понимаю, я всё готов сделать, я только сказать не умею...

Он говорил еще много и, только совсем отчаявшись, остановился наконец и вдруг сильно и ровно, привычно и равнодушно-торжественно возгласил: «Благословенно Царство!» И начал служить.

Без хора. Без икон. Без каждения. Перед голым крестом, который он снял с груди и положил на стол. И даже те из нас, кто мог бы воскликнуть хоть «Господи помилуй!», стояли в окаменелой растерянности. Он служил; мы стояли. Никто не крестился и не кланялся. И только внутри нас:

— вздохи, слезы, рыдания и стенания;

только внутри нас:

— мелкие, скорые, привычно-требовательные кресты;

только внутри нас:

— зады, приподнятые в земном поклоне;

внутри нас:

— наголо остриженные головы сильно, с размаху бьются о каменный пол;

внутри нас:

— чудотворная вера предков, пахарей, плотников, каторжников и солдат.

.....  
**УСЛЫШИ НАС, ГОСПОДИ!**  
.....

А служителя Твоего, священника Игоря, и раба Твоего, самовольно новопреставленного капитана Российской Освободительной Армии Олеандрова, и солдат, вместе с ним со злом воевавших, помяни во Царствии Твоем!

*ТЯЖЕЛЫЙ ПАРИЖ*

Из книги «Вне России»

*1. ЧАЙКИ НАД СЕНОЙ*

Так вот он, город долгожданный,  
И Шерш-Миди и рю Дарю!  
Я пью вино и ем каштаны  
И по-французски говорю.

Июнь, сиреневый и серый,  
Париж по крыши затопил.  
И чайки мечутся над Сенной  
И бьются из последних сил.

Желая, что ли, утопиться,  
Кричат, над пеною снуя.  
Чего им нужно, вздорным птицам?  
Онй — на Родине, не я...

Июнь туманный и неяркий.  
И дико в мире, как в лесу.  
Всю тяжесть Триумфальной арки  
Как будто на себе несу.

Гляжу — и ничего не вижу.  
Каштаны ем и пью вино.  
Хожу по городу Парижу,  
Хожу по гордому Парижу.  
И всё прошло. И всё равно.

*2. ЧЕРТОВЩИНА*

Где-то там, хоронясь до поры,  
Существуют ночные становища,  
Торжествуют другие миры,  
Где живут неземные чудовища.

Никому, ничему не сродни,  
Не животные и не растения.  
Может быть, непорочны они,  
Ну а может, дошли до растления.

Там своя, неземная возня,  
Там не то, что у нас, практикуется.  
А в Париже июньский сквозняк  
Продувает старинные улицы.

Я один по Парижу иду,  
А кругом сумасшествие плещется,  
Как в горячечном белом бреду  
Чертовщина да нежить мерещится...

А в Париже застыл Нотр-Дам,  
Угощают торговки каштанами.  
Я шагаю по прошлым годам,  
Точно в царство спешу долгожданное.

Существуют иные миры,  
На знакомый, земной не похожие.  
Но они бесконечно малы  
По сравненью с Тобой, Царство Божие!

*3. ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА*

На плечи взвалив Триумфальную арку,  
Иду по Парижу сквозь гомон и дым.

Мне тошно и душно, мне тяжело и жарко,  
Я с городом этим один на один.

Ведь я не для шутки и не для забавы  
Явился в столицу незнакомой земли.  
Пути, искривленные, как изобары,  
Меня ненароком сюда завели.

Хожу по Парижу, гляжу — и не вижу.  
Надгробная тяжесть готических крыш.  
И много ль мне проку, скажите, с Парижу?  
Зачем мне чужое? К чему мне Париж?

И, может быть, лучше, и, может быть, легче  
Споткнуться о камни, очнуться в аду...  
Взвалив Триумфальную арку на плечи,  
Иду по Парижу, куда-то иду...

#### *4. ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ*

Уходит Солнце в день вчерашний,  
Проваливаясь между крыш.  
Стою на Эйфелевой башне,  
Внизу беснуется Париж.

Как будто тяжесть поднебесья  
Я на своих плечах несу.  
Легко нарушить равновесье  
И очутиться там, внизу.

Но даже с Эйфелевой башни,  
Где я бессмысленно стою,  
Никак не прыгнуть в день вчерашний,  
В Россию, в молодость свою!

## 5. ИЮНЬСКИЕ НОЧИ

А небо — как звездная карта,  
 А в небе — безмерная тишь.  
 Ночными огнями Монмартра  
 Ему отвечает Париж.

Парижские острые крыши.  
 Бездонны ночные дворы.  
 Июньские ночи в Париже —  
 Как дыры в другие миры.

И кажется, небо так близко,  
 Что звезды впиваются в мозг,  
 Что каменный перст Обелиска  
 Касается крошева звезд...

Здесь время спрессовано в камень,  
 Здесь ветер застрял между крыш.  
 Глазами, ногами, руками  
 Я трогаю город Париж.

А небо всё ближе и ближе.  
 И, может быть, в звездных мирах  
 Свои, неземные Парижи  
 Сверкают, как странный мираж.

И я до конца заморожен,  
 Стихами, мечтами забит.  
 Такие июньские ночи!  
 Я знаю, что их не забыть.

*Париж, 11. 6. 76*

### ВЫБОР ПУТИ

*О творчестве В. Войновича*

*Всему свое время, и время всякой вещи  
под небом...*

*Время плакать, и время смеяться; время  
сетовать, и время плясать...*

*Еккл., 3: 1.4*

Владимир Войнович начал свою творческую жизнь в литературе в ту краткую эпоху жизни нашей страны, которая теперь уже вошла в историю под привычным всем названием «оттепели». Начал — так же, как и множество других, внезапно, как почки на дереве, появившихся «молодых» (тоже термин того времени, употреблявшийся чаще всего в прямом, но, случалось, и не совсем в прямом, смысле) поэтов и писателей — «шестидесятников». Как и большинство своих коллег по литературе, начал со стихов (в «Юности», в подборке других молодых поэтов, как положено — с портретом автора...). Стихи — тоже очень в духе и в тоне того времени: искренние, лирические, комсомольско-добровольские, типичные для всей тогдашней «юношеской» поэзии, ничем не выдающиеся. Но, собственно, кто из прозаиков не начинал с поэзии? — таких, пожалуй, можно и по пальцам счесть. Очень в скором времени Войнович «перешел к прозе».

Перешел, кстати, довольно «не типично» для наших «молодых шестидесятников» — и нетипичность эта выражалась совсем даже не в том, что у него были не свойственные им идеи, сюжеты, художественные приемы, а в том, что *все* его произведения печатались



в «Новом мире», журнале наиболее требовательном именно к художественной стороне прозы, тогдашнем некоем «эталоне» художественного уровня нашей литературы вообще. Почему? Почему журнал этот счел возможным и нужным публиковать любое произведение В. Войновича — даже те из них, которые по своему уровню «тянули» разве что на «Молодую гвардию», а то и на «Крокодил»?! Может быть, именно потому, что те люди, которые «делали» журнал (возглавляемый тогда А. Т. Твардовским), увидели — за всеми недостатками этих произведений — не только талант и творческие возможности писателя, но и *вероятность их реализации* — в плане чисто человеческом.

Ибо, увы, у нас в стране от писателя, кроме Богом ему данных способностей, требуется еще и это — честность, мужество, твердость в отстаивании своего права на настоящее творчество. Потому что — прав А. Синявский — в России литературу рассматривают всерьез (впрочем, не только в России — для англичан, например, день смерти диккенсовской Нелли был днем траура), но на то (и зато) она и настоящая литература...

Среди наших молодых «шестидесятников» много было поистине талантливых людей, но тех, кто сумел не изменить своему таланту, — можно счесть по пальцам. Первые произведения их — с оттепельно-восторженно-комсомольскими «считайте меня коммунистом» (Евтушенко), «это теперь мой звездный билет» (В. Аксенов) и т. д., и т. п., — в художественном отношении весьма слабые, привлекали читателей своей искренностью, юношеским порывом, верой в то, что наступили новые времена, а прежние уже не вернуться, что они, молодые, энергичные, полноправные граждане своего государства будут строить настоящую, лучшую жизнь. Они верили — а потому и верили им читатели, за искренность прощая недостаток мастерства (дока за-

тельством тому служит хотя бы неслыханный рост тиража той же «Юности»). Они были очень молоды, «инженеры наших душ», может, потому в большинстве своем и не смогли при наступлении «заморозков» не застыть, не съежиться, не стать бесплодными.

Войнович — смог. Из в общем-то заурядного молодого бытописателя он сумел стать *писателем* в истинном смысле этого слова.

Одно из первых обративших на себя внимание читателей произведений Войновича — рассказ «Хочу быть честным» («Новый мир», № 2, 1963 г.) Главный герой рассказа — прораб Самохин, человек, живущий только своей работой («личная жизнь», отношения с любящей его женщиной, вызывает у него только раздражение). Каждодневная обычная прорабская нерво-трепка в абсолютно типичных для любой нашей стройки условиях. И столь же типичное требование начальства сдать строящийся дом раньше того срока, когда он хоть минимально может считаться готовым. И, опять же типичное (хотя бы из в глубине души свойственного всем русским людям стремления к добросовестности в работе и к неподчинению глупым приказам) желание прораба не подчиниться этому требованию:

«Я не могу, скажем, сделать дом лучшим, чем он должен быть по проекту.

Но иногда меня заставляют делать хуже чем я могу, и это мне не нравится».

Однако, устав доказывать вещи и без того всем понятные, устав «уходить по собственному желанию», Самохин соглашается сдавать дом. И сдал бы, подписал бы акт, но вдруг дотошный студент — белая ворона в приемной комиссии — задел его, прораба, рабочую гордость:

«...Все гонят, лишь бы сдать дом, а потом сразу же в капитальный ремонт...

Я подумал: «Будь что будет, подписывать акт я не стану. В конце концов хорошая у меня работа или плохая — она единственная. И если эту единственную работу я буду делать не так, как хочу и могу, зачем тогда вся эта волынка?».

И — не подписал. И — в который раз — испортил себе карьеру и жизнь. А потом увидел рабочих, которые бездельничали, потому что

«Баллон с кислородом надо поднять на четвертый этаж, а кран отключили.

— И вы, такие здоровые лбы, не можете поднять один баллон? — спросил я совершенно спокойно, но чувствуя, что скоро сорвусь.

— Как же поднимешь, — сказал Дерюшев, — когда в нем больше центнера весу».

Тут-то и сорвался (и надорвался!) прораб — один заменив собой подъемный кран... Зачем? Чтобы пробудить у рабочих «рабочую» совесть, гордость, честь? Или, как говорит один из персонажей рассказа, «от нервов, что ли?», в припадке отчаяния, устав без конца колотиться в стену равнодушия и безалаберщины?..

Прораб Самохин *«хочет быть честным»*. В этом и заключается его драма, потому что хотеть-то он хочет, но — не может. Не может он быть честным не рывками-порывами, от не выдержавших нервов, а постоянно, по-настоящему, во всем. Потому что живет он в обществе (а, как известно, быть от него свободным нельзя), давно уже утратившем или извратившем понятия чести, совести, справедливости, действительно живого (не показного, не за деньги) интереса к работе, настоящего чувства долга и ответственности. Вот и приходится прорабу Самохину (как и всем другим) делить для себя понятия чести и бесчестия какой-то чертой: вот тут, в главном, если переступлю, буду бесчестен, а до этой черты — можно изворачиваться, фальшивить, закрывать на что-то глаза, обводить кого-то вокруг пальца... И так каждый день проделывать всё для того, чтобы иметь возможность делать

свое *главное*. Стремясь оставаться честным в *главном* (и неоднократно жертвуя из-за этого своей карьерой, и — что более трудно — простым и естественным желанием спокойной и нормальной человеческой жизни), бесчестности своей «по мелочам» он как бы даже не замечает, не осознает: для него это — рабочие будни, норма жизни всех окружающих его людей. Но подсознательное чувство субъективности своего определения того предела, за который нельзя шагнуть, если хочешь уважать себя, ощущение невозможности быть абсолютно честным и — столь же подсознательное — стремление к этому абсолюту и приводят к нервному срыву, к самоубийственному жесту отчаяния, с которым Самохин делает глупый, никому в общем-то не нужный, мальчишеский жест. Тут-то уж ни о каком стремлении к честности и говорить нечего — просто бешеная обида от того, что он, Самохин, болея за дело, в который уже раз сломал себе жизнь, а рабочим на это «дело» наплевать; от того, что и в личной жизни у него та же «черта», а не настоящее честное чувство, от того, что жизнь его была, есть и будет такой, как сейчас, и иной быть не может, — от безвыходности всего этого.

Надорвался прораб... Теперь, в больнице, может он подвести итог:

«Я прожил жизнь не самую счастливую, но и не самую несчастную — многие жили хуже меня... Может быть, при других обстоятельствах я дослужился бы до высоких чинов, но к этому я никогда не стремился и никогда не жертвовал для этого своей совестью. Только один раз я поколебался, но устоял и не жалею об этом.

Но иногда мне приходит на ум, что я что-то напутал в жизни, что не сделал чего-то самого главного, а чего именно — никак не могу вспомнить. И тогда мне становится страшно. Мне всего только сорок два года...

Если я завтра умру, от меня ничего не останется. Меня похоронят за счет профсоюза, и Ермошин или кто-нибудь такой же бойкий, как он, соврет над моим гробом, что память обо мне будет веч-

но жить в сердцах человечества. И наши прорабы — та часть человечества, которая знала меня, — вскоре забудут обо мне и если и вспомнят при случае, то вспомнят какую-нибудь чепуху вроде того, что я сгибал ломик на шее».

Вот это самохинское «если я завтра умру, от меня ничего не останется...» и составляет лейтмотив другого (опубликованного в том же номере «Нового мира» — под общим заголовком «Два рассказа») произведения Войновича — «Расстояние в полкилометра».

Тупая, бессмысленная жизнь деревни, одиночество и всеобщее отчуждение друг от друга людей даже самых близких, животное, сонное равнодушие ко всему — страшная картина «идиотизма деревенской жизни», где люди рождаются и живут лишь для того, чтобы в конце концов переместиться на близлежащее кладбище...

Единственное «развлечение», например, о котором мечтает лучший плотник деревни Николай — поспорить (в тысячный уже раз!) с приятелем о том, сколько колонн у Большого театра — шесть или восемь. Но вот раздобывает он открытку с изображением Большого театра — неоспоримое подтверждение своей правоты: колонн — восемь! И размышляет:

«Надо будет на день рождения жены созвать всех соседей, свою бригаду и хорошо бы кой-кого из начальства... А чтоб не скучно было, можно пригласить Тимофея, будет хоть с кем поговорить и поспорить».

И тут Николай остановился. О чем же он будет спорить, если сегодня покажет Тимофею открытку? Он растерянно поглядел на открытку и еще раз машинально пересчитал колонны.

«Пол-литру выпить, конечно, можно, — размышлял Николай, — особенно если под хорошую закусочку. Огурчики у Тимофея в погребе больно хороши... Только ведь пол-литру я и сам могу поставить. Не обедняю. А поговорить на дне рождения не про что будет...»

Он и сам не заметил, как оторвал от открытки один угол, потом второй... А когда заметил, изорвал ее всю и, вернувшись домой, выбросил клочья в уборную».

Извечное наше русское стремление уйти от одиночества, тоска по внимающему и понимающему собеседнику, когда самое страшное для человека — если ему «поговорить не с кем», — заменяется здесь у Войновича, пожалуй, еще более страшным: когда поговорить «не про что» (такой-то тоски даже герои Достоевского не знали!). И на этом фоне, пожалуй, большего внимания (и авторского, и читательского) заслуживает презираемый всеми и осмеиваемый пьяница Афанасий Очкин, пребыванию в этом стоячем болоте предпочевший бесконечные скитания по тюрьмам и лагерям. Но даже и смерть Очкина никого не огорчает, не заставляет ни задуматься, ни пожалеть об ушедшем из жизни человеке... Заключительные же декларативные фразы о никчемности жизни покойного выглядят, увы, какой-то инородной вставкой в рассказе, или вернее — авторской данью цензуре.

Уже в этих двух ранних рассказах выявляются некоторые особенности творческого почерка В. Войновича. Отметим прежде всего, что методу социалистического реализма произведения его совершенно не соответствуют: не говоря уж об отсутствии всего, что хоть приблизительно могло бы напомнить «партийность», «идейность» и т.п. необходимые аксессуары, — в рассказах нет и не только «революционного», но вообще какого-нибудь «развития». Ранние произведения В. Войновича на редкость статичны, персонажи его рассказов даны уже с совершенно определенными «заданными» характерами и стоят на своих определенных клеточках — как шахматные фигуры на доске, забытой собиравшимися сыграть партию шахматистами. Стоят — и не шевелятся...

Писатель ничего не приукрашивает, не придумывает — он описывает лишь то, что видит. Потому вместо «героики труда» у него:

«Ни вставать, ни идти на работу я, естественно, не хочу»,  
а вместо «любовного конфликта» —

«Наши отношения... и теперь продолжают — по инерции».

Но стремление точно, правдиво изобразить окружающую его жизнь, как бы остановить ее и рассмотреть под лупой, в мельчайших деталях, приносит В. Войновичу — как писателю — и немалый вред. Потому что видим мы перед собой просто натуралистическое описание, точное, добросовестное, но... В одном шуточном стихотворении по поводу «заумности» было сказано: «... подтекста много, а текста нет». Так вот, определить натуралистическое изображение действительности можно, пожалуй, некоторым перефразированием этих слов: «текста много, подтекста — никакого». А подтекст — это, увы (увы — в данном случае), то, без чего не может обойтись художественное произведение. Ибо литература «бытописательская», натуралистическая никакого «соучастия» читателя, никакой затраты им умственных способностей (разве что кроме модного в свое время выискивания «смелых» фраз — занятия, собственно к литературе отношения не имеющего) не требует, и фантазия его и чувства спят спокойным сном. И нет ему, читателю, никакого в сущности дела до изображаемых автором персонажей, они для него — посторонние, чужие люди, вроде случайных попутчиков в метро или в автобусе. Они никогда не смогут стать ему родными и близкими (может быть, даже роднее и ближе многих реальных знакомых), такими родными, как например, владимовский Руслан (хоть и собака) или, казалось бы, очень отдаленный от нас «пространством и временем» Печорин, или — явно уж выдуманый, реально никогда и не существовавший на свете солдат Иван Чонкин...

Скажем вкратце еще о двух вещах В. Войновича, опубликованных в «Новом мире»: №2 1965 год, — сценка «В купе». Именно она и имелась в виду, когда в

начале этой статьи было высказано недоумение по поводу публикации кое-каких произведений Войновича в лучшем нашем в те годы «толстом» журнале. Сценка эта, безусловно, более была бы на месте на последних страницах «Юности» (юмористический отдел во главе с Галкой Галкиной) или «Крокодила». Судите сами:

В поезде в одном купе оказались «он» и «она». «Она» не спит всю ночь, боясь «покушений на ее честь» с его стороны, хотя у него этого и в мыслях нет и не было. Мораль:

«Я подумал, что, если бы использовать энергию, которую она тратит на защиту неизвестно чего, можно было бы много полезного сделать для общества».

Через два года, в №1 за 1967 г., «Новый мир» публикует повесть В. Войновича «Два товарища» (это, кстати, его последнее произведение, которое приняли к публикации на родине).

Проблема в повести поставлена, по сути, та же, что и в «Хочу быть честным» — чести и бесчестности, порядочности и предательства. Но если в рассказе В. Войнович хотя бы, подробно и правдиво описывая действительность, нащупывает какие-то ниточки подлинного конфликта, столкновения двух противоположностей — желания героя быть честным и абсолютной невозможности это сделать, — то в повести, увы, автор, пожалуй, делает шаг назад от уже достигнутого. Смысл повести сводится к плоской и банальной морали: предавать друга не хорошо, предашь в малом, — предашь и в большем. Морализаторство это настойчиво сопутствует всему развитию двух параллельных линий: Валерия и Толика — товарищей детства, из которых один (Валерий) безусловно хороший, а другой (Толик) столь же безусловно плохой. В отличие от первых «Двух рассказов» принципы соцреализма здесь налицо. Пожалуй, единственное отступление — и то не от принципов, а от принятой в соцреалистической литературе практики, — что положительный Валерий вырос



в интеллигентной семье, а отрицательный Толик — в рабочей (это помогает автору и выяснить истоки предательской сущности Толика, объяснив их его «забитостью»: отец-скопидом бил его с малых лет и до самого призыва в армию). В повести — и идеал есть, и развитие, и катящийся неуклонно вниз антиидеал, трус и стяжатель, докатившийся в конце концов даже до выработки своей аморальной философии и пишущий стихи из-за легких гонораров — не то что положительный герой, выбравший трудную дорогу и направляющийся в летное училище... Впечатление такое, что писатель предназначал всё это для публикации в «Молодой гвардии»! И было в то время читателю грустно... Ведь судя по первым рассказам, думалось: нащупает еще писатель почву, найдет себя, станет настоящим — а кривая-то вниз пошла...

А оказалось — нет, жив, курилка!

Одно за одним стали появляться (но уже не на родине, а за границей) произведения В. Войновича: первая часть «Чонкина», «Путем взаимной переписки», вторая часть «Чонкина», «Иванькиада»... Войнович нашел себя...

Повесть «Путем взаимной переписки» напечатана была в журнале «Грани» №87/88 за 1973 год. Герой ее, младший сержант Иван Алтынник, ведет «заочную» переписку (заочниц у него «числом около сотни»). Неожиданно его посылают в командировку, и по дороге Алтынник заезжает к одной из своих заочниц, Людмиле Сыровой, как он сам заявляет, чтоб «по-товарищески» сделать ей и себе «удовольствие». Людмила, оказавшаяся лет на двенадцать старше нашего героя и имеющая уже четырнадцатилетнего сына, спаивает его, укладывает к себе в постель, а на следующий день вместе с явившимся ей на подмогу братом тащит беспробудно пьяного Алтынника в поселковый совет и ре-

гистрирует с ним брак. Все дальнейшие попытки Алтынника избавиться от этого брака ни к чему не приводят. В день демобилизации на КПП его поджидает Людмила с грудным ребенком (его ребенком) на руках. Закатывая публичные скандалы, она добивается того, что Алтынник соглашается поехать к ней (как он думает про себя, ненадолго). Но вырваться ему уже не удается, и в конце повести мы видим, как его, маленького, жалкого, спившегося, Людмила тащит по улице за шиворот и колотит.

Надо сказать, что та «школа бытописания», которую прошел В. Войнович в ранних своих рассказах, со служила ему в этом произведении большую службу: фон, на котором происходит действие повести, особенно быт пристанционного поселка, где живет Людмила, выписан точно, колоритно — его видишь перед собой, ощущаешь его атмосферу, передаваемую скупыми и меткими деталями. Вот, например, «жениха»-Алтынника ведут «сочетаться законным браком»:

«За Алтынником шла Людмила, покрасневшая от вина и от слез и возбужденная предстоящим событием.

То и дело к дороге выходили какие-то люди. Выползали старухи, черные как жуки. Никогда Алтынник не видел одновременно столько старух. Они смотрели на процессию с таким удивлением, как будто по улице вели не Алтынника, а медведя.

— Милок, — спросила Бориса одна старуха, — куды ж это вы его, болезного, ведете?

— Куды надо, — растягивая гармошку, ответил Борис».

Великолепно это «милок, куды ж вы его, болезного...», как и ответное «куды надо»! А «черные старухи», сопровождающие Алтынника на эту погубившую его жизнь свадьбу! И — с одной стороны, старухи эти есть, они реальные, о них говорит автор, а с другой стороны — маленький штришок: упоминание о том, что их видит Алтынник... Но Алтынник-то в беспробудно пьяном состоянии, об этом говорится тремя строчками выше, — так, может, это ему только мере-

щится «одновременно столько» черных старух — в пьяном предчувствии непоправимой беды? Такого рода штрихи, ассоциации, которые вызываются авторским подбором слов (ну, хоть тут же: «как будто по улице вели не Алтынника, а медведя» — сразу на ум приходит: «по улицам слона водили»... и видишь перед собой толпу показывающих пальцем зевак, только показывают они уже не на слона, а на Алтынника...), точные речевые характеристики персонажей — и создают то «двойное дно» произведения, то «чуть-чуть», которое, как считал Л. Толстой, и делает произведение художественным. И, пожалуй, самый верный признак этого — тот, что, как любое действительно художественное произведение, повесть эту каждый читатель может истолковывать по-своему. Ведь рассказать ее можно и так:

Младший сержант Алтынник, хоть и молодой, но испорченный до мозга костей человек, лгун, стяжатель, подонок (хроменькая Наташа, по его мнению «ломаться не должна», потому что «физнедостаток» имеет), желая обмануть одну из своих заочных подруг, сам попадает в капкан. И жалости, собственно, заслуживает не он, а Людмила, которая действительно его полюбила (кстати, она и жениться его не заставляла, она только плакала, когда он ее — вполне намеренно — оскорбил... Он вполне мог уехать и не жениться) и теперь (в конце повести) бьется, как рыба об лед, разрываясь между работой и домом, мучаясь с тремя маленькими детьми на руках и никчемным пропойцей мужем...

А можно прочесть и еще по-другому, и еще...

Но — перейдем к произведению, пока что занимающему центральное место в творчестве писателя: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», роман-анекдот в пяти частях (опубликованы из них пока лишь две).

Скажем сразу, что произведение это — явление в нашей литературе уникальное. Много знала русская литература произведений сатирических, юмористических, гротескных, фантастических, но ни с одним из них нельзя сравнить «Ивана Чонкина», и ни одно из классических определений жанра его не подходит к этому роману. Ибо правильнее всего определил его сам автор — это именно «роман-анекдот». Анекдот — потому что он плоть от плоти тех самых нескольких коротеньких фраз, которые, невзирая на грозящие за них многие годы тюрем и лагерей, передавались из уст в уста не одним поколением нашего народа, — этого неистребимого, неуловимого и вездесущего анонимного творчества, лучшего показателя неистребимых жизненных сил и оптимизма народа... «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», вне зависимости от того, удастся или не удастся автору закончить книгу, — уже свершившийся факт в нашей литературе, одна из вершин современного этапа ее развития.

Пересказывать роман бессмысленно — как, впрочем, и любое настоящее художественное произведение. В самом деле —

никчемушнего солдатика Ивана Чонкина послали в деревню охранять самолет (из-за поломки сделавший там вынужденную посадку) и — в связи с начавшейся войной, забыли о нем. А Чонкину сразу же приглянулась местная почтальонша Нюра Беляшова, он ей тоже, и стали они жить вместе. Поссорившись с Иваном, сосед написал на него донос «куда надо», но Чонкин обезоружил и посадил под замок явившихся арестовывать его чекистов, затем сражался против целого полка, за храбрость был даже награжден орденом, но в конце концов все-таки арестован «органами»...

И это — всё?!!

Да, действительно, пересказав таким образом роман, приходишь к убеждению, что произведение это — из тех, о которых сказано: чтобы рассказать, о чем оно, надо просто переписать его от первой до последней строки целиком.

Собственно, всего эффекта, производимого на читателя этим романом, Войнович достигает наличием в «Чонкине» двух резко противоположных планов: мастерски изображенной тяжелейшей, невыносимой жизни людей (а это автор прекрасно умеет делать еще и в ранних своих произведениях) и — оптимистическим, юмористическим ее освещением. Переплетение этих двух планов и дает то самое «чуть-чуть» художественного произведения, о котором мы уже упоминали. И, кстати, именно в этом и заключается подлинное, *реальное* проникновение в суть жизни человека: нельзя жить — какой бы тяжелой ни была жизнь — с одним мраком в душе... и разве у любого человека не было таких случаев, когда, пройдя через тяжелейшие испытания, вспоминал он их потом с юмором, как бы подсмеиваясь над самим собой — своим тогдашним страхом, растерянностью, слабостью... Именно эта способность, этот врожденный оптимизм человека (и народа) и дает ему силы выжить и сохранить «душу живу». Об этом, между прочим, говорит и сам В. Войнович в другом своем произведении — «Иванькиаде»:

«Несколько месяцев я только тем и занимался, что писал письма и заявления, ходил по начальству, звонил по телефону, собирал сторонников, хитрил, злился, выходил из себя, съел несколько пачек седуксена и валидола и только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вышел из борьбы без инфаркта. Я пытался сохранить спокойствие, но мне это не всегда удавалось. *Меня спасло то, что на каком-то этапе борьбы я решил, что ко всему надо относиться с юмором*»... (выделено мною. — Д. Ш.)

Итак — каков же реальный, жизненный материал, на основе которого автор строит сюжет своего

романа-анекдота? Да в сущности-то действительность, изображенная здесь, — та же, что и в одном из первых рассказов писателя — «Расстояние в полкилометра»: та же безнадежность, беспросветность «идиотизма деревенской жизни». И бедность.

«Земля была голая, бугристая и с камнями, деревня бедная. Два дома обиты тесом, остальные — из потемневших бревен, наполовину вросшие в землю, крытые какой — дранью, какой — соломой»...

«Мать Нюры померла четыре года назад. До этого два года жаловалась на поясницу — все ее что-то ломало да горбило, от застуды ли, от тяжелой ли работы — кто его знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть, да как лежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает — надо работать. И свое хозяйство тоже — большое ли, малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за семь верст в Долгове. Семь верст туда, да семь обратно»...

И даже председатель колхоза — издерганный, запуганный вечно висящей над ним угрозой «пристального наблюдения» и ареста — кричит, придя в полное отчаяние:

«В тюрьму? Пожалуйста, пойду. Лучше уж тюрьма, чем такая жизнь. Детишек у меня шестеро, каждому по сумке и — побираться по деревням»...

Люди живут в постоянном ощущении гнетущего присутствия некоего Учреждения — всевидящего и вездесущего, в котором очутиться может каждый. А что получить инфаркт или попасть под машину — гораздо лучше, чем оказаться в этом Учреждении — это тоже известно каждому. Но Учреждение это органически, жизненно необходимо властям, управляющим «стихийей» (то бишь — народом), потому что «управлять» ею они могут только при наличии у каждого человека этого панического ужаса перед чем-то, что страшнее даже смерти. Без Учреждения — нет и власти. (Когда перестало работать Учреждение, весь состав которого был арестован Чонкиным, первый секретарь райкома

Ревкин, даже еще не зная об этом исчезновении, «постепенно стал ощущать, что вокруг него как будто не хватает чего-то. Это странное ощущение постепенно в нем укреплялось, оно сидело в нем, как заноза, и напоминало о себе везде, где бы Ревкин ни находился»... Он просто не смог больше функционировать, и даже вознамерился «разоружиться перед партией» — термин хорошо знакомый, означавший верную гибель человека.)

Так что же смешного в трагедии целого народа, в никчемности и бездарности власти, управляющей великим государством, в небывалом цинизме и жестокости карательных «органов»? Как удалось автору заставить нас смеяться почти всё время при чтении этой книги? И — зачем?

Чаще всего писатель создает комедийную ситуацию, прибегая к одному из самых распространенных в классических комедиях приему, когда один из героев принимает другого не за того, кто он на самом деле, а тот этого не понимает. Происходит забавная путаница (читатель-то знает правду!) — люди говорят «на разных языках», придавая словам своего собеседника совсем не тот смысл, какой они имеют. (Яркий пример такой ситуации — первая встреча Хлестакова с городничим в гоголевском «Ревизоре».) Войнович много раз пользуется этим приемом: таковы разговоры Голубева с летчиком, с Чонкиным, с лейтенантом Филипповым. Такова ситуация допроса, учиненного капитану Миляге (его принимают за немца, а он думает, что попал в плен к немцам):

« — Намен? — нетерпеливо повторил младший лейтенант, не будучи уверен, что правильно произносит слово. — Ду намен? Зи намен?

Надо отвечать, чтобы не рассердить белобрысого.

— Их бин капитан Миляга, — заторопился он. — Милллег, Миллег. Ферштейн? — Все же несколько немецких слов он знал...

— Их бин арбайтен, арбайтен, ферштейн? — капитан изобразил

руками некую работу, не то копанье огорода, не то пиление напильником. — Их бин ист арбайтен... — Он задумался, как обозначить свое Учреждение, и вдруг нашел неожиданный эквивалент: — Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.

— Гестапо? — нахмурился белобрысый, поняв слова допрашиваемого по-своему. — Ду коммунистен стрелирт, паф-паф?

— Я, я, — охотно подтвердил капитан. — Унд коммунистен, унд беспартийнен, всех расстрелирт, паф-паф, — изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правой рукой...

Младший лейтенант тем временем записывал в протоколе допроса:

«Капитан Миллег во время службы в гестапо расстреливал коммунистов и беспартийных...»

Войнович использует и другой прием создания комедийной ситуации: намеренное непонимание одним персонажем желаний и намерений другого. Вот, например, смышленная баба Дуня, сориентировавшись быстрее других, скупила в первый день войны в местном ларьке всё мыло, соль и спички и пытается отстоять свое достояние от посягательств на него догнавшей ее около дома Нинки Курзовой:

« — Бабка, скидавай, мешок, будем делиться, — быстро сказала Нинка.

— Ась? — В моменты личных катаклизмов баба Дуня сразу глохла на оба уха.

— Давай делиться, — повторила Нинка.

— А кто уж у меня будет, Нинушка, телиться? — посетовала старуха. — Я корову свою еще запрошлый год продала. Мне ее не прокормить. А коза зимой окотилась, а весной околела. — Бабка сокрушенно качнула головой и улыбнулась.

— Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, — сказала Нинка.

— Нет, — отказалась бабка, — полы не мыла. Не успела...»

Заметим, кстати, что если вдуматься в смысл сказанного бабой Дуней, то перед нами встает трудная, безрадостная жизнь одинокой старухи: и корову продала — не прокормить! — и коза околела... А в конце всей этой сцены дележа спичек и мыла — заключительным, щемящим душу аккордом:



«На месте бывшего побоища, сидя в пыли, плакала баба Дуня. Она плакала, обхватив голову черными кривыми от подагры ладонями...»

Но представим себе на миг, что автор вот так, как есть, в манере своих прежних рассказов, это и описал — ну, хотя бы просто как жалобу бабы Дуни на свою жизнь... Что получилось бы? — еще одна натуралистическая сценка, мертвая регистрация фактов. Потому что вовсе не безысходная постоянная тягость жизни (она у всех примерно одинакова!), а именно это живое лукавство, выработанное в борьбе за существование, и делает для нас бабу Дуню реальной, отличает ее от других — от нахрапистой бой-бабы Нинки, сплетника Плечевого, фанатика Гладышева...

Зачем же Войновичу обязательно надо рассмешить своего читателя? А пожалуй, затем, что читателю (особенно советскому!) смех вообще весьма полезен. И не только потому, что он помогает человеку сохранить душевное здоровье, переносить любые жизненные трудности и невзгоды, а еще потому, что он — раскрепощает: зло *осмеянное* теряет свою власть над людьми, ибо власть эта основана на страхе перед ним, перед злом, — а бояться смешного нельзя... Пробыл час — наступило наконец время, когда в огромной нашей литературе про работников знаменитого Учреждения (от бесчисленных «героев-чекистов» до кровавых садистов «Архипелага ГУЛаг») впервые показаны они просто смешными и беспомощными. Да, оказалось довольно одной маленькой детали: у задержанного (и уже в кровь избитого) человека оказалась фамилия... Сталин (а почему бы, собственно, такому и не случиться на самом деле?) — и вот уже капитан Миляга

«... приняв стойку «смирно», произнес во весь голос, словно командовал:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!...

...У него дрожали колени и во рту появился керосиновый привкус».

Довольно было Чонкину придерживаться точного исполнения воинского устава — и он арестовывает *весь состав* грозного Учреждения!

Добрый, «диккенсовский» юмор в изображении простых людей сменяется острой, точной, беспощадной сатирой в отношении того, что уродует жизнь этих людей. Автор при этом нередко использует и символику, естественно и ненавязчиво вплетая ее в художественную ткань произведения. Вот местная деревенская «самообразованщина» — «селекционер» Гладышев, — будучи в восторге от того, как народ «под руководством партии и правительства успешно идет по пути строительства социализма» (а об успехах этих можно судить хотя бы и по тому немногому, что было сказано выше), решил вывести гибрид картофеля с помидором, так и назвав его «Путь к социализму», а сокращенно (по принятой советской манере) — ПУКС. Название сие хотя и не вполне удобопроизносимо в приличном обществе, но вполне соответствует заложенному в нем смыслу: ведь весь пропахший дерьмом в процессе своей созидательной деятельности Гладышев так объясняет свой замысел Чонкину:

«...картофель есть часть корневой системы, а томаты — наружный плод».

Правильно замыслил селекционер — ведь большевистский путь к социализму и заключается в стремлении истребить в человеке и всё «корневое», почвенное, естественное, и всё возвышающееся над этим, духовное, идеальное... в стремлении превратить его в какое-то доселе невиданное, противоестественное существо (скажем, вроде жены Ревкина, которая, советуя ему «разоружиться перед партией», обещает, что воспитает их сына настоящим большевиком: «Он забудет даже, как тебя звали».). Все пути к социализму пахнут одинаково... Характерно, кстати, и то, что после стольких лет неустанных трудов терпит наш фанатик-селек-

ционер сокрушительное поражение, ибо ПУКС его, до самого последнего хвостика, уничтожает (съедает) простая, добрая корова...

Животные вообще играют немалую роль в романе Войновича: отношения людей с ними столь тесно переплетены (это, кстати, и совершенно естественно для деревенской жизни), что, перемежая действительность с миражами (сплетня Плечевого про Ньюру и кабана Борьку — и сон Чонкина о свинячьей свадьбе; сбежавший из колхоза мерин — и видение Гладышева о превращении лошади в человека, и т. д.) — автор искусно перетасовывает действительность, превращая животных в людей, а людей — в животных. Вот, например, написал младший лейтенант Букашев перед боем стандартную записку: «Если погибну, прошу считать коммунистом», а записку эту находит под копытом убитой лошади тот самый Гладышев, которому и без того привиделось превращение лошади в человека. Но читателю — знающему, чья записка, — всё представляется наоборот: для него именно Букашев как бы превращается в лошадь. А разве он, Букашев, действительно, не из породы тех, кого называют «серенькой лошадкой»?..

Подробный, всесторонний разбор «Чонкина» вообще следовало бы вести скорее по отдельным деталям и «мелочам», по отдельным фразам — настолько они ёмки и многозначны, столь много почти каждая из них (своим построением, лексикой, контекстом) вызывает интереснейших ассоциаций, будоражит ум, прогоняя ставшую уже привычной от чтения заполнившей мир литературной халтуры леность мыслей. Но это — дело большого монографического труда, которого роман этот, безусловно, вполне заслуживает. В заключение же этой статьи хочется лишь отметить, что именно великолепное знание В. Войновичем русского

языка (во всех его тонкостях и оттенках), пословиц и поговорок, обычаев и нравов, истории и действительности, реального поведения людей в различных жизненных ситуациях, в сочетании с большим художественным мастерством писателя, вырвавшегося из-под крепостного гнета не только цензуры, но и самоцензуры — дало возможность маленькому солдатику Ивану Чонкину («кривоногому, да еще и с красными ушами») и всем его знакомым бодро зашагать по всей России, а потом — и по всему миру.

---

См. в журнале «Грани» № 72 за 1969 г.: Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Роман-анекдот в пяти частях. Часть первая.

В. Войнович. Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина. Изд-во YMCA-PRESS, Париж, 1975. (Две части.)

## Хранительница традиций

*Лидия Корнеевна Чуковская<sup>1</sup>*

Литературная деятельность Л. К. Чуковской очень разнообразна, широко известна, в частности, ее работа в области литературно-исторической публицистики и литературного редактирования. О результатах ее деятельности в каждой из этих областей можно и нужно говорить отдельно. Вернее было бы сказать, не об областях деятельности, а о разных «срезах» или проекциях того, что мы вначале назвали литературной деятельностью. Ибо вся жизнь Л. К. Чуковской связана с русским словом и русской культурой.

Л. К. Чуковской написано много книг и статей. Каждая из них заслуживает пристального изучения. Пока мы не ставим себе цели провести этот анализ, мы хотим попытаться хотя бы нащупать основные струны живого творчества Чуковской.

Первое свое художественное произведение Л. К. Чуковская написала в 1939-40 годах, но увидеть его изданным ей и читателям пришлось почти через тридцать лет, к тому же изданным не на родине, а за границей. Это была повесть «Софья Петровна»<sup>2</sup>. О ней речь впереди. Вторая повесть — «Спуск под воду»<sup>3</sup>, тоже вышедшая за границей в 1972 году, представляет собой как бы образное осмысление прожитого ею и страной тридцатилетия. Спуском под воду назвала Л. К. Чуковская процесс написания своих главных книг. Спуск под воду —

<sup>1</sup> «...Непроницаемая толща воды, охраняющая душу от вторжения...»<sup>4</sup>

Книга была мною, замиранием моего сердца, моей памятью, которая никому не видна, как не видна, например, мигрень, болевая

точка у меня в глазу, а станет бумагой, переплетом, книжной новинкой — и если я бесстрашно буду совершать погружение — чьей-то новой душой...

Впрочем, всё это вздор. В мой огонь никто не станет глядеть. Зачем же я погружаюсь? Ведь если моя добыча и превратится в рукопись, — в бумагу и в чернила, — то в книгу она не превратится никогда. Во всяком случае, до моей смерти...

Зачем же я совершаю свой спуск?

Я хочу найти братьев — не теперь, так в будущем. Всё живое ищет братства, и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев — хотя бы там, в неизвестной дали»<sup>5</sup>.

Так писалась не только повесть «Спуск под воду», так писалась и «Софья Петровна», и «Записки об Анне Ахматовой»...

Сейчас стало очень популярным выражение «внутренняя эмиграция»; при этом чуть ли не всех писателей, сумевших в наших условиях отстоять свое право на дар и самобытность, заносят в категорию «внутренних эмигрантов». Но когда это выражение возникло, то начальный его смысл был таков: человек, по видимости, живет, как все, и делает то, что делают все, а наедине с самим собой живет в каком-то другом, своем мире. По сути, это был синоним к орвелловскому «двоемыслию». Можно согласиться, что поэт, днем на газетных страницах выдающий продукцию для «всеобщего потребления», например, в виде «оды вождю», а по ночам пишущий великую поэму, разоблачающую того же самого вождя, видимо, в надежде на благодарность и прощение потомков, — внутренний эмигрант в буквальном смысле слова. Но не несет ли это выражение, или, если угодно, состояние души, в самом себе своего рода обман, если не сказать — предательство если не потомков, то уж живущих — наверняка?! Двоемыслие — вещь при любых толкованиях беспощадная, и у него есть только одно оправдание: оно является приемом самозащиты, но для художника ценность такого оправдания очень сомнительная.

Если перечитать всё, что написано Л. К. Чуковской, то ясно выступит одно, на наш взгляд, главное, определяющее всё творчество ее свойство: как изданные, так и неизданные на родине ее работы не дают ни малейших оснований говорить о каком бы то ни было «двоемыслии» автора, и «спуск под воду» не означает «внутреннего эмигрантства». Чуковская всегда писала и пишет, как думает, и думает, как пишет.

В СССР увидели свет такие книги Л. К. Чуковской, как «Декабристы, исследователи Сибири» (1951 г.); о замечательном путешественнике Н. Миклухо-Маклае; о декабристе Николае Бестужеве; о писателе Борисе Житкове (1957 г.); «''Былое и думы'' Герцена» (1966 г.). Эти книги предназначены для юношества. Появился целый ряд интересных ее статей в журналах «Вопросы литературы» и «Новый мир», в «Литературной газете». А также, с нашей точки зрения, уникальная работа — «В лаборатории редактора» (1963 г.), часть которой была напечатана еще в 1956 году в сборнике «Литературная Москва»<sup>6</sup>. Написаны и подготовлены к печати воспоминания о К. И. Чуковском «Памяти моего отца». Они начали публиковаться в журнале «Семья и школа», но публикация была прервана сразу же после выхода первого номера с этими воспоминаниями.

Было когда-то такое массовое издание «Народная библиотека», выпускавшее книги, как тогда говорили, для народного чтения. Основной целью этого издания было — доносить в доступной, но не вульгаризированной форме до народа русское слово, русскую историю, русскую науку, или, короче — русскую культуру. Небезынтересно во всех отношениях привести отрывок из статьи Ф. М. Достоевского «Книжность и грамотность», где он излагает свой подход к изданию книг для народного чтения:

«1) ... прежде чем хлопотать о *немедленном* образовании и обучении народа, нужно просто-запросто похлопотать сначала о быстрейшем распространении в нем грамотности и охоты к чтению.

2) Так как хорошая книга чрезвычайно развивает охоту к чтению, то надо хлопотать *преимущественно* о доставлении народу как можно более *приятного* и *занимательного* чтения.

3) И уж потом, когда народ полюбит читать книги, тогда уже и приняться за образование и обучение его»<sup>8</sup>.

Мы недаром вспомнили о книгах для народного чтения. Если бы теперь нужно было продолжить «Народную библиотеку» — а это очень нужно — с учетом грамотности и даже определенного уровня образованности нашего народа, то книги для юношества, написанные Л. К. Чуковской, заняли бы в ней одно из самых важных мест.

Наши поколения, родившиеся и выросшие при социализме советского образца, часто обвиняют в отсутствии преемственности, связи с великой русской культурой прошлого, и мы собой как бы воочию демонстрируем знаменитое шекспировское: «распалась связь времен». Для обвинений и укоров в этом есть слишком много справедливых оснований, но все-таки положение не столь катастрофично. Или уж и впрямь сегодняшний взлет — иначе не назовешь — свободной российской словесности и свободного искусства происходит на совсем пустом месте? Нет, ниточки, и довольно крепкие, преемственности, слава Богу, есть.

Советская власть не сумела до конца лишить нас русских классиков, книги которых, несмотря ни на какие марксистские или соцреалистические толкования, умеют, если можно так выразиться, говорить сами. Равно, как не удалось прервать цепочку людей, жизнь свою отдающих сохранению культурной преемственности и исторической памяти народа. Достоевский в названной выше статье так характеризует деятелей будущей литературы для народа:



«...Деятели этой будущей литературы... будут действовать по прямому *врожденному* призванию, по вдохновению... они... найдут тот язык, которым заговорят с народом, и найдут потому, что будут сами народом, действительно сольются с его взглядами, потребностью, философией. Они перескажут ему всё, что мы знаем, и в этой деятельности, в этом пересказывании будут сами находить наслаждение»<sup>9</sup>.

Всё это буквально как бы сказано о Л. К. Чуковской. Чуковская — не профессиональный историк или географ, но ее книги, например, о декабристах или Миклухо-Маклае, написаны с такой любовью к героям, с таким пониманием и вниманием к эпохе, что всё это дает основания предполагать знания куда бо́льшие, чем формально требовалось бы для написания таких книг. Замечательный русский критик и детский писатель К. И. Чуковский, о высокой взыскательности которого не приходится говорить, тем более по отношению к своей дочери, писал в одном из своих писем за границу: «...недавно она (Л. К. Чуковская. — Е. Б.) напечатала книгу «'Былое и думы' Герцена» — с величайшим трудом, но книга вышла свежая, талантливая»<sup>10</sup>. Свежестью и талантом наполнена каждая работа Л. К. Чуковской. Одно же из главнейших их достоинств — настоящий русский язык.

Мы подошли к одному из важнейших «срезов» литературной деятельности Л. К. Чуковской — к ее редакторской работе. Хороших редакторов вообще мало, но прирожденных еще меньше. Прирожденный редактор — явление в литературном деле чрезвычайно редкое. Руками, а главное, умом, литературным чутьем, вкусом, почти универсальной образованностью такого редактора любое, самое несовершенное, но отмеченное даром, талантом произведение может быть огранено, как это делают алмазных дел мастера. Л. К. Чуковская — именно такой мастер редакторского дела.

Книгу «В лаборатории редактора», которую мы выше назвали уникальной, можно цитировать бесконечно. Уже много и верно говорилось и писалось, что русский литературный язык за последние шестьдесят лет непрерывно ухудшался. В особенности это относится к русскому литературному языку, из которого тихо уходит чистота и животворящая сила воздействия.

«...Чистый язык — это вовсе не пресный, не бедный язык, а наоборот — избыточный. Чистота языка — это не бледность, не однообразие, а выразительность, разнообразие, богатство. Гладкие фразы, всегда прикрывающие шаблонные мысли, готовые чувства, — вот что должен был бы преследовать редактор»<sup>11</sup>.

Всю эту книгу, а с нею и редакторскую работу Л. К. Чуковской, можно было бы назвать, по точному выражению Н. Коржавина, — защитой банальных истин, в том смысле, как банальны вечные понятия добра, совести, правды, истины, красоты...

Поэтому совершенно понятно, что и в собственном творчестве Л. К. Чуковская одновременно и автор и требовательный редактор, или, другими словами, взыскательный автор.

Когда задумываешься над прозой Л. К. Чуковской, особенно такой, как, например, «Софья Петровна», то задаешься невольным вопросом: из чего же, в конечном счете, складывается *хорошая проза*? Эта повесть пришла к читателям только в начале шестидесятых годов. Что могло показаться новым в сюжете или теме книги в те годы, когда уже литература о лихолетье «великого террора» полилась широким потоком, когда читателю вроде бы важнее было узнавать сами факты, накапливать их. С благодарностью принималось почти всё. Требовалась правда и только правда. И вдруг — «Софья Петровна». Тоже правда, но какая! Не облегченная, не смягченная — мы назвали бы ее светлой. Это свет, который несет в себе молитва...

Эта книга — еще и литературный подвиг, ибо это «пока единственная известная в русской литературе проза, написанная о том времени *тогда же*»<sup>12</sup>. В этой книге слова, речевой лад, тема, герои — всё самое, как говорится, обычное, а что касается формы, то многие скажут, что она даже «консервативная», или «традиционная», но почему-то при чтении таких книг вас нисколько не заботит, умирает ли роман как жанр, не заботят вас вопросы формы и тому подобное. Вы понимаете лишь, что такая проза имеет исторические корни не только в русской литературе, но и во всей мировой, что она была, есть и всегда будет нужной.

Для такого качества русской прозы и поэзии величайший литературный образец — А. С. Пушкин.

«Как бы ни назвать путь, которым шел Пушкин — этот путь привел его к реализму, т. е. прежде всего к конкретности переживания, а отсюда — к связанности, соподчиненности поэтического произведения, к связи между формой и содержанием, к проверке воображения рассудком, к целесообразности и целеустремленности каждого образа и каждого слова, к стилистическому единству»<sup>13</sup>.

Это определение В. Ходасевичем, «что такое *реализм*» без всяких приставочек — критический, социалистический, бытовой, общественный — должно признать классическим. Исходя именно из такого, пушкинского, понимания реализма и появляются книги, подобные «Софье Петровне» или «Спуску под воду».

Мы ни в коем случае не хотим вышесказанным умалить значимость или принадлежность к литературе всех новых, новейших и архиновых литературных школ, направлений или веяний. Мы лишь хотим подчеркнуть необходимость литературных традиций великой литературы. А если так, если это признается, то мы должны были бы иметь и своих хранителей традиций. Позволим себе еще раз процитировать глубоко почитаемого нами В. Ходасевича:

«Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления. В этих условиях сохранение литературных традиций есть не что иное, как наблюдение за тем, чтобы самые взрывы происходили ритмически правильно, целесообразно, и не разрушали бы механизма... Литературный консерватор есть вечный поджигатель: хранитель огня, а не его угаситель»<sup>14</sup>.

Исходя из такого понимания литературного «консерватизма», Л. К. Чуковская — и есть хранитель огня в современной русской литературе и как писатель, и как редактор.

Совсем недавно вышли за границей еще две книги: сборник «Памяти Ахматовой», из 220 страниц которого 134 занимают «Записки об Анне Ахматовой» Л. Чуковской, охватывающие период с июня 1952 по апрель 1959 года; и отдельный том «Записок об Анне Ахматовой» за первые годы тесной дружбы двух женщин — Анны Ахматовой и Лидии Чуковской: 1938 — 1941 годы<sup>15</sup>.

Поскольку в каждую из названных книг входят стихи А. Ахматовой, то без преувеличения можно сказать, что обе книги представляют собой как бы учетверенное чудо: стихи Ахматовой — сама Ахматова — воспоминания о ней — автор воспоминаний Л. Чуковская. Чудо — каждая из составляющих.

Об Ахматовой много писали еще при ее жизни, и еще больше будет написано, но думается, вряд ли появится что-нибудь лучше того, что написано Л. Чуковской. Живая Ахматова уже была легендой, или, как точно сказал о ней К. И. Чуковский:

«... у нее под ногами вырос сам собой пьедестал. Пьедестал этот безостановочно рос, и она мало-помалу привыкла относиться к себе как к памятнику»<sup>16</sup>.

Добавим только, что хоть это и было так, но у Ахматовой, кроме прочих человеческих достоинств, было еще и хорошо развитое чувство здорового юмора. Достаточно, чтобы убедиться в этом, прочесть в передаче Л. К. Чуковской, как Ахматова описывала

одну случайную свою встречу на улице с М. Зошенко именно в день знаменитого пресловутого Постановления ЦК о них обоих (1946 год). Это — юмор сильных людей<sup>17</sup>.

Об Ахматовой не так-то легко писать воспоминания. Конечно, написать и «навспоминать» можно даже и небывшее, как это сделал Георгий Иванов, например, о Мандельштаме, за что и удостоился достойной отповеди от Ахматовой:

«... Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни *памяти*, ни *внимания*, ни *любви*, ни *чувства эпохи*. Всё годится и всё приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями (выделено нами. — Е. Б. ).

Удовлеть же требованиям взыскательного читателя — дело, конечно, очень трудное. Но Л. К. Чуковской этих качеств вообще (а в частности, в отношении записей об А. А. Ахматовой) — не занимать. Она не только могла написать такие воспоминания, она *не могла их не написать*:

«Не могла потому, что, кроме интенсивности, разнообразия, самобытности открывающейся передо мной духовной жизни, с первой же нашей встречи меня поразило, в какой степени речения Ахматовой лаконичны, отточены, художественно совершенны. Как они близки ее стихам. В них, можно сказать, так же, как в ее стихах, зрели, если воспользоваться определением Пастернака, «прозы пристальной крупницы»; ее устная речь — это тоже своего рода проза поэта.

После каждой нашей встречи я пыталась с точностью донести до бумаги не только содержание сегодняшнего разговора. Я пыталась закрепить, сохранить драгоценные «крупницы прозы», столь щедро рассыпаемые передо мною»<sup>19</sup>.

Стоит перечитать эти строки, чтобы еще раз убедиться в «пристальности прозы» самой Л. К. Чуковской. Насколько же надо быть благодарными Судьбе, что она подарила почти двадцать лет для этой удивительной — сильной и нежной — дружбы.

Это была дружба редкого свойства. Л. К. Чуковская — не немой свидетель с записной книжкой. В предисловии к «Запискам» есть одна фраза: «Реквием

*целые годы* хранился лишь в памяти автора и тех немногих друзей, чьей *памяти* автор пожелал *доверить* его». И только по скупым замечаниям далее мы узнаем, что одной из этих «немногих друзей» была Л. К. Чуковская и что при восстановлении уже на бумаге через десятилетия (!) память Чуковской оказалась хранильницей поэтических сокровищ А. А. Ахматовой. И не только при воспроизведении «Реквиема». «Лидии Чуковской — мои стихи, ставшие нашей общей книгой — дружески Ахматова 7 октября 1965 Москва»<sup>20</sup> — так написано на титульном листе последнего, наиболее полного прижизненного сборника стихов А. Ахматовой, изданного на родине: «Бег времени» (1965). Это — лучшее признание дружбы и помощи.

Но мы не можем, не имеем права поставить здесь точку.

Среди множества традиций русской литературы есть и еще одна, без которой она не мыслится, — это гражданственность лучших ее представителей. Гражданственность не в утилитарном и узколобом идеологическом понимании, а в общечеловеческом смысле. В наше «идеологическое» время слово «мировоззрение» приобрело столь нарицательный смысл, что уже даже стало считаться чуть ли не неприличным обладать мировоззрением, а тем более гордиться им. Больше стало нравиться зыбкое, расплывчатое словечко «мироощущение». Да ведь если человек всего лишь старается следовать библейским заповедям, он уже человек с мировоззрением. Получается, как со словом «реализм». Добавили к нему разные определения, и теперь уже без них реализм как литературный принцип вроде бы и вовсе потерял право на существование. На самом же деле, каким бы ни показалось наше утверждение спорным, жить в этом «безумном» мире, не предавая себя и других, могут только люди, обладающие устойчивой системой взгля-

дов на то, что́ хорошо и что́ плохо, а это и есть не что иное, как мировоззрение. Если дан человеку дар слова, то условием существования человека должна быть свобода на пользование этим даром. Человеку с мировоззрением ясно, что право на свободное слово — неотъемлемое право любого человека и гражданина. Но человек также обязан защищать это право для себя и для других. Писателю и поэту эту гражданскую обязанность предписывает сами природа их творчества.

Издательство «Хроника» выпустило недавно ценнейшую книгу: Лидия Чуковская. «Открытое слово». В ней собрано 14 документов — выступления Лидии Чуковской в защиту вольного русского слова, которые показывают,

«что, по сути, ни одно сколько-нибудь важное событие в жизни русской интеллигенции, когда было необходимо, чтобы раздался голос Правды, когда нельзя, невозможно, немисливо было промолчать — не осталось без отклика и ответа»<sup>20</sup> Л. К. Чуковской.

Мы не будем перечислять всех документов, они достаточно известны. Но на один из них следует обратить особо пристальное внимание — на обращение «Гнев народа», где она говорит о Пастернаке — Солженицыне — Сахарове. Это *единственное открытое* выступление современного русского интеллигента, обращенное не в редакции газет и журналов, не к партии и правительству, не к части населения или его отдельным представителям, не к западному общественному мнению — *оно единственное, что обращено к нашему народу*. Как это ни больно признавать, этот адресат, возможно, — самый далекий, самый труднодостижимый. Но одно несомненно: этот адресат самый верный. Именно таков и только таков единственно правильный путь к сохранению великих традиций российской словесности и российской гражданственности.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Наиболее подробную на сегодняшний день биографическую справку об Л. К. Чуковской см. в третьем сборнике «Открытое слово», изд-во «Хроника», Нью-Йорк, 1976.

<sup>2</sup> «Софья Петровна» (под названием «Опустелый дом»), изд-во «Пять континентов», Париж, 1965.

<sup>3</sup> «Спуск под воду», изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1972.

<sup>4</sup> Там же, стр. 35.

<sup>5</sup> Там же, стр. 36-37.

<sup>6</sup> «Литературная Москва», статья «Рабочий разговор. (Заметки о редактировании художественной прозы)». Сборник второй. Москва, 1956.

<sup>7</sup> «Семья и школа» №9, 1972.

<sup>8</sup> Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 г. Изд-во YMCA—PRESS, Париж, стр. 152.

<sup>9</sup> Там же, стр. 167.

<sup>10</sup> Публикация Л. Ржевского. Загадочная корреспондентка. «Новый журнал», кн. 123, июнь, 1976 г., стр. 157. Несомненно, что это — самая удачная находка в современном зарубежном литературоведении.

<sup>11</sup> «Литературная Москва», стр. 762.

<sup>12</sup> Из предисловия к сборнику третьему «Открытое слово», стр. 4.

<sup>13</sup> В. Ходасевич. «Шастливый Вяземский». Сборник «Литературные статьи и воспоминания». Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 53.

<sup>14</sup> Там же, стр. 262.

<sup>15</sup> Сборник «Памяти Анны Ахматовой». Стихи. Письма. Л. Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой». Изд-во YMCA—Press, Париж, 1974.

<sup>16</sup> «Загадочная корреспондентка», «Новый журнал», кн. 123, стр. 142.

<sup>17</sup> «Памяти Анны Ахматовой», стр. 80-81.

<sup>18</sup> Анна Ахматова. Мандельштам. Альманах «Воздушные пути», IV, Нью-Йорк, 1965, стр. 42.

<sup>19</sup> «Памяти Анны Ахматовой», стр. 54.

<sup>20</sup> Там же, стр. 50.



## Свобода человека и общество грядущего

Жан ФУРАСТЬЕ

### *БЫТИЕ И СВОБОДА*

Свобода — одно из самых старых понятий, выработанных человечеством и ставших предметом дискуссий. И все-таки это понятие осталось пока неясным, и споры о нем не прекращены. Больше того, в наши дни стало несомненным, что проблема свободы будет стоять до тех пор, пока существует человечество, так как свобода — не понятие, которое можно определить раз и навсегда, и не стабильное состояние. Она есть по существу (или может им быть) — лишь непрерывный ряд развивающихся состояний, различных для разных человеческих сообществ, наций и вре-

---

См. начало дискуссии «Свобода человека и общество грядущего» в «Гранях» № 103.

Жан Фурастье (р. 1907) — французский экономист, социолог и публицист. Профессор Высшей школы искусств и ремесел и Института политических исследований. Действительный член Академии этических и политических наук. Его труды: «Le grand espoir du XX-e siècle», Presses universitaires, 3-e ed., Paris, 1952. «La civilisation de 1975», Presses universitaires, 4-e ed., Paris, 1957. «La grande transformation du XX-e siècle», Presses universitaires, Paris, 1961. «Les 40.000 heures», Robert Laffont, Paris, 1965. «Lettre ouverte à quatre milliards d'hommes», Albin Michel, Paris, 1970. «Le long chemin des hommes», Robert Laffont, Paris, 1976. — Р е д.

мен. Она есть (или может быть) только ряд развивающихся состояний, колеблющихся порой с очень большой амплитудой по отношению к плохо выявленной и всегда кратковременной оси «равновесия», существующего, кстати, лишь в воображении некоторых людей.

Со своей стороны, я бы определил свободу живого существа как способность *индивидуально* действовать в соответствии со свойствами, которыми оно наделено, то есть без принуждения со стороны другого существа.

В этой краткой статье я не могу ни объяснить, каким путем я пришел к этому определению — по всей вероятности, временному даже для меня, — ни уточнить его, ни выявить многочисленные выводы, из него вытекающие. Я ограничусь лишь двумя или тремя замечаниями, которые сегодня мне кажутся важными.

Любое живое существо, не только человек, должно, по сути дела, обладать свободой и обладает ею. Полное лишение свободы — смерть: состояние, в котором исчезает живое существо, когда оно не может ни совершить какой-либо акт, ни удовлетворить ни одну из своих потребностей.

И наоборот, любая жизнь, любое существование предполагает наличие свободы, но эта свобода может быть и очень широкой, и очень узкой. Она связана с каждым этапом эволюции — да, она характерна для каждой части или всего сообщества этого рода, для каждой особи, для каждого возраста, для всякой индивидуальной ситуации особи в группе...

Таким образом, каждое насекомое, блоха или даже микроб, вирус требуют для своего существования некоторого диапазона свободы, область, в которой они могут осуществлять свои биологические функции. Свобода, которая нужна собаке, иная, чем та, которая нужна дрозду, для ласточки же требуется сво-

бода совсем отличная от той, которая нужна дрозду или куропатке.

Трехмесячный или трехлетний ребенок ничуть не ощутит наносимого ему ущерба, если ему запретят выезжать за границу государства или не позволят читать Платона, Руссо, Маркса. Аналогичным образом свобода, «естественная» для пролетария XIX века, почти не умевшего читать и писать и страдавшего от физической усталости, болезней и недоедания, весьма отличается от не менее «естественной» свободы современного рабочего, который хорошо питается, работает только 2000 часов в год, посещает школу до шестнадцати- или восемнадцатилетнего возраста, и который имеет все шансы прожить до 70 или 75 лет.

Каждый представитель рода обладает, как ныне стало известно, особым генетическим кодом. В биологическую особенность социальная среда привносит свою социальную особенность. У человека эта двойная особенность ярко выражена: она объясняет тот факт, что, несмотря на то, что понятие свободы всюду существует, а потребность в свободном действии и свободной мысли всегда ощущается как необходимость, нет большого сходства между той свободой, в которой нуждается какое-нибудь примитивное племя Амазонки или Замбези, и свободой, которая требуется английскому интеллигенту или современному норвежскому кинорежиссеру. Таким образом, не следует думать, что установки, принимаемые всеми китайцами в 1975 году, будут приниматься всеми китайцами в 2075 году.

Способность действовать, способность решать, способность мыслить — важнейшие факторы, определяющие понятие свободы. То, что *невозможно* для живого существа, находится вне пределов его свободы. Так, например, нельзя лишить свободы кошку, запретив ей читать.

Таким же образом нельзя себе представить, что чтение Сартра могло бы быть запрещено в XIX веке. Но как только любое действие для живого существа делается возможным, запрещение его становится актом лишения свободы.

Так, расширение возможностей человека (обусловленное прогрессом техники, промышленностью, использованием машин и механической энергии) расширяет область свободы.

Но всё то, что возможно, не может быть реализовано в действительности. Живое существо встречает два вида ограничения своих возможностей проявлять себя в действии: время и пространство. Я могу завтра же оказаться в Нью-Йорке, Париже, Берлине, Москве или в Тель-Авиве, но я не могу быть в то же самое время в каждом из этих городов. Время, являясь основой нашей свободы, ее же и ограничивает; оно дарит протяженность нашей жизни, но и ставит предел для каждого действия, т. к. любое действие нуждается в сроках, а наше существование ограничено во времени. Таким же образом и пространство, будучи основой нашей свободы, ограничивает ее: мы действуем в пространстве, существуем в пространстве, но можем в определенное время занимать только одну точку этого пространства и должны сосуществовать в нем вместе со многими другими индивидуумами.

Итак, любое живое существо ощущает в своей повседневной жизни и свободу, и потребность в свободе, и ее границы.

У животного конфликт «свобода-принуждение» разрешается в инстинктивном поведении, которое естественно (хотя и в исключительных случаях) приводит к борьбе и к бою, заканчивающемуся подчинением или гибелью. У первобытного человека конфликты разрешались главным образом благодаря ритуалам и обычаям. У человека с преобладанием «неоцефальных» черт концептуальное мышление берет верх над

«палеоцефальными» чертами; у него свобода ограничивается, с одной стороны, моральными предписаниями, с другой, — административными, юридическими и политическими предписаниями.

Ограничения первого типа — те, которые группа или личность определяют сами для себя, без принуждения со стороны политической власти, лишь путем вывода из наблюдений над человеческим бытием и путем создания представления о мире и о религии, которые соединяют каждую личность с другими личностями, с другими народами, с другими живыми существами, с таинственной движущей силой жизни, постоянной во времени и пространстве. На основе морали человек — в самом себе и через себя — ограничивает свободу так, чтобы не нарушать свободу других живых существ и тем самым сохранять и развивать экономические, социальные и политические институты, необходимые для коллективной жизни.

Но история нам показывает, что в наших сложных обществах право, закон и предписания второго типа не только полезны, но и необходимы для существования предприятий, администраций, наций и государств. Политические ограничения свободы восполняют недостаточность моральных побуждений, а также — и, может быть, даже главным образом — недостаточность моральной концепции, единой концепции мира и человеческого бытия.

Но регламентации политического происхождения непременно сопутствуют и большие недостатки: они вырабатываются административными инстанциями, всё более специализированными и всё менее способными постигать и вырабатывать единое представление о мире и о человечестве. Они множатся и представляются гражданину произвольными и непостижимыми; они запутывают его в схемах, построенных с целью достижения более совершенной рациональности, в действительности же эти схемы делаются всё

более несвязанными между собой и противоречивыми; они имеют тенденцию сохраняться в течение долгих, очень долгих периодов, не обновляясь, а усложняясь просто в силу своего количества и характера порождающей их бюрократии; наконец, и, может быть, самое главное: эти схемы возникли в результате абстрактной рациональности, которая часто вступает в противоречие с конкретными свободами индивидуумов, личностей, деятелей, маленьких групп, — семейных, местных или областных, — имеющих свои привычки, быт, обычаи, традиции, и игнорирует их.

Крупные современные организации существуют и являются действенными только благодаря иерархии и регламентациям, которые очень далеки от спонтанных действий их членов, особенно когда эта спонтанность не основана на едином восприятии мира и человеческого бытия. Государство, в частности, должно основываться на тем более детальной и жесткой регламентации, чем менее его граждане относятся к нему с доверием, пониманием и принятием его целей. Регламентация необходима. Но если не предпринять надлежащих мер, она быстро становится непригодной для общества и приводит его к склерозу.

Любая жесткая регламентация не приспособлена для учета разнообразия ситуаций и личностей. Даже рабочему выгодно обладать той степенью свободы, которая «естественна» для руководителя, журналиста, интеллигента или ученого\*. Свобода мысли, пера и слова, которая была предоставлена Жан-Жаку Руссо, Клоду Бернару, Пьеру Прудону или Карлу Марксу, обеспечила политическую и социальную эволюцию современного мира.

---

\*То есть, чтобы руководителю предоставлялась свобода, необходимая для руководителя, журналисту — свобода, необходимая для работы журналиста, и т. д.: чтобы политическая свобода определялась потребностями человека для осуществления им его профессиональной функции.

## ТРЕТЬИМ ПУТЕМ — К МИРОВОЙ ДЕМОКРАТИИ

Для очень многих идея «третьего пути» — почти неизвестное понятие. О демократии же говорят все. Едва ли найдутся какие-либо партии, правительство, государственный или общественный деятель, которые не выдавали бы себя гордо за демократов. И едва ли найдется какое-либо государство, которое, при всем его автократическом обращении со своими гражданами, не могло бы предъявить им и миру демократически безупречную конституцию. Нет и такой международной организации, которая время от времени не заявляла бы о своем уважении к правам человека. Международные конференции кишат государственными деятелями и дипломатами — естественно, демократами с головы до пят, — которые если и упрекают кого-либо в отсутствии демократии, то только не самих себя. Приверженцы диктатуры и автократии, олигархи и магнаты, бюрократы и плутократы, представители военно-промышленного комплекса — все они лишь благороднейшие пионеры демократии! Прошли времена, когда и справа и слева (а то и в центре) изобиловали не только открытые критики

---

Осип Флехтхайм (р. 1909) — доктор гуманитарных и юридических наук. Профессор Свободного Берлинского Университета (кафедра политэкономии в Институте Отто Зура). Член немецкого ПЕН-клуба. Политолог и футуролог (создатель самого слова «футурология»). Его труды: «Politik und Wissenschaft», Verlag Weiss, 1953. «Bolschewismus 1917 — 1967», Europa Verlag, Wien, 1967. «Eine Welt oder keine», Europa Verlagsanstalt, Frankfurt/M, 1964. «Futurologie», Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1970. — Ред.

демократии, но и ее хулители. Реакционеры и фашисты, консерваторы и клерикалы, ленинисты, троцкисты и сталинисты считали демократию чем-то плебейским, буржуазным, формальным и т. п. и решительно ее осуждали. В те времена у Муссолини и Гитлера идеи 1779 года вызывали только насмешку и издевку, но уже Сталин в 1936 году счел нужным назвать советскую конституцию, принятую в разгар жесточайшего террора, — самой демократической в мире. Чем скорее и основательнее какой-нибудь политик собирается ликвидировать демократию, тем громогласнее он заявляет о том, что в его стране процветает самая совершенная демократия в мире.

В действительности же в 1976 году — двести лет спустя после Декларации независимости — на нашей Земле не так уж много демократий. Среди каких-нибудь ста пятидесяти государств, которыми нас одарила современность, демократии оказались в явном меньшинстве. Но даже в тех демократиях, которые можно рассматривать как демократии политические, сама политика далеко не полностью пронизана демократическими принципами, не говоря уже об обществе, экономике и культуре. Что касается сторонников «третьего пути», то при всех их различиях, все они сходятся в одном важном пункте: для них демократия была и осталась положительной ценностью, дефицит которой ощущается во всем мире. Одни видят недостаточность демократии прежде всего в политической или культурной сфере, другие — скорее в сфере экономической или общественной. Здесь наблюдается много разных подходов и необозримое разнообразие точек зрения.

Поэтому следовало бы уточнить, что мы сами понимаем под словом демократия или что в теории и практике демократии кажется нам самым существенным. Прежде всего, следует вспомнить о Декларации



независимости, в которой утверждается, что все люди «созданы равными», что каждый человек имеет право на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Отнюдь не кажутся нам устаревшими и требования французской революции: свободы, равенства и братства. Наконец, демократия включает в себя такие понятия, как самоопределение, «самоправление» и самоуправление\*.

Любая современная демократия зиждется на трех основных ценностях — свободе, равенстве и братстве. При этом свобода и равенство — не абсолютные и не тотальные величины, так как они ограничивают друг друга и осуществляются лишь в той или иной мере.

Никто из смертных не обладает абсолютной свободой и ни один житель Земли не равен другому во всех отношениях. Как представители того же вида, как люди, живущие в той же эпохе, принадлежащие к той же культуре и цивилизации, к тому же обществу и содружеству — мы, конечно, равны друг другу. Во всем же остальном мы различны и неравны, настолько неравны, что абсолютное равенство не можем не только представить, но и пожелать его даже в самом отдаленном будущем. Различия в социальном и имущественном положении, в образовании, во власти и силе и сейчас могли бы быть значительно уменьшены, но различия в биологической конституции, в талантах и склонностях, в темпераменте и силе воли едва ли когда-либо исчезнут. И, во всяком случае, останется различие в возрасте и поле. А это, в свою очередь, создает едва ли истребимую разницу

---

Автор различает понятия «Selbstregierung» — «самоправление» и «Selbstverwaltung» — «самоуправление», где для него слово управление тождественно слову администрирование, или даже просто — слову «администрация». — Примечание переводчика.

в степени свободы, которой обладает, например, взрослый по отношению к малолетнему ребенку.

Таким образом, пределы свободы и равенства видны ясно. Но к ним следует добавить еще и серьезную антиномию между этими основными ценностями. Свобода одного проявляет себя прежде всего в несвободе другого. Максимальная свобода рабовладельца тождественна тотальной несвободе раба, большая свобода капиталиста приводит к крайней эксплуатации и подавлению пролетариата, неограниченная свобода властителя сопряжена с порабощением подвластных ему и т.п. Так, вместе с проблемой равенства возникает и проблема свободы. В той мере, в какой люди неравны, равенство означает уравнивание (если уж прибегать к такому эмоционально насыщенному слову, как «уравниловка»!). Уравнивание неравных означает ущемление свободы могущественных, «счастливых», богатых, даже если мы оставим им все их привилегии и сделаем всё возможное для улучшения положения непривилегированных. Нам это часто представляется возможным, но лишь в определенных границах, так как приходится принимать во внимание, что «тем наверху» само распространение и широкое определение богатств и прав представляется как потеря символов их социального положения. Чём станут для этих «десяти тысяч» привилегированных шелковая рубашка, автомобиль или заграничное путешествие, если эта роскошь станет доступной для широких масс?

Так как уравнивание при помощи повышения жизненного уровня масс и усиления их влияния и прав часто воспринимается привилегированными как «уравниловка», как отмена их прав и привилегий, ограничение их власти и богатства, оно наталкивается на такое сопротивление, что перераспределение становится возможным лишь путем политических, го-

сударственных или юридических мероприятий, то есть при помощи «ненасильственного» давления, легального или нелегального принуждения, а то и путем открытого насилия и подавления. А это, в свою очередь, означает лишение свободы хотя бы и незначительного меньшинства. Если бы мы хотели избежать при этом насилия лишения свободы, даже такого меньшинства, то нам остался бы лишь следующий выход: наиболее сильные должны были бы добровольно отказаться от своих прав и привилегий, богатые же — добровольно себя ограничить в материальном отношении, а привилегированные — добровольно согласиться с возвышением «непривилегированных». Иначе говоря, эти люди должны были бы начать обращаться со слабыми, бедными и несчастными, как со своими братьями и сестрами. Таким образом, равенство и свобода могут осуществляться только вместе и одновременно, только без ущемления той или иной ценности и только в том случае, когда они обращаются к всеобъемлющей ценности братства. Братство означает солидарность и кооперацию, общность и содружество, или, выражаясь высоким стилем, — любовь и к ближнему и к дальнему. Такой образ мыслей и такое отношение может поощряться соответствующими институтами, структурами и системами, но созреть оно может лишь в результате длительного воспитания и образования человека как путем его собственных усилий, так и усилиями ему подобных.

Но и в этом случае в современных сложных и глобальных обществах и культурах существует проблема разделения труда и распределения функций. Если даже предположить, что свобода, равенство и братство вытеснили господство, эксплуатацию и порабощение, всё же останется открытым вопрос о «водительстве» в государстве и в экономике, в общественной и культурной сферах. Современная демократия,

как и демократия будущего, едва ли сможет обойтись без значительной меры рационального, функционального, гуманного водительства или дирижирования. Даже в узкой политической сфере не каждый сможет принимать участие в решениях, т. к. не у каждого будет хватать времени, сил, знаний, желания. Поэтому задача сведется к тому, чтобы сделать «прозрачным» механизм и деятельность функционального водительства и дирижирования, поставить его под постоянный контроль, прежде всего для того, чтобы людям, занимающим руководящие посты, не дать возможности использовать свою компетентность для достижения власти и богатства. Руководителям, занимающим важные посты, целесообразно обеспечивать, например, возможность быстрого передвижения, но было бы недемократичным и нецелесообразным представлять им роскошные поезда или военные самолеты для передвижения по стране с дворцовой свитой, наподобие прежних царственных особ.

Когда речь заходит о демократии, тотчас возникает ассоциация с понятием «самоуправление», хотя то, что в данном случае имеется в виду, лишь частично охватывается этим термином, так как понятие «управление» (в отличие от «правления») звучит безобиднее и неполитически. Там, где управляют (администрируют), нет места политике, во всяком случае, — большой политике. Понятие «управление» часто даже противопоставляется политике. Управление — это рутина, тут не приходится ломать себе голову над чем-то новым, здесь царит знаменитая чиновничья канцелярщина. Управление — более схематично и статично, в то время как политика, наоборот, динамична и сложна. В связи с этим можно вспомнить и известное высказывание Энгельса, что в поздних стадиях коммунизма, после отмирания государства, место правительства, главенствующего над людьми, займет

управление вещами (по поводу чего Камю с горькой иронией отметил, что эта идея, собственно говоря, уже осуществлена в концлагерях, где с людьми обращаются, как с вещами).

Как бы там ни было, но за полную противоположность «самоправлению» следовало бы считать иноземное или чужеродное властвование, а политику — отличать от нейтрального и делового управления по тем признакам, что политике сопутствует борьба, столкновение интересов, партийность, а также и положительные качества, как, например, готовность учиться новому, учитывать его и эффективно решать сложные задачи. И всё же любой власти, господству (от слова господин) свойственны элементы принуждения. Такие элементы существуют даже в кругу семьи, хотя эти чисто личные отношения резко отличаются от тех, которые мы наблюдаем в политической области, где существует и принуждение, и промежуточные инстанции, и посредники, то есть всё то, что придает власти в обществе, построенном на разделении труда, столь всеобщий и безличный характер.

Здесь, на Земле, традиции, природа и люди, как граждане, достаточно способствуют тому, чтобы мы никогда не могли полностью самоопределиться. Но одно дело, когда люди находятся с нами на одном социальном уровне и когда они демократически, эгалитарно, кооперативно, на равных правах и вместе с нами определяют нашу общую судьбу; иное дело, когда нами иерархически, авторитарно\* распоряжаются немногие, стоящие наверху. Итак, понятие

---

\* Интересно отметить, что русский государствовед Н. Н. Алексеев выдвинул в 1939 году понятие авторитарной демократии. Вот что он пишет по этому поводу: «Современная демократия должна укрепить веру в абсолютную ценность тех принципов, которые она защищает, должна освободиться от своего релятивизма»

«самоопределение» — слишком претенциозно и абстрактно, понятие же «самоуправление» — слишком скромно и ограничено. А не могло бы понятие «самоуправление» стать синтезом двух предыдущих понятий? Термин «самоуправление» имеет то преимущество, что он не исключает полностью ни политического момента, ни феномена власти. Тогда власть и господство людей над самими собой мыслились бы как власть и господство группы или нации, как сообщества или человечества — над теми, кто их составляет. А это возвращает нас к проблеме демократии. Если под термином «демократия» понимать суверенитет народа, то и под властью следовало бы понимать власть народа над самим собой. Из этого отнюдь не следует необходимость всегда приходить к единогласным решениям; демократия — утверждение власти большинства, однако с предоставлением всех прав и гарантий как меньшинству, так и каждой отдельной личности. Таким меньшинствам должна быть предоставлена возможность самим стать большинством, что предполагает контроль над большин-

---

и своего непротивления. Она должна научиться защищать свое дело, должна стать демократией авторитарной. Существует принципиальное отличие авторитарной демократии от тоталитарных государств — различие, которое, к сожалению, многие не понимают. В тоталитарном режиме государство берет у человека всё и принципиально отрицает его свободу. Авторитарная демократия, напротив, по известному выражению Руссо, хочет принудить людей быть свободными. Принуждать же к свободе это значит, прежде всего, бороться с теми, которые стремятся к ее уничтожению; это значит, далее, ставить человека в такие условия общественной жизни, при которых он принужден бы был пользоваться своей автономией и существовать вне государственной опеки; это значит, наконец, организовать систему такого социального воспитания, которое развивало бы в человеке способность к свободной мотивации поведения, а не только к принудительному исполнению извне навязанных ему обязанностей (журнал «Новый Град» № 14, Париж, 1939 г., стр. 57-58). — Примечание переводчика.

ством и, в конечном счете, соучастие или «соправление» меньшинства. Увы, всё это звучит слишком хорошо, чтобы стать правдой!

Но из этого возникает еще одна проблема. И в понятии «власть народа» продолжают оставаться элементы принуждения и даже насилия. Достаточно вспомнить, сколь мало «пацифистской» и не лишенной насилия была в течение веков даже такая относительно хорошо функционирующая демократия, как демократия швейцарская! Там и сейчас ни женщины, ни иностранцы не принимают участия в политической жизни. Что же касается античных демократий, то они применяли не только грубые, но подчас и жестокие формы насилия по отношению к тем, кто нарушал правила или был опасен для общества. Вспомним также, что в то время как под влиянием Беккариа смертная казнь была отменена в России еще Екатериной\*, а в Швеции в 1821 г., в США же, в штате Мичиган, она была отменена лишь в 1847 году!

Что же изменилось в течение последних столетий и десятилетий? Стали ли современные демократии более гуманными и более совершенными, чем их предшественницы? Нельзя ведь упускать из виду, что нынешние демократии — продукт очень долгого исторического развития, наследие которого тяжело ощущается и по сей день. Их традиции и история — это не столько история свободы, равенства и братства, сколько история несвободы, неравенства и господства. Никакая демократия, никакое самоуправление или «самоправление» не начинается с нуля. Можно решительно порвать с прошлым, дать новую и безупречную конституцию, ввести новый революционный календарь, но всё, что будет сделано или допущено, будет в значительной мере определено жизнью

---

\* Согласно данным В. О. Ключевского, смертная казнь в России была отменена императрицей Елисаветой Указом от 17 мая 1744 года (см. т. 4, стр. 341, лекция LXXIII) — Р е д.

и действиями предыдущих поколений. Поскольку люди еще вчера жили под автократическим управлением, в рамках иерархически построенных институтов, под пятой авторитарно распоряжавшихся повелителей и сами были лишь покорными подчиненными, подданными, — никакая, даже самая совершенная демократия не сможет в один день освободиться от унаследованных форм поведения отдельных людей и групп.

Современная демократия отягощена не только этим историческим тяжелым наследием, но отличается и многими другими серьезными недостатками. Вне Европы и Северной Америки количество демократий всё еще (или уже!) так мало, что они похожи на островки, затерянные в антидемократическом океане и находящиеся под угрозой, которая надвигается на них со всех сторон. Кроме того, даже в тех странах, которые мы называем просто демократиями, демократия сильно ограничена. За исключением политико-государственного сектора, в экономике и в обществе, а часто и в сфере культуры, в церковных кругах и в семье наблюдаются не только недемократические, но и антидемократические позиции, группы и структуры.

Приходится считаться и с тем, что современные демократии сталкиваются с огромными проблемами. С задачами, возникшими до 1914 года, демократии кое-как справлялись. Тогда речь шла о защите национальных интересов, о сохранности традиционных структур и унаследованных форм семьи, а также о предотвращении внутренних кровавых междоусобиц. Тогда нужно было в первую очередь заботиться о сохранении мира внутри самой страны, и в меньшей мере — в европейском и международном масштабе; также нужно было хлопотать о скромном повышении уровня жизни населения, об интеграции рабоче-



го класса внутри буржуазного общества, о минимуме правозащиты, гуманности, о соучастии граждан в делах государства. Все эти задачи были отнюдь не легкими. Но ныне наши демократии и демократия как таковая стоят перед новыми и единственными в своем роде проблемами необычайной сложности и глобального, долгосрочного характера.

1. Гонка вооружений и войны во всем мире.

2. Разрушение окружающей среды и хищническая эксплуатация природных ресурсов, особенно в «первом» и «втором» мире.

3. Бесплановость экономики в западных странах и «суперплановость» — в странах восточных.

4. Демографический взрыв, голод и нищета, особенно в «третьем» и «четвертом» мире.

5. Дезориентированность и неуверенность, склонность к агрессии, насилию и террору у традиционно сформировавшихся людей во всем мире.

Ввиду всех этих опасностей, угрожающих человеческому существованию, было бы соблазнительно пойти по пути наименьшего сопротивления. Продвигаясь по наклонной плоскости, на которую мы уже вступили, можно пойти в две противоположные стороны, ведущие к двум предельным точкам. На первый взгляд, они кажутся радикально различными. Полагаясь на самооздоравливающие силы природы, а также на автоматически саморегулирующиеся процессы в обществе, можно предоставить событиям течь их собственным путем. Можно надеяться, что природа будет продолжать и дальше снабжать нас сырьем и источниками энергии, будет обеспечивать пищей грядущие десять или двадцать миллиардов людей; можно предположить, что наука, техника и промышленность будут и впредь повышать свою производительность; можно убедить себя в том, что автоматизм рынка, с одной стороны, сможет обеспе-

чить концентрацию капитала и доходы для международных концернов, а с другой — предоставить рабочим заработок, рабочие места и открыть им перспективы занятости; можно положиться на то, что государство и Церковь, семья и школа будут успешно заботиться о спокойствии, порядке и мире и т.п. Однако в конце пути такой либеральной политики, бесплановости, конкуренции и борьбы всех против всех видны катастрофы. Следствием этих катастроф может стать истребление всего человечества или значительной его части, рецидив варварства, возникновение нового каменного века или, по меньшей мере, возврат к новой мрачной эпохе примитивного земледелия. Естественно, что в условиях такого пещерного или примитивно аграрного существования не останется места для сложных форм и процессов демократии.

Но мыслим и другой ход событий, другой путь, а именно, что рано или поздно придется прибегнуть к насилию. Ведь это же — древняя панацея от всех бед, за которую хватаются все неспособные к восприятию опыта власть имущие. Чтобы избежать всех с ускоряющейся быстротой надвигающихся опасностей, власть укрепляется, усовершенствуются все новые средства репрессий и регламентирования, против внешнего врага отстраивается «оборона» (что равносильно и увеличению агрессивного потенциала!); для борьбы же с внутренними нарушителями спокойствия и бунтовщиками применяются тюрьмы и цепи, пытки и виселицы; а в борьбе против хищнического использования ресурсов, разрушения окружающей среды, против перенаселения и экономических кризисов экономические гиганты и государства прибегают к разным и часто противоречивым формам авторитарного планирования. Так, чтобы выжить, человеку приходится становиться всё более «суперзапланированным». Такая политика жёсткой хватки,

бесцеремонного вмешательства, авральных мероприятий, не знающих никаких пределов, должна, по мнению «ответственных лиц», по меньшей мере, обеспечить «голую» возможность человеку выжить, даже если ему при этом придется превратиться в робота.

Но возможность достижения даже этой минимальной цели не только сомнительна, но и маловероятна. Уже опыт с Муссолини, Гитлером и Сталиным подсказывает, что и будущие тираны с их аппаратом принуждения (только такого типа власти-тели могут осуществлять свою политику, не останавливаясь перед применением любой формы насилия) не смогут прийти к соглашению ни по вопросу мирного раздела мира, ни, тем более, по вопросу тесного взаимного сотрудничества или по вопросу создания мирового правительства.

Косность, неспособность учитывать факты тоталитарных и даже авторитарных режимов — самые неблагоприятные предпосылки для мирового правительства, которому предстояло бы конструктивно решать проблемы будущего. Уже сегодня правящая элита коммунистических стран крайне заинтересована в максимальном укреплении своего национального государства. Поэтому она менее склонна к компромиссам, нежели элита капиталистических стран. Достаточно вспомнить для этого о противоречиях между СССР и Югославией, или борьбу СССР с Китаем. Коммунистическая элита отличается этим качеством не потому, что она преследует демократическо-социалистические цели, а потому, что она проводит коллективистическо-автократическую политику. Но и большая гибкость и рациональность политики капиталистическо-демократической элиты объясняется тоже вовсе не тем, что она стремится к капитализму,

а благодаря наличию в ее тактике и стратегии демократических моментов.

Если мир будет разделен между автократическими державами прежде, чем он придет к объединению, то гонка вооружений, которая уже сейчас, как раковая опухоль, разъедает человечество, только усилится и рано или поздно приведет к военной катастрофе. И тогда человечество этим окольным путем (или после короткой паузы) всё же будет выведено на обрисованный выше путь — путь к варварству или в бездну.

В обеих этих моделях едва ли останется место для демократии. Что же касается автократии, в которой, согласно Олдосу Хаксли, могли бы сохраниться некоторые «чудесные старомодные формы», то в них демократическое содержание было бы полностью извращено. И уже сейчас трудно порой избавиться от впечатления, что в территориально крупных демократических державах демократия находится в состоянии отступления. Хотя в подобных странах гражданам всё же предоставляется известная свобода передвижения, свобода выражения своего мнения и т. д., но концентрация власти, находящаяся в руках исполнительных органов, расширение компетенции бюрократии, сужение демократии в среде правительственных партий и крупных союзов — всё это приводит к обострению чувства бессилия у простого гражданина, которым овладевает апатия и безразличие. Кроме того, безлично-бюрократическое управление, так же, как и формалистически-авторитарное правосудие (и то и другое глубоко укорененные в традициях абсолютизма), обращается с гражданином, как с номерным знаком.

Так случается — всё еще или вновь, — что при стихийных проявлениях гражданской инициативы, а тем более в случаях пассивного сопротивления, власть

призывают к принятию мер против возмутителей спокойствия и бунтовщиков. Призыв обратиться за помощью к палачу никогда полностью не замолкал, и сейчас еще можно встретиться с требованием какого-нибудь профессора «применять по отношению к правонарушителям легкие формы пыток для того, чтобы добиться от них признаний». Гуманное отношение к людям асоциального поведения и к преступникам квалифицируется как слюнтяйство, а от гуманных реформ, касающихся мест заключения, отмахиваются, как от мягкосердечной блажи. Такие настроения наблюдаются среди достаточного количества граждан, которые готовы возместить свои обиды за счет слабых, а себя отождествить с сильным и строгим «папашей-государством».

Так государство всё больше и больше становится государством благотворительности и военщины, государством полиции и бюрократии. Разве это не видно хотя бы из того, что в своей внешней политике государство, при известных условиях, всё еще считает войну наименьшим из зол и продолжает не только сотрудничать с автократиями, но и заключать с ними союзы. Вот и получается, что в наше время только Исландия и Пуэрто-Рико полностью разоружились, и только в Лихтенштейне иногда пустуют тюрьмы. Не приходится поэтому удивляться, что все считают само собой разумеющимся тот факт, что в качестве эмблем в гербах демократий красуются хищные звери и никто не собирается отказываться от военных парадов, вооруженных охран и тому подобного.

Итак, для политики «третьего пути» предстоит еще сделать многое, даже в демократических странах. Ликвидация традиционных автократических и военных символов была бы лишь крохотным шагом в верном направлении. Но тот факт, что уже сейчас

каждое мероприятие такого рода наталкивается на ожесточенное сопротивление со стороны людей, называющих себя демократами, заставляет серьезно задуматься. Вновь и вновь приходится ставить перед собой вопрос: не исчерпала ли себя наша демократическая культура, разменявшись на внешний лоск, и сколько еще времени осталось в нашем распоряжении для вживания в демократические представления и для тренировки в демократических формах поведения?

Попробуем сейчас обрисовать в нескольких штрихах, как можно было бы себе представить синтез, который позволил бы избежать и безвольного соскальзывания в варварство и автократического суперпланирования, прямиком ведущего к обществу роботов.

Путем длительной работы, к которой, однако, надо было бы приступить немедленно, нужно было бы начать урезывать власть, господство и принуждение отдельных государств, перенося их компетенцию на демократическую мировую федерацию. План этой операции должен был бы быть выдержан в демократическом духе, а его реализация проходить под демократическим контролем. В этот обобщающий план должны были бы входить составной частью планы государств и регионов. Частью такого планирования, политики или стратегии (дело сейчас не в точной формулировке) должно было бы стать радикальное и глобальное разоружение, то есть переориентация усилий, которая позволила бы высвободить производственные мощности и технику для их мирного использования для широких масс как Севера, так и Юга. Одной из более дальних целей должна была бы стать переориентация нашей техники и экономики на стабильное, а частично и стационарное хозяйство, вместо наблюдаемой ныне нацеленности на приносящий

доход сбыт. Качество должно занять место количества, информация — место транспорта, а нематериальные культурные ценности — место предметов роскоши и массовой дешёвки.

Никак нельзя упускать из виду, что экономика, и общество, и демократия все вместе — должны были бы предоставить всем людям минимум свобод и равенства, минимум благосостояния и возможностей для творческого труда, но в то же время добиться самого экономного использования всех ресурсов, обеспечивая равновесие между производством, потреблением и природой. Такая демократия вступила бы в конфликт со всеми нашими предыдущими представлениями и привычными формами поведения. Ведь она отличалась бы от традиционных классовых обществ своей последовательной демократичностью и скромным благополучием, а от идей и предвосхищений либеральных и социалистических демократов и прогрессистов XIX и XX веков — бóльшим учётом всех экологических пределов материального, то есть научно-технического и промышленного, роста, так же, как и роста народонаселения. Это было бы равносильно самому революционному перелому в истории человечества. Это предполагало бы также нововведение исторического масштаба, а именно — подлинную «мутацию человечества», изменение человеческого типа и разрыв с его самыми существенными представлениями о ценностях и целях, с которыми мы имели дело вплоть до наших дней.

Для осуществления такого рода переворота в судьбах человечества прежде всего нужны действенные и эффективные глобальные учреждения (институты), которые к тому же были бы доступны для демократического контроля. Это, в свою очередь, предполагает решительное сужение власти и компетенции отдельных государств. И тут опять мы сталки-

ваемся с дилеммой. Конечно, в противовес концентрации власти в руках плутократических, капиталистических и бюрократических центров, мы нуждаемся в укреплении государственно-демократической компетенции для достижения лучшего планирования и подлинного равенства, то есть в «национализации», но она, в свою очередь, устаревает, как только возникает вопрос о справедливом распределении природных ресурсов, о контроле огромных, господствующих на мировом рынке объединений или международных финансовых сил. Тут надо прибегать к давно уже ставшим необходимыми формам планетарной демократизации. Государства, которые Тойнби не без основания называл «допотопными чудовищами», с одной стороны, должны передавать свою компетенцию всемирным или новым региональным (например, европейским) инстанциям, а с другой стороны, — делегировать свои права мелким, провинциальным, функциональным самоуправляющимся единицам. Тут создается широкое поле для экспериментов с самоуправлением, непосредственной демократией, гражданской инициативой, разными формами и методами ненасильственных акций и т.п. Но целое — от мировой федерации вплоть до сельских советов, жилищных кооперативов и т.п. — может функционировать только в том случае, если будут испробованы и развиты новые формы многоступенчатого федерализма.

В заключение можно было бы поставить вопрос: а имеет ли вообще «третий путь» хоть малейшие шансы на осуществление по сравнению с другими кратко обрисованными вариантами? Мы были бы нечестны, если бы открыто не признали, что шансов для осуществления «третьего пути» гораздо меньше, чем у двух других моделей. Эти шансы, вероятно, самые незначительные для большей части третьего мира, но и для супердержав — тоже. Наибольшие перспек-



тивы открываются для таких малых стран, как скандинавские государства или Голландия, а может быть, и Югославия. После неудачных попыток в ЧССР и в Чили никто не решится на радужные прогнозы в отношении Португалии и Испании. И всё же шансов на то, чтобы по «третьему пути» пошли такие страны, как Франция, сегодня больше, чем их было пять или десять лет назад. А следовательно, сегодня стало больше шансов, чем прежде, для того, чтобы по пути такого развития пошло Европейское содружество или даже вся Европа.

Но даже если Европа пойдет по «третьему пути», он по-прежнему останется узкой и длинной, крутой и каменистой тропой. Никто не может гарантировать, что человечество, или значительная его часть, будет следовать по этому пути до конца. Парадоксальность задачи любой футурологии заключается в том, чтобы, с одной стороны, отмечать все эти факты и трезво их анализировать, а с другой — не стоять на одном месте, а, по возможности, учитывать, если и не подсчитывать, различные возможности. При всяком рассуждении о будущем надо отдавать себе отчет в том, что «человек никогда не достиг бы возможного, если бы в мире непрестанно не пытались достичь невозможного». Исходя из этого, следовало бы даже сказать: при исследовании будущего надо считаться с тем, что кажущееся первоначально — по всей видимости и всем расчётам — невозможным, всё же осуществляется вопреки ожиданиям и веским соображениям. Этому учит история, иной раз творящая «исторические чудеса». Действительно, то там, то сям кроются под поверхностью наблюдаемого в мире «потайные» силы и тенденции, которые могут быть «обнаружены» лишь полётом фантазии. Отмеченные нами небольшие шансы дойти до мировой демократии «третьим путем» не исключают возможности, что эти

## ГРАНИ

шансы когда-нибудь станут и бóльшими, чем те, на которые позволяет нам рассчитывать наша трезвая мудрость.

## С БОГОМ ИЛИ...

Согласно закону диалектики, мировоззренческие установки имеют две тенденции: восходящую, творческую (тезис-антитезис-синтезис) и нисходящую, разрушительную (тезис-энантность-апосинтезис)\*.

Действие этого закона легко проследить на полотне истории России. Тенденция первого типа, действующая по принципу *восполнения*, осуществилась в направлениях славянофильства и западничества. Тенденция же второго типа, действующая по принципу *противоречия*, была осуществлена направлением материалистического толка. Славянофилы и западники, расходясь в конкретных оценках, сходились в своей целенаправленности, ибо и одни и другие стремились к *благу России*. Достоевский, например, сочетал в себе хорошие стороны обоих направлений. Материалисты-марксисты сходились в своей целенаправленности (до определенного времени) с анархистами, террористами, нигилистами и тому подобными группировками, ибо все они стремились к разрушению существующего строя и быта. Россия, равно как и вера в Бога, была для них препятствием к осуществлению их целей, которых они желали достичь любыми средствами. Славянофилами и западниками этика (христианская или гуманистическая) принималась как сама собой разумеющаяся; разрушители же России, делая ставку на *понижение*, утверждали, что дозволено всё то, что идет на пользу их дела, т.е. их партии (иными словами, утверждали «власть и закон сильного»).

Монопартийность любого крыла — явление нездоровое. Также не свидетельствует о политической

---

\* См. об этом подробнее у А. Позова, «Основы христианской философии», т. II.

зрелости народа многопартийность. Желательна — двухпартийность. Хотелось бы, чтобы в возрожденной России эта двухпартийность была представлена группами, подобными славянофилам и западникам. И следует сразу предупредить, что всякие попытки одной из партий навязать силой свою идеологию *всему народу* потерпят исторический крах.

В настоящее время намечается тенденция отождествлять Солженицына со славянофильством, а Сахарова — с западничеством. Конечно, в этом наблюдается некоторого рода стилизация, но в самой тенденции — много правды. Позднейшее по времени выражение ее — дискуссия о «Письме вождям Советского Союза». Здесь нам кажется возможным выделить по крайней мере три темы. По существу, они не новы, но таковыми могут показаться молодому поколению. А для старшего поколения новыми могут оказаться некоторые формулировки и аргументы.

## I

Польский поэт-романтик Адам Мицкевич как-то сказал: «Измеряй силы замыслами, а не замыслы — силами». Сказано красиво и возвышенно, и доля правды в этом есть, но повседневная, прозаическая жизнь велит нам принимать эти слова с оговорками. Существует и такое крылатое выражение: «Не порывайся с мотыгой на солнце, а то надорвешься!» Или: «Всякому овощу — свое время». Вот так намечается первая тема этой статьи: *«национальность — интернациональность»*. Здесь мы сразу определим нашу точку зрения: *нужно строить свое государство, оглядываясь на остальной мир*.

В такой перспективе мы не ставим альтернативу: либо Солженицын, либо Сахаров, а говорим: *и Солженицын и Сахаров*. Точнее: сначала Солженицын, затем Сахаров. Иное сравнение: дом не строят, возводя

сперва одну стену и соответствующую ей часть крыши, а строят дом *«равномерно»*. Но если и в подобной «равномерности» некоторые действия имеют приоритет перед другими, тогда я — за приоритет солженицынского, а не сахаровского направления. Ибо солженицынское — естественное, а сахаровское — сверхъестественное. Скачок из царства необходимости в царство свободы делать надо, но постепенно. Постулаты — одно, а практически-разумные средства их достижения — другое. Историософия знает многих мыслителей, которые, начав с максимализма, переходили к минимализму. Ибо воистину: как преобразовать человечество, не умея преобразить свою семью, свое общество, свое государство?

Но — может возразить кто-нибудь из групп слишком правой ориентации, — Иисус Христос был максималистом, ибо говорил: «Царство Мое не от мира сего». Следовательно: либо мир, либо сверхмирность. — Но это тоже — упрощение и стилизация. Среди изречений Иисуса Христа мы можем отыскать много антиномических изречений, которые неискушенному уму могут показаться противоречивыми. Если отказываться от истории, тогда надо последовать совету либо заняться всеобщим самоубийством, либо всеобщим самооскоплением. Это — упрощенная схема сектантов: Бог воплотился, принес благу весть (Евангелие); тот, кто *уверовал и последовал*, спасен, а кто не пожелал этого — ну и ладно, пусть пропадает на веки вечные, ему же и хуже. Такой идеологии следовать мы не желаем и не можем, потому что этого не позволяет нам наша христианская совесть. Вот и измышляем мы, каков лучший путь свершения икономии. Поэтому мы сочетаем и комбинируем. Гордиев узел мечом разрубить возможно, а решать задачи человечества так — сплеча — нельзя.

Мне кажется, что *человеку, совершенному в национальном смысле, легче сочетать национальность*

*со сверхнациональностью, чем интернационалисту переварить национализм.* Одиночки — не указ. Я лично не верю тому, кто призывает к сверхчеловечеству, минуя человечество. А для человека — естественно пребывать во времени и пространстве, над которыми иногда люди и могут возвышаться в какой-то степени, но которые невозможно отменить совсем. Время и пространство существования отдельного человека — это его отечество, его народ и его история. Возможно, единицы и способны выходить за национальные рамки, но как правило — это невозможно. Претензия быть космополитом, т.е. гражданином мира — это этикетка, скрывающая за собой внутреннюю пустоту, отсутствие любви к родине и собственной культуре. Такие люди — это соль, потерявшая свою соленость. Такие люди с особым ожесточением в свое время уничтожали и выкорчевывали всё то прекрасное, что создала русская и православная культура.

Сделаем поэтому вывод: не *или* национализм *или* интернационализм, а «общечеловечность» *через* национализм, с сохранением (а не отменой) последнего.

Итак, синхронизация, а не редукция!

## II

Для современных людей, переживших фашизм и коммунизм, как будто естественно шархаться в сторону от всякого «изма». В настоящее время это особенно относится к людям, живущим или жившим в орбите коммунистического господства. Им бы — любой строй, лишь бы иной! Смертельно устав от идеологического ига обоих крайних направлений, они инстинктивно тянутся к демократическим просторам. Увы, эти просторы часто оказываются лишь сказочным миражем над пустыней суровой действительности. И тогда перед нами встает вторая тема: *с идеологией или без идеологии?*

Природа, как известно, не терпит пустоты. Свежевспаханное поле надо поскорее засеять, чтобы оно не заросло сорняками. Вечно истинны слова Иисуса Христа:

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мат. 12, 43-45) (Разрядка моя. — Иг. Г.).

Смысл этих слов бьет не в бровь, а в глаз тем, кто думает, что столь большой народ, как русский, сможет жить «так себе», «самотёком», без идеологии. Казалось бы, что страшный урок «керенщины и интеллигентщины» и того, что за ними последовало, раз и навсегда должен был бы излечить преисподних и непредрешенцев. Народ, как и отдельная человеческая личность, обретает свое достоинство, становясь тем, к чему он призван, а не оставаясь тем, чем он является. Жизнь, как вода: хороша до тех пор, пока бежит по своему собственному руслу; отведенная в застой крайней реакции — протухает; разлитая же по зыбучим пескам безыдейности — исчезает.

Историчность свойственна христианской культуре. Она выражается в чувстве призвания к свершению определенных задач в рамках жизни данного народа. Чувство это интуитивно и инстинктивно. Его можно рассматривать в перспективе либо одного народа, либо всего человечества. Историсофам прошлого столетия была свойственна всечеловеческая перспектива, столь характерная для христианского, а затем и романтического мироощущения. Сциентифический подход к философии современных мыслителей отразился и на современных историсофах: они склонны ограничиваться в своих суждениях фактическими утверждениями и констатациями.

Но и те и другие, под различной терминологией, признают, что в жизни отдельных народов и их группировок (систем и сверхсистем) бывают периоды расцвета и что они сопряжены с правильным уловлением «зова», который приходит, по мнению религиозных мыслителей, свыше, от Бога, а по мнению других — «неизвестно откуда». Если народ правильно распознаёт этот «зов» и найдет в себе энергию верно ответить на него, он исполнит предназначенную для него роль на сцене всечеловеческой трагедии. Народы же, проглядевшие свое призвание или продавшие его за «чечевичную похлебку», либо исчезают с этой сцены, либо петрифицируются в недоразвитом состоянии, наподобие «бесплодной смоковницы».

Поэтому на вопрос, может ли большой народ жить без идеологии, следует категорически ответить: нет! Насколько этот ответ легок, настолько труден вопрос: как избрать правильную идеологию? Самая общая альтернатива гласит: с Богом или без Бога? Для верующих выбор ясен. Каковы основные вехи осуществления этого выбора — тема особая и о ней будет сказано ниже. Теперь же задумаемся над тем, какой выбор стоит перед человеком неверующим?

Во-первых, существуют в мире тоталитарные системы, будь то фашистского, будь то коммунистического толка. Немецкий нацизм призывал человека возвратиться к язычеству, с одной стороны, и провозглашал идею германского сверхчеловека, с другой. Коммунизм же объявил беспощадную борьбу религии и культ Бога подменил «культом личности». Обе эти разновидности тоталитаризма притязают не только на внешнее подчинение граждан, но и на преобразование их душ в нужном для данной системы направлении. Отсюда и вытекают соответствующие воспитательные методы, практикуемые по отношению к гражданам с их детского возраста. Лишним



было бы добавлять, что этика тоталитаризма по своему существу — антихристианская.

Противоположность тоталитаризму — демократизм. Основной принцип демократии — воля большинства. Если в тоталитаризме отсутствует свобода, то в демократизме ее — хоть отбавляй, зачастую же она граничит с узаконенным произволом. В демократических странах живет свободнее, спокойнее, удобнее и сытнее. Это каждому очевидно. Но часто бывает так, что явления, рассматриваемые непосредственно, кажутся положительными, рассматриваемые же с достаточно отдаленной исторической перспективы, оказываются отрицательными; и наоборот, то, что вблизи кажется отрицательным, на более далеком расстоянии оказывается положительным. Возьмем как пример историю Польши: постепенная демократизация польского королевства осуществлялась через постоянное урезывание королевской власти. Это считалось достижением, которым поляки гордились. Опьянение свободой и привилегиями выразилось в злоупотреблении права «*liberum veto*», парализовавшего политическую жизнь государства. Материальное благополучие («За круля Саса — ед, пей и попушай паса»), соединенное с политическим анархизмом, родило другую уничижительную поговорку: «Польша нежондэм стои» (Польша сильна неурядицей, распутством). Печальные результаты свободы и сытости не заставили себя долго ждать. Аналогичных примеров можно в истории найти достаточно.

Опыт современной демократии весьма короток. Но уже и нам, свидетелям ее достижений, становится ясным, что под покровом внешнего благополучия копошатся злые, хаотические силы. На наших глазах совершаются процессы, о последствиях которых не может быть разных мнений: очень уж они безотрадны. Отход от религии, угасание традиций, распад нравственности, сексуальная распущенность, вы-

смеивание патриотизма, пресыщение, наркомания, поражающий рост преступности, коррупция правительственных органов — вот перечень некоторых из этих симптомов. Даже та область, органы которой должны стоять на страже «гражданских добродетелей» (что они теперь значат?), т.е. на страже внешней, формальной нравственности общества — законодательство и судопроизводство, — пропиталась цинизмом и оппортунизмом\*.

Конечно, ни одна форма правления (сама по себе) не идеальна. Важны достоинства людей, которые управляют. А достоинства эти в большой мере зависят от их воспитания. Ни тоталитаризм, ни демократия не дают хорошего воспитания. Первый потому, что воспитывает неправильно, второй потому, что вообще не воспитывает.

При тоталитарных строях детей воспитывают по партийному коду, вернее — дрессируют. В демократических странах, прежде всего в США, психологи проповедают естественное развитие детей, освобождение их от влияния семьи и Церкви (нечто вроде неоруссоизма). Однако на этом дело не кончается, ибо неофициальным «воспитанием» детей занимаются так называемые медиа: «комикс», порнографическая литература, приспособленная к невзыскательному вкусу потребителей, программы телевидения. Эти «медиа» формируют постепенно, незамет-

---

\*Всем известен случай американского гражданина Элсберга, выкравшего из военного министерства важные и секретные документы и предавшего их гласности. Суд освободил его от ответственности, так как средства его изобличения оказались нелегальными (подслушивание). А вот мелкие преступники, пытавшиеся выкрасть его досье из актов его врача, — осуждены. Справедливость торжествует! Или, например, практика сговора демократического суда в США с преступниками: если преступник заранее готов признать себя виновным по одному из обвинений, суд может освободить его от ответственности за все иные совершенные им преступления.

но и упорно характер человека с раннего возраста и «манипулируют» им не хуже тоталитарной пропаганды, только на иной лад.

Бандитизм, воздушное пиратство, терроризм, заложничество — вот новые явления демократического мира. Редко кто отдает себе отчет в том, что видимое и слышимое нами — это лишь цветочки, а ягодки, увы, ждут человечество впереди. Дело в том, что каждое интеллектуальное, психическое или физическое явление недолжного порядка, т.е. то, что религиозным сознанием считается *грехом* (слово, почти вышедшее из современного обихода!), влияет не только на тех, кто сегодня — реализаторы или носители этих явлений, но травмирует *наследственность* всего человеческого рода; следы этих травм скажутся лишь на будущих поколениях.

В вопросе воспитания граждан Солженицын прав, связывая эту проблему с религией, точнее, — с православием. Недооценка же Сахаровым религиозного фактора в жизни народа — слабое место в его доктрине. Гуманные принципы, которые он провозглашает, — это всего лишь отзвуки христианской культуры. Сами по себе они не произрастают; много, увы, правды в том, что человек, как животное: своему ближнему — волк. Отрываясь, отказываясь от религии, гуманизм перерождается в гоминизм, как это метко определил С. Л. Франк. Европейская культура была расцветом того, что в свое время посеяли рыцари и монахи (см. «Смысл истории» Н. Бердяева). Без Бога — «всё позволено»... Безрелигиозное общество, как шампанское в откупоренной бутылке: сперва теряет искристость, затем аромат, потом вкус и крепость; дайте ему время так постоять и оно *естественно* превратится в уксус. Процесс вырождения безрелигиозного общества замедляется наличием христианских этических принципов, наследуемых детьми

от родителей в сознательном и биологическом порядке. Человеческие гены ведь запечатлевают на себе все влияния — и положительные, и отрицательные — и действуют, как информационные карточки, которыми в современном мире программируются компьютеры.

Следует еще отметить, что в обыденной речи, особенно у либералов, слово «демократический» является синонимом слова «гуманный». (Если держаться такого обычая, то, как это ни парадоксально звучит, в монархической России было много «демократического»; взять хотя бы освобождение крестьян до ликвидации рабства в демократических США, или самый передовой и справедливый суд, или аграрную реформу и т.п.).

### III

Рассмотрев вкратце политический и нравственный аспекты общественной жизни, мы подошли к третьей теме нашей статьи: *соотношение государства и Церкви*. Государство стоит на страже внешнего поведения людей, а Церковь заботится об их внутреннем, духовном состоянии. Под понятие Церкви мы подводим все религиозные образования положительного направления, чтущие Благого Бога: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется!» (Отрицательными религиями мы называем все виды сатанологии).

«Органически неотъемлемый союз Церкви и государства раскрывался исторически в разных вариантах: а) в римской схеме двух мечей в руках папы, б) в византийской — двух мечей в двух разных, но согласованных руках: Церкви и государства, с) в протестантской схеме двух мечей в руках светских глав христианских государств», — пишет А. В. Карташев в своей книге «Воссоздание Св. Руси» (Париж, 1956 г., стр. 245).

Это чистые схемы. На практике большей частью они выступали в несколько комбинированном виде. Лишь в нашем столетии мы видим примеры нового отношения: меч светский (т.е. государство) со всей

силой обрушивается уже не на меч, а на щит духовный — Церковь.

Иными словами, отношения Церкви и государства могут колебаться между двумя крайними проявлениями: полным отождествлением государства и Церкви (в лице монарха — цезаропапизм; в лице первоиерарха — папоцезаризм) и полным отчуждением государства и Церкви (как в современных демократических государствах). Синтез этих двух противоположностей — *симфония* государства и Церкви; апосинтезис — враждебность государства к Церкви (либо наоборот: отрицание государства, например, некоторыми религиозными сектами, отказывающимися признавать государство в любых его аспектах).

Сторонники отдельных направлений имеют свои аргументы в пользу той или иной точки зрения. Автору этой статьи думается, что православная позиция — это *синтез-симфония*. Но она допускает некоторые разновидности. Приведем несколько типичных точек зрения в качестве примера.

Прежде всего, наиболее «отчужденческая» точка зрения. В 1949 г. в изд-ве «Возрождение», в Париже, вышло исследование епископа Кассиана (Безобразова) под названием «Царство Кесаря пред судом Нового Завета». В результате тщательного исторического анализа автор пришел к выводу, что

«...всякая попытка построить государство на законе Христовом роковым образом обречена на неудачу. Нам не дано соединить несоединимого. Опыт прошлого и познание истинной природы государства не позволяет нам мечтать о христианской державе на земле. Но путь христианского делания в государстве открыт и нам, даже больше: он нам указан, как наш долг» (стр. 49-50).

Вполне приемля заключительную фразу об открытости пути христианского делания в государстве, нам всё-таки хотелось бы отметить гипотетичность утверждения еп. Кассиана о том, что *всякая попытка*

ка построить христианское государство на земле обречена на неудачу.

Во-первых, бывали периоды, когда этот идеал осуществлялся и в Византии, и на Руси. А что возможно было на кратком историческом отрезке времени, то принципиально возможно и на протяжении более длинных периодов. Кроме того, человеческий опыт всё время опровергает ставимые ему границы «невозможного». Перефразируя слова М. Горького, еще так недавно можно было сказать: рожденный ходить по земле летать не может. А вот человек, рожденный ходить по земле, взял да и полетел, причем весьма разнообразными способами, и как полетел! Все суждения, основанные на опыте, являются популярной индукцией, и каждый новый факт, доселе не встречаемый, разрывает рамки такого логического силлогизма. До тех пор, пока история человечества не завершилась, нельзя делать такие беспелляционные утверждения. «Христианизация государств», как это хорошо определил Август Цешковский, является определенным историософским постулатом. Но даже если бы оказалось в конце истории, что постулат этот действительно оказался неосуществимым, то тем не менее его существование исполнило определенную историософскую задачу в роли регулятивного, по крайней мере, принципа. Так путник, ориентируясь по звездам, никогда их не достигает, но приходит туда, куда ему нужно. Что с того, что человек не может стать совершенным, как Отец его Небесный, но стремление к совершенству есть залог совершенствования.

Кроме того, спросим: что в этом мире совершенно? Светские правители? Церковные правители? Даже первохристианские общины, приявшие особое излияние даров Св. Духа, в своем эмпирическом существовании не были идеальными. Где Бог сеет пшеницу,

там дьявол подсеивает плевелы... Да и помимо зла как такового, человек слаб по своей природе; и человеческие организации полны технических и практических недостатков. А впрочем, что говорить о недостатках организаций разных масштабов, когда в самом человеке всегда идет борьба между духом и плотью:

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божию; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих... Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим., 7, 19-25).

Об этих двух началах, только уже в государственных масштабах, Б. П. Вышеславцев говорит, что

«... все высшие начала истинной религии антиномичны... Но существуют и такие, разрешение которых мы «отчасти видим в зеркале и в гадании», угадываем, в каком направлении оно возможно. К числу таких... принадлежит антиномия власти. Нам кажется, что ее решение наиболее дано, или точнее, наиболее ясно задано в христианской философии истории и эсхатологии (стр. 95).

«Христианское решение состоит в установлении иерархии ценностей: власть является ценной, когда служит правде и справедливости. Справедливость и право ценны, когда служат высшему общению любви и делают его возможным. При этих условиях *власть получает освящение свыше*. Напротив, власть действительно принадлежит дьяволу, если вся иерархия ценностей извращается: власть никому и ничему не служит, кроме самой себя и притом служит всеми средствами зла, не признавая над собой ничего высшего» («Вечное в русской философии». Изд-во им. Чехова, 1955, стр. 103. Выделено мною. — Иг. Г.).

Отношение Церкви к государству должно определяться, таким образом, общей целенаправленностью государства. *Церковь не должна поддерживать боговраждебную власть*. Ветхозаветная Церковь, в лице пророков, ясно определила свою враждебную позицию к институту государственной власти, чуждой и иноплеменной во всяком случае, но и отечественной в тех случаях, когда она не являлась исполнителем

закона Божия, не говоря уже о том положении, когда она действовала *против него*.

Новый Завет, сменивший Ветхий («око за око», зуб за зуб») на заповедь любви к ближнему и прощение врагов, учил христиан не восставать против государственной власти, а сосредоточивать всё свое внимание на построении Царства Божия в сердцах человеческих. Первохристианам казалось, что не время свергать режимы, когда следует вот-вот ожидать Второго пришествия Христа во славе, которым и завершится вся история человеческая. Не борясь против государственной власти, первохристиане и не поддерживали ее. В тех же случаях, когда требования власти приходили в конфликт с их совестью (отказ от Иисуса Христа, воздаяние божественных почестей кесарю и т. п.), т. е. в области религиозной и нравственной, большинство первохристиан оказывало алмазную стойкость, и их кровь — кровь мучеников — оказалась цементом, скрепившим постройку христианской Церкви.

Когда после двухсотпятидесятилетних гонений мирская власть проявила желание сотрудничать с Церковью, та сразу же и первой пошла этому навстречу. Со времен императора Константина (313 г.) и до русской революции (1917 г.) Церковь на Востоке оставалась в тесном союзе с государством, причем за немногими исключениями, к тому же в сравнительно короткие периоды времени, власть государства доминировала над властью церковной. В силу сложившихся исторических обстоятельств Церковь на Востоке сжилась, если так можно выразиться, с монархической формой государственного правления.

На Западе римо-католическая Церковь сумела сохранить свою независимость от мирской власти (тоже с незначительными исключениями) и даже продолжительное время влияла на политику западноевропейских государств. Начиная с XVI века, в резуль-



тате совокупности событий, известных под обобщающим понятием *реформации*, протестантские церковные круги отождествили себя с демократическими тенденциями государственной политики и провели в жизнь принцип отделения государства от Церкви (благожелательный нейтралитет). В современных демократических государствах нет ни привилегированных социальных сословий, ни привилегированных религий.

Известный теоретик государства Н. Н. Алексеев посвятил несколько исследований проблеме соотношения светской и духовной власти и пришел к заключению, что христианская религия не дает основания для предпочтения той или иной формы государственности. Он подчеркивает, что Сам Иисус Христос а) отверг идею Мессии как земного царя; б) определил Свою миссию границами духовной области («Царство Мое не от мира сего», «Царство Божие внутри вас» и др. тексты...) и категорически отрицал *обожествление* института государственной власти. Христианство, таким образом, нанесло удар *идее языческой монархии*. Возражая против иной раз встречаемой ныне склонности отождествлять христианство с анархизмом (например, «толстовство»), проф. Алексеев пишет:

«...Христианству совершенно чужда та самолюбивая боязнь авторитета, которая столь характерна для анархически устремленных душ. Евангелие учит не безвластию, оно только не усматривает в власти самой по себе никакой безусловной ценности. Только служение и жертва освящает, делает правомерной власть — вот основная политическая мысль евангельской проповеди... Принципиально христианство может принять и освятить только ту власть, которая, применим современное выражение, не есть власть господская, но власть социального служения. Христианство, след., не может принять деспотии, всё равно покрывается ли она религиозным авторитетом, является ли монархической или республиканской... Вместе с тем христианство не может не сочувствовать всякой государственной форме, в которой власть существует не для власти, но для исполнения высших нравствен-

ных целей, в которых властители и вельможи не празднично называются благодетелями, в которой они являются не «возлежашими», но служащими. («Христианство и идея монархии», журнал «Путь», № 6, январь 1927 г., стр. 22).

Проф. Алексеев склоняется к мнению, что христианство лучше совмещается с демократической формой правления, чем с монархической. Относительно же будущего он считает, что оно «принадлежит православному правовому государству, которое сумеет сочетать твердую власть (начало диктатуры), с народоправством (начало вольницы) и с служением социальной правде» («Русский народ и государство», журнал «Путь», № 8, август 1927 г., стр. 57).

Проф. Н. Алексеев являет собой тип ученого, сочетающего большую эрудицию с беспристрастной оценкой фактов и текстов. Он как будто и не пытается выйти *за* эти факты и заглянуть в область, в которой господствует историософская интуиция. Мифотворчество — опаснее и рискованней, чем трезвая наука. Однако настроение, порыв, вдохновение присущи именно ему. К мыслителям такого рода принадлежит А. В. Карташев, возлюбивший всем сердцем идею симфонии между Церковью и государством и мечтавший о восстановлении в России монархии конституционного типа. Скажем несколько слов и о его учении, изложенном, прежде всего, в его книге «Воссоздание Св. Руси» (Париж, 1956).

«...в реальной исторической жизни, — пишет Карташев, — отдельный христианин и вся Церковь всегда будут жить в рамках и формах государственности. И вот тут-то с неизбежностью и возникает одна из антиномий теоретических и практических не выходя за грань разумности. Соблазну — совсем освободиться от этой антиномии поддаются лишь религиозно больные сектанты: наши «бегуны-неплательщики», избегающие всякой службы государству, не только военной, но и всяких податей и повинностей, скрывающиеся в подполье и доктринально сознающие, что им остается лишь «таиться и бегати». Но своей трагической карикатурностью

они дают урок ответственности официальным церковным богословам и деятелям... » (стр. 164-165).

Ссылаясь на факт Боговоплощения и на учение о Богочеловечестве, Карташев развивает мысль, что поскольку человек призван к преобразению, постольку он призван и к преобразованию среды, в которой совершается его личное преобразование. Среда же эта складывается из различных планов бытия: физического, семейного, общественного и государственного.

«... Люди, ставшие христианами, неизбежно христианизуют и свою социальность, а за ней и государственность и всю свою культуру и всё свое творчество» (стр. 166).

Пусть цель далека, но она нам заповедана.

«Но это постулирует не к боязливому или брезгливо-аскетическому отступлению пред неосуществимой пока в полноте, в длительности истории, задачей теократического преобразования всех земных дел, а к радостному принятию даже и самой малой доли христианизации, как осязательного залога увенчания наших усилий в будущем, в момент схождения Иерусалима небесного. Отказываясь от реализации этого «залога», от этой пусть капли христианизации, единственно нам доступной, по немощи человеческой и по греховности мира сего, мы просто монофиситски отказываемся от своего подвига частичной, хотя бы лишь внешне-символической посвященности наших земных дел целям Царства Божия» (стр. 166-167).

В этом плане Карташев полемизирует и с другими авторами, писавшими на эти темы (проф. С. Верховским, прот. А. Шмеманом, проф. Б. Вышеславцевым, проф. Н. Алексеевым, проф. Ф. Степуном и др.). Размеры статьи не позволяют цитировать столько, сколько бы хотелось. Язык А. Карташева ведь столь красочен, аргументация столь убедительна! Но ограничимся поэтому краткой сводкой его основных тезисов.

1) Вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства есть только часть общего вопроса: о взаимоотношении Абсолютного и относительного, Бога и мира, Неба и земли, Духа и плоти, Евангелия и культуры, вечного спасения человека и его призвания к творчеству здесь, на земле, в веках и тысячелетиях истории.

2) Евангельское Откровение об этом предмете и в Ветхом и в Новом Заветах по существу одно и то же. Если не по букве, то по духу. Весь Ветхий Завет проникнут идеологией теократии. А Новый Завет, словами Самого Иисуса Христа, не отрицает светской власти, а лишь советует воздавать ей *должное*. А это должное следует понимать как некое среднее, одинаково чуждое и обоготворению и полному отчуждению. Ту же позицию занимает и ап. Павел (Рим. гл. 13) и ап. Петр (I Соб. послание, гла. 2, 13-17).

3) Апостольская вселенская Церковь продолжала утверждать сотериологическое служение государства, а значит, и всей земной культуры высшим целям Царства Божия.

Даже демоническое, антихристианское противление языческого государства эпохи гонений не соблазнило и не поколебало отцов и учителей Церкви тотчас же принять Римскую империю в лоно Церкви, как только она прекратила безумие гонений. Союз с охристианившимся государством был достопамятным триумфом Церкви, ее великим праздником.

4) Органически неотъемлемый союз Церкви и государства раскрывался исторически в разных вариантах: а) в римской схеме двух мечей в руках папы, б) в византийской — двух мечей в двух разных, но согласованных руках: Церкви и государства, в) в протестантской схеме двух мечей в руках светских глав христианских государств. Но во всех случаях это — предопределенный, обязательный союз Божеского и

человеческого начала, по аналогии с двумя природами в Единой Ипостаси Богочеловека.

5) Отступление от догмата двухприродности богочеловечества родит в теоретическом богословии две полярных ереси: несторианство и монофизитство. И в практической жизни Церкви — те же две ереси: а) принципиальное, даже принудительное отделение Церкви от государства (несторианство) или, наоборот, б) брезгливо-индифферентное и гордынно-аскетическое вольное отделение Церкви от государства (монофизитство).

б) Антирелигиозный и антихристианский «секуляризм» новых веков властно занял командующую позицию в этом вопросе; и что всего обиднее — плоскому секуляризму удалось при этом снабдить без сопротивления близоруких богословов чуждым им по существу и еретическим флажком будто бы бесспорного «принципа отделения Церкви от государства».

7) Но, признавая союз Церкви с *христианским* государством принципиальной нормой, *мы не должны быть мечтателями и механическими реставраторами.*

8) Безбожная, антихристианская культура, презирав Церковь, спокойно строит свою антихристову башню до небес. Кто и с какой поры освободил христиан от войны с антихристом, чтобы равнодушно помогать этому антихристову делу «града диавола» нашей слепотой и попустительством? Какое писание, какой пророк или собор? Пусть по тайной воле Промысла суждено быть Церкви искушаемой этим изнеможением и поражением в первом, измеряемом тысячелетиями, туре борьбы с князем мира сего. Но самая борьба неотменима и должна продолжаться по-новому, новыми методами и средствами.

9) Но в рамках фактического разделения Церкви и государства борьба за христианский идеал союза государства и Церкви должна идти не извне, не под

протекцией государства, его законов и даже силы и оружия, а изнутри, путями молекулярного оздоровления и духовного преобразования всех функций жизни.

10) Это требует от всех христиан, духовенства и мирян внутренней перестройки и в мыслях и в действиях.

11) У иерархов теперь нет государственных привилегий. Больше всего в деле этой перестройки смогут сделать сами миряне путем инфильтрации религиозности во все поры и всю ткань жизни всего народа.

12) Для этого нужно организовываться в союзы и братства там, где это возможно, по профессиям, по задачам, по всевозможным признакам. Христианским духом должен быть пронизан весь комплекс жизни: политической, культурной, бытовой — всяческой.

13) Там, где союз с властью невозможен и невозможно никакая организованность, каждый о дельный христианин, делая по возможности дело Христово и совершенствуясь во имя Божие сам, будет членом невидимого братства Христова и в порядке молекулярного и фактического оцерковления жизни будет осуществлять современную форму православной теократии.

Ведь по апостольскому учению весь народ есть «царственное священство», и каждый человек, без исключения, может, а потом и должен, стать в меру отпущенных ему возможностей проводником благих сил и гражданином того Царства, которое «внутри вас» (Лук. гл. 17, 21). А на современном языке, по-солженицынски, надо, чтобы каждый обрел правильный «строй души».

Кстати, говоря о Солженицыне, вспомним его программу, как следует бороться с ложью, основным злом советской, да и не только советской действи-

тельности. Именно таким же путем надо бороться и с другими видами зла, возродив понятие *греха* и *духовной брани*.

Вот к этому и призывает А. В. Карташев в своей книге, называя такую повседневную и повсеместную борьбу молекулярным внедрением в жизнь принципов православной христианской религии. А то, что он говорит о православии, можно отнести и к другим религиям положительного направления, чтущим Благого Бога, тем, которые служат Свету и призывают к Благу. А это единит всех людей *доброй воли*.

И в альтернативе «с Богом или без Бога» наш выбор однозначен: да, с Богом!

## ПРЕДСКАЗАНИЕ КАЗОТА

На буйном пиршестве задумчив он сидел  
Один, покинутый безумными друзьями,  
И в даль грядущую, закрытую пред нами,  
Духовный взор его смотрел.

И помню я, исполнены печали  
Средь звона чаш, и криков, и речей,  
И песен праздничных, и хохота гостей  
Его слова пророчески звучали.

*М. Ю. Лермонтов*

1

«В начале 1788 года собрались мы за столом у одного из наших коллег по Академии, большого вельможи и остроумца. Общество было многочисленным и пестрым: придворные, судейские, писатели, академики и т. д. Стол был по обыкновению прекрасный. Поданные к десерту мальвазия и констанское придали веселости доброй компании тот оттенок непринужденности, который не всегда бывает хорошего тона. В такие моменты доходят до крайностей: всё дозволено, лишь бы рассмешить...

Единственный из приглашенных никак не участвовал во всей этой веселой болтовне и даже потихоньку отпустил несколько колкостей по поводу нашего воодушевления. То был Казот, человек любезный и оригинальный, но, к несчастью, имевший пристрастие к бредням иллюминатов\*. Он взял слово и — самым серьезным образом: «Господа, — сказал он, — будьте довольны, вы все увидите эту великую и возвышенную революцию, которой вы так жаждете. Вы знаете, я немножко пророк: повторяю, вы ее увидите».

---

Тексты (Лагарпа, Ламартина, Ги де ля Батю, А. Камю и др.), ссылки на которые даны по-французски, переведены мною. — В. Ч.

\*Иллюминаты (от лат. *illuminatus* — озаренный, освещенный) — члены тайных религиозно-политических обществ в Европе второй половины XVIII в. — В. Ч.



Ему ответили знакомым припевом: «Для этого не нужно быть таким уж великим вещуном».

— Ладно, но, возможно, надо быть чуточку чем-то бóльшим, чтобы сказать вам остальное.

Знаете ли вы, что принесет эта революция, что принесет она вам всем, кто здесь присутствует; причем это будет ее непосредственным итогом, вполне доказуемым результатом, вполне обозримым следствием?

— О, посмотрим, — сказал Кондорсе с присущим ему непроницаемым видом и простодушной усмешкой: философ не досадовал на встречу с пророком.

— Вы, месье де Кондорсе, умрете на полу каземата; вы скончаетесь от яда, который примете, дабы ускользнуть от палача; от яда, который то счастливое время заставит вас постоянно носить при себе...

Сначала — великое изумление, потом припоминают, что добряк Казот имеет обыкновение грезить наяву, и смеются еще пуше.

— Месье Казот, история, которую вы нам здесь поведали, не столь забавна, как ваш «Влюбленный дьявол». Но какой дьявол втемяшил вам в голову эту тюрьму, этот яд и этих палачей? Что общего между всем этим и философией, и царством разума?

— Именно это я вам и сказал: во имя философии, человечества, свободы, в царстве разума вам предстоит покончить с собой таким манером; а это будет воистину царство разума, ибо тогда ему посвятят храмы, более того — по всей Франции будут одни лишь храмы Разума.

— Клянусь честью, — сказал Шамфор, саркастически усмехавшись, — вам не стать жрецом в те времена...

— Надеюсь. Но вы, месье Шамфор, вы, кто был бы достоин им стать, вы перережете себе вены двадцатью двумя взмахами бритвы и, однако, умрете лишь несколько месяцев спустя.

Все переглядываются и снова смеются.

— Вы, месье Вик д'Азир, вы не перережете их сами, но вас вынудят их вскрывать шесть раз на дню, в разгар приступа подагры, дабы еще больше увериться в вашей правоте. И вы умрете ночью.

Вы, месье Николаи, — на эшафоте; вы, месье Байи, — на эшафоте; вы, месье Мальзерб, — на эшафоте...

— О, слава Богу, — сказал Руше, — кажется, сударь питает неприязнь лишь к Академии; только что он учинил над нею ужасную расправу, а я, благодарение небесам...

— Вы, вы тоже умрете на эшафоте.

— О, это невероятно, — воскликнули со всех сторон, — он поклялся всех нас уничтожить.

— Нет, не я в этом поклялся.

— Тогда, значит, нас покорят турки или татары?

— Ничуть. Я уже сказал: вами тогда будет управлять только философия, только разум. Те, кто с вами поступит подобным образом, все будут философами, и у них на устах поминутно будут те же фразы, что декламируете и вы: за час они повторят все ваши максимы, процитируют, подобно вам, стихи Дидро и из «Девственницы»...

Друг другу на ухо говорили: «Вы же видите, что он сумасшедший», — ибо он сохранял величайшую серьезность...

— Потому-то мы, женщины, и счастливы, — сказала герцогиня де Грамон, — быть никем в революциях. Если я говорю «никем», то вовсе не потому, что мы в нее совсем не вмешиваемся, но решено нас за это не винить. Наш пол...

— Ваш пол, сударыня, на этот раз вас не защитит, и вы напрасно будете ни во что не вмешиваться, — с вами обойдутся так же, как с мужчинами, без всякого различия.

— Но что же это вы нам говорите, месье Казот? Вы нам прочтите конец света.

— Об этом мне ничего не известно. Но я знаю, что вас, герцогиня, отправят на эшафот, вас и многих других знатных дам вместе с вами, в повозке, со связанными за спиной руками...

— О, надеюсь, в таком случае мне по крайней мере предоставят карету, обтянутую крепом.

— Нет, сударыня, даже более знатные дамы, чем вы, отправятся туда, подобно вам, в повозке, со связанными за спиной руками.

— Более знатные дамы! Как! Принцессы крови?

— Еще более знатные...

Тут в обществе произошло заметное движение, и лицо хозяина помрачнело. Начинали думать, что шутка зашла слишком далеко.

Чтобы рассеять тучу, госпожа де Грамон не стала добиваться ответа на последний вопрос и удовлетворилась тем, что сказала как можно непринужденней:

— Вот увидите, мне даже предоставят духовника.

— Нет, сударыня, у вас его не будет; ни у вас, ни у кого. Последний мученик, которому его из милости предоставят, будет...

На мгновение он остановился.

— Ну, кто же тот счастливый смертный, которому будет дарована эта привилегия?

— Только ее одну ему и оставят, и это будет король Франции. Хозяин дома внезапно вскочил, а с ним и все остальные»<sup>1</sup>.

Дойдя до заключительной фразы, я испытал едва ли не то же чувство, что и все участники этой сцены. Помнится, Бабель говорил, что никакое железо не входит в человеческое сердце с такой леденящей силой, как точка, поставленная вовремя. Жан-Франсуа де Лагарп поставил точку вовремя...

Он был драматургом и теоретиком литературы, писал «правильные» классицистические трагедии в духе Вольтера и читал курс лекций по литературе в парижском лицее. По странному стечению обстоятельств, тоже в лицее, только под Петербургом, Пушкин учился по этим лекциям Лагарпа.

Наверно, его имя так и осталось бы достоянием специалистов, если бы не несколько страничек, известных под названием «Предсказание Казота» и ставших хрестоматийными. В них, по оценке Сент-Бёва, Лагарп впервые проявил подлинное литературное мастерство. Именно они вдохновили Лермонтова на широко известное стихотворение...

Лагарп умер в 1803 году, «Предсказание Казота» появилось впервые в его «Посмертных сочинениях», издания 1806 года.

Многие считают рассказ Лагарпа вымышленным. Так, Тарле в своем «Талейране» пишет, что «пресловутое пророчество Казота о казни королевской семьи и гибели всех его друзей-аристократов сочинено впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова («На буйном пиршестве задумчив он сидел...»)<sup>2</sup>. Однако, как говорят итальянцы: если это и неправда, то здорово придумано. Через год после его «пророчества» разразилась революция, именуемая Великой, и Казот, и те, кому он предсказал их близкое будущее, пали жертвами якобинского террора.

В Краткой Литературной Энциклопедии есть статья о Казоте. Но, разумеется, в ней ни слова не говорится о его нашумевшем в литературе прорицании. Сказано, в частности, лишь то, что Казот, автор романа «Влюбленный дьявол» (1772 г.), — («образец классически точной прозы 18 в.», «полемичный по отношению к Просвещению», ибо «вольтерьянская философия «придана здесь Вельзевулу»: «К. возлагает на вольтерьянство ответственность за моральный распад аристократического мира») — увлекался «мистикой оккультизма» и был казнен «как роялист-заговорщик». (Добавим: 25 сентября 1792 года.)

Знаменитый «энциклопедист», член парижской Академии, математик, экономист и философ (автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума»), депутат Конвента маркиз де Кондорсе был объявлен вне закона как жирондист. Он предпочел покончить с собою способом, предсказанным Казотом. Это случилось в самый разгар террора, в 1794 году. (Тогда же был казнен — «за сношения с эмигрантами» — великий химик Лавуазье. Человек, открывший закон сохранения массы вещества, просил как особой милости несколько отсрочить казнь, чтобы успеть занести на бумагу важные мысли и формулы. Председатель революционного трибунала мило пошутил: «Республике не нужны ученые».)

В том же году, вскоре после неудачной попытки самоубийства, предсказанной Казотом, умер Шамфор...

И тогда же казнены: известный медик Вик д'Азир; первый президент Счетной палаты Николаи; защитник на процессе Людовика XVI философ Мальзерб (со всей семьей) и поэт Руше (одновременно с Андре Шенье). Годом ранее гильотинировали видного астронома, первого мэра революционного Парижа Байи. Та же участь постигла (в 1794 г.) герцогиню де Грамон...

В последнем, восьмом, томе своей «Истории жирондистов», опубликованной в Париже в 1847 году, знаменитый поэт и политический деятель А. де Ламартин приводит своего рода мартиролог погибших на эшафоте знатных фамилий:

«Так, за несколько месяцев, одна за другою упали четыре тысячи голов. Среди них: Монморанси, Ноайи, Ларошфуко, Майи, Муши, Лавуазье, Николаи, Сомбрей, Бранка, Брольи, Буажлен, Бовье, Майе, Монталамбер, Роклор, Руше, Шенье, Грамон, Дюшатле, Клермон-Тоннер, Тиар, Монкриф, Моле-Шампльтре. Демократия расчищала себе место железом; но, расчищая себе место, она внушала ужас человечеству». «Парализованные старцы следовали за своими сыновьями, дети — за отцами, жены — за мужьями. Тот погибал из-за своего имени, этот — из-за своего состояния; такой-то — за выражение собственного мнения; такой-то — за молчание; такой-то — за служение королевству; такой-то — за подчеркнутую приверженность к республике; такой-то — за то, что не обожал Марата; такой-то — за то, что скорбел о жирондистах; такой-то — за то, что рукоплескал крайностям Эбера; такой-то — за то, что насмехался над мягкотелостью Дантона; такой-то — за то, что эмигрировал; такой-то — за то, что остался в своем жилище; такой-то — за то, что уморил голодом народ, не потратив на него своих доходов; такой-то — за то, что выставял напоказ свою роскошь, оскорбляя тем самым народную нищету...»<sup>3</sup>

Если убрать конкретные имена и детали, кажется, что это написано о временах сталинского Великого террора. История повторяется...

## 3

Еще в дни инспирированных «закулисными деятелями» («людьми сомнительной нравственности и небольшого ума», — как писал о подобной породе С. Цвейг в «Жозефе Фуше») сентябрьских убийств 1792 года народ сплошь и рядом «саботировал» и «мешал». Так, Жак Казот, при первом аресте, в сентябре, был спасен от революционного «правосудия» простыми солдатами-марсельцами, уступившими мольбам

его дочери. Но он был спасен, увы, ненадолго. Его имя стояло в черном списке, и он должен был погибнуть в числе первых жертв недавно учрежденного Революционного трибунала. Накануне своего второго ареста Казот сказал близким: «Я знаю, что мне суждено». И он не ошибся...

После заранее заготовленного смертного приговора председатель трибунала обратился к осужденному со следующими загадочными словами: «Твои коллеги тебя выслушали, твои коллеги тебя осудили... христианин, философ, посвященный». Станные слова, явно свидетельствующие о том, что Казота убрали как «предателя» члены его же Ордена (иллюминатов?). Ибо он пытался помешать установлению республики. (К слову сказать, экстремисты устранили «предателей» повсюду, а не только во Франции.)

В третьем томе своей «Истории жирондистов» Ламартин нарисовал нам романтический портрет Казота перед его мученической смертью на эшафоте 25 сентября 1792 года:

«Казот был старец в возрасте примерно 75 лет (ему было 73 года. — В. Ч.). Благородство осанки, белизна длинных волос, огненный взгляд из-под седых бровей, суровая красота и вдохновенность его лица придавали ему величественный вид пророка... Человек необузданного воображения в своих писаниях, восторженной души — в благочестии, добродетели — в жизни, он видел в Революции огненное испытание, через которое Бог ведет детей века сего, дабы отметить Своих и прославить их в мученичестве. Он предложил свою кровь. Он был нетерпелив в жертвенности.

Его дочь добровольно последовала за ним в тюрьму. Предвидя казнь, она искала и нашла защитников среди марсельцев, которые охраняли пленников. Трогательная молодость, дочерняя любовь, приятная непринужденность обращения девушки смягчили этих грубых людей. Они обещали спасти ее отца. И они сдержали слово.

На вопросы трибунала Казот отвечал как человек, упорно желающий умереть: «Жена моя! дети мои! — воскликнул он, — не плачьте! Не забывайте меня! И постоянно помните о Боге! Я желаю умереть, как жил: верным своему Господу и своему королю».

Дочь, не в силах помешать ему умереть, устремилась к гибели вместе с ним... Сочувствующие им марсельцы... возвратили ей отца и проводили обоих в безопасное место. Эта милость для Казота была лишь отсрочкой...»

## 4

«Его положили на доску; прекрасную, гордую голову всунули в позорный ошейник. Палач тихонько приподнял ему волосы на затылке, затем нажал пружину. Треугольный нож сдвинулся с места и стал скользить сначала медленно, потом быстрее. Послышался отвратительный стук...

В то же мгновение раздался другой звук. Удару топора ответил пистолетный выстрел. Симурдэн выхватил из-за пояса один из своих пистолетов и в тот миг, когда голова Говэна покатилась в красную корзину, выстрелил себе в сердце. Из рта у него хлынула кровь. Он упал мертвым. И эти две души, трагические сестры, улетели вместе. Мрак и свет слились»<sup>4</sup>.

Последние строки — из «Девяносто третьего года» Гюго! Я запомнил их с детства, точно стихи... Фанатик идеи не в силах перенести гибель того, кого он послал на эшафот и кто стремился к республике милосердия. На эту глубоко символическую картину двойной смерти падает бесстрастная тень гильотины («Здесь нашла свое выражение ошибочная идея Гюго, — назидательно подчеркивает в послесловии к изданию 1953 года советский литературовед И. Лилеева, — идея необходимости всеобщего милосердия и всепрощения врагам»<sup>5</sup>)...

В одном редком старинном издании — французском «Словаре беседы и чтения» (своеобразной многотомной энциклопедии, изданной в 1849 году в Париже братьями Гарнье) содержатся довольно любопытные сведения об этом орудии казни<sup>6</sup>. Оказывается, хотя оно и названо именем врача Гильотена (правильнее — Гийотена), он всего лишь выступил в Учредительном собрании (1 декабря 1789 года) с докладом о необходимости унифицировать и гуманизировать процесс казни.

Почтенный доктор предложил обезглавливать осужденных при помощи вышеупомянутого простейшего механизма. Уголовный кодекс 1791 года (ст. 2) уже предусматривал, что каждый приговоренный к смерти должен быть гильотинирован. Согласно требованиям закона и человечности, следовало лишь придумать механизм, при помощи которого можно было мгновенно, без особых усилий, отрубить голову «пациенту».

И вот, пока доктор Гильотен (совместно с доктором Луи) размышлял, оборотистый фабрикант клавино и пианино, из Страсбурга, по имени Шмидт, уже занимался усовершенствованием механизмов для обезглавливания. Их с давних пор использовали в разных странах Европы, куда они забрели, по-видимому, из Персии. Таким образом, гильотину европейцы не изобрели, а лишь усовершенствовали, и сделал это немец. Гейне так и говорит, что гильотина, «собственно, немецкое изобретение и уже в средние века была известна под названием «итальянской петли» («Людвиг Берне»). На одной из гравюр Луки Кранаха изображена казнь в Вюртемберге в начале XVI века: колена преклоненная жертва, подвешенная на веревке секира, которую опускает палач. *Манайю* — механический топор для обезглавливания — применяли издавна в Италии. Таким способом в 1507 году убили заговорщика Джустиниани. В своем «Путешествии по Италии» (1730 г.) Лабá пишет, что такая казнь «предназначена для дворян и служителей церкви». А в мемуарах Пюисегюра, изданных в 1690 году, говорится, что маршала Монморанси обезглавили в 1632 году в Тулузе, использовав «бочарный топор, укрепленный меж двух деревянных брусьев; едва голова положена на плаху, дергают за веревку, топор опускается и отделяет голову от тела». Но только в 1792 году французы всерьез озаботились изготовлением усовершенствованной обезглавливающей машины. Работавший в творческом содружестве с Гильотеном Луи выступил



7 марта в Законодательном собрании с соответствующим предложением, на основании которого 25 марта был принят специальный декрет. Уже 17 апреля усовершенствованная доктором Луи «машина Шмидта» была впервые испытана в парижской тюрьме Бисетр... на трупах заключенных. По свидетельству известного врача Кабаниса, Луи придал ножу наклонное положение, в то время как ранее режущая часть была выгнута в форме полумесяца. Такова была машина, которую вначале шутливо прозвали Луизеттой или Луизоном (по имени Луи), а потом окончательно наименовали гильотиной, торжественно «открыв» ее в центре Парижа, под... священные песнопения.

Впервые публично гильотину опробовали на уголовнике Пелетье, совершившем вооруженный грабёж: он был гильотинирован 25 апреля 1792 года. Но вскоре подоспели первые смертные приговоры по делу 20 августа: в этот день короля лишили его функций (а через полгода казнили у подножия статуи Свободы, на нынешней площади Согласия). История сохранила имена «политических» сторонников Старого режима, первыми отправленных на эшафот: Колено́ д'Ангремон, Лапорт и Фармен де Розуа, редактор «Газет де Франс» — славная традиция обезглавливания «контрреволюционной» печати закладывалась уже тогда...

## 5

Тридцатидевятилетнего «гражданина Луи Капета», бывшего короля Франции, убили при помощи «национальной бритвы» 21 января 1793 года.

«В тот момент, — пишет в «Девяносто третьем годе» Виктор Гюго, — когда Людовика XVI осудили на смерть, Робеспьеру оставалось жить восемнадцать месяцев, Дантону — пятнадцать, Верньо — девять, Марату — пять месяцев и три недели, Лепелетье Сен Фарго — один день»<sup>7</sup>.

Революция «пожирала своих детей»...

21 сентября того же года Конвентом был принят так называемый *закон о подозрительных*, текст которого был предложен Мерленом из Дуэ (Гюго сказал о нем: «Мерлен из Дуэ, преступный автор закона о подозрительных»). Забывчивым западным «прогрессистам», которые говорят, что «у нас будет всё по-другому», хотелось бы напомнить, в частности, и об этом приснопамятном законе периода «углубления» революции. (Напомнить в слабой надежде, что эти «коротенькие люди», как сказал бы герой Достоевского Степан Верховенский, способны учиться на собственном историческом опыте. В «Прогулках по Риму» Стендаль справедливо говорит: «Если хочешь знать историю, нужно иметь мужество взглянуть ей в лицо».)

Статья первая упомянутого закона гласила:

«Тотчас по опубликовании этого декрета все подозрительные лица, находящиеся на территории республики и до сих пор пребывающие на свободе, подлежат аресту.

Подозрительными следует считать:

тех, кто своим поведением, своими сочинениями или своими речами показал себя сторонником тирании и федерализма и врагом свободы;

тех, кто не сможет подтвердить источник своих средств к существованию и к выполнению гражданского долга;

тех, кому будет отказано в свидетельстве о патриотизме (до такого и большевики не додумались! — В. Ч.);

тех представителей знати: отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев, сестер, мужей, жен — агентов эмигрантов, которые не проявляли постоянной преданности делу революции»<sup>8</sup>.

Комментируя перечисленные категории «подозрительных», член Комитета общественного спасения, прозванный «Анакреоном гильотины», Баррер воскликнул:

«Подозрительны — дворяне! Подозрительны — священники! Подозрительны — банкиры, иностранцы, биржевики! Подозрительны люди, ноющие при виде революционных свершений! Подозрительны люди, удрученные нашими успехами!»<sup>9</sup> (Удивительно знакомые речи... — В. Ч.)

Заключительная статья декрета (как бы желая возместить упущения законодательства) распространяла кару и на тех, кого могли бы признать невиновными, разрешая служителям Немезиды (действовавшим на основе революционного правосознания!) заключать под стражу даже тех, кто по суду был оправдан...

Отныне террор был поставлен в повестку дня. Конвент принял меры по реорганизации Революционного трибунала — судопроизводство свели к минимуму. По словам советского автора А. Левандовского, революционные комитеты, учрежденные при секциях, «должны были наблюдать за всеми тайными врагами народа и проводить в жизнь директивы Конвента»<sup>10</sup>. Но главную роль во всем этом играло революционное правительство — Комитет общественного спасения во главе с Неподкупным, то бишь Робеспьером. Непосредственно карательные функции осуществлял другой, фактически подчиненный ему — Комитет общественной безопасности (тогдашняя Чрезвычайка). Главным обвинителем по политическим делам был председатель Ревтрибунала Фукье-Тенвиль (якобинский Крыленко)...

А. Левандовский не самовольно вложил в уста якобинских вождей столь знакомую нам формулу «враг народа». Он только повторил слова Робеспьера, сказавшего: «Революционное правительство обязано обеспечивать всем гражданам полную национальную охрану; врагов народа оно должно присуждать только к смерти...»<sup>11</sup>. Воспевающий своего героя Левандовский утверждает, что Робеспьер вначале противился левым якобинцам. Ему даже удалось отстоять кое-кого из рядовых жирондистов, что вызывает явное

неодобрение автора. Более того (какая политическая слабость и недалёковидность!), законник Робеспьер даже провел в жизнь декрет о том, что арестованным надо всё же объяснять причину их ареста. Впрочем, вскоре он осознал свою ошибку и «сам добился отмены декрета, принятого по его почину».

— Теперь не время ослаблять революционную энергию, — заявил он, мотивируя свой демарш.

24 октября декрет был отменен. В этот же день начался процесс жирондистов<sup>12</sup>. «Все подсудимые... были приговорены к смертной казни. Казнь состоялась 31 октября. Смерть осужденные встретили мужественно. Что сказать об их друзьях, переживших этот день? Почти всех их ждала та же участь. В начале ноября гильотина снесла голову бывшему герцогу Орлеанскому. Через два дня после него наступил черед Манон Ролан... Весной следующего, 1794 года, принял яд философ Кондорсе»<sup>13</sup>.

## 6

Шекспир устами Макбета говорит: «... история — это повесть, которую пересказал дурак», а Вольтер замечает, что история человечества — это история человеческой глупости. Прочитав книжку Галины Серебряковой «Женщины эпохи французской революции» (издана в 1929-м, переиздана в 1958 году), я подумал, что вышеупомянутые мудрецы были не так уж неправы. Цель соцреалистки Серебряковой — прославить «революционерок» (вроде Теруань де Мерикур и Симоны Эврар) и развенчать «контрреволюционерок» (вроде правнучки Корнеля, Шарлотты Корде, и Манон Ролан).

Так, стремясь во что бы то ни стало очернить последнюю, Серебрякова то и дело говорит пошлости. Она иронизирует по поводу того, что эта мужественная женщина стремилась подражать героиням Древней Греции и Рима; она высмеивает ее удивительную (при «плебейском» происхождении) ученость; ее гордость, стыдливость, способность к самоотречению. Читателю, узнавшему, что в ожидании каз-

ни эта удивительная женщина написала четыре тома мемуаров (!), трудно разделить иронию писательницы. Читая книжку, невольно вспоминаешь народную мудрость: не смейся над слепым, сам ослепнешь...

«Во время следующего допроса, — язвительно пишет Серебрякова, — грубоватый комиссар, которому надоела болтовня этой женщины, потребовал, чтобы она отвечала только «да» и «нет». Ей было объявлено, что тюрьма — не министерская квартира, чтобы щеголять «умом». В ответ она сказала комиссару: «Как мне вас жалко. Я прощаю вам даже вашу грубость. Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляют чистая совесть и убеждение, что потомство отомстит за Ролана и меня, обвинив наших преследователей в подлости...»<sup>14</sup>

Интересно, не процитировал ли лубянский комиссар, допрашивая Серебрякову, слова своего далекого предтечи по поводу «министерской квартиры» и «ума»? Ведь она тоже щеголяла ученостью, баловалась литературой, а к тому же была женою (поочередно) высокопоставленных советских «жирондистов», с которыми расправились новоявленные «якобинцы». (Вот именно: как аукнется, так и откликнется... )

Описывая последние минуты Манон Ролан (достойные пера Плутарха, а не топора Серебряковой), писательница и тут не удержалась от пошлостей.

Как известно, госпожа Ролан настояла, чтобы некий старец по имени Ламарк, которого доставили на казнь вместе с ней и который совсем упал духом, первым взошел на эшафот («Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни»).

«Ожидая своей очереди, — пишет Серебрякова, — она попросила перо и бумагу: верная себе, Манон хотела сохранить для потомства свои последние ощущения. Осужденной отказали в ее просьбе. Не говоря ни слова, госпожа Ролан взошла на эшафот. Впоследствии легенда приписала ей слова, будто бы обращенные к белой Свободе, у подножия которой, словно жертвенник, стоял эшафот: «О, Свобода, сколько преступлений совершается во имя твое!...»<sup>15</sup>

Попросить перо и бумагу, чтобы запечатлеть свои предсмертные ощущения, да еще на эшафоте, рядом с палачом и на глазах у обезумевшей от ярости и любопытства толпы, — такое и не всякому философу под силу. («... умирать весело и даже, так сказать, не удостоив подумать о смерти, было в моде в той тюрьме, которую г-жа Ролан покинула, чтобы взойти на эшафот», — писал в «Прогулках по Риму» Стендаль.)<sup>16</sup>

Проведя двадцать лет в лагерях и тюрьмах, кое в чем похуже Консьержери (хотя и мне, проведенному в ней из любознательности считанные минуты, показался поистине кошмарным этот холодный и сырой каменный мешок), Серебрякова ничего не забыла и ничему не научилась...

## 7

Я вспомнил о Манон Ролан в связи с именем другого человека из ее окружения — в связи с именем Кондорсе. После ареста госпожи Ролан и других его друзей-жирондистов он, фактически объявленный вне закона как «подозрительный», принужден был скрываться. Любопытно было бы узнать, что думал в эти дни «мечтатель, стремившийся к свету» (слова о нем Гюго), апостол Просвещения, поборник Разума. Разве не он говорил о десяти этапах, в ходе которых род человеческий, выйдя из примитивного варварства, достиг на земле высшей степени совершенства?

«Так силен был оптимизм ранних дней французской революции, — писал по этому поводу американский историк Крейн Бринтон в своих «Истоках современного мира», — что многие мыслящие люди того времени думали: истории больше не будет. Ибо история существовала для них только как летопись борьбы, как движение, проходящее через страдания. Теперь же страдания окончились, цель достигнута, и в истории нет нужды, поскольку борьбы и перемен больше не будет. Рай истории не знает... Человечество как бы начинает сызнова. Поэтому Кондорсе считал необходимым приносить извинения каждый раз, когда в своем описании прогресса человечества ему приходилось делать ссылки на

историю: «Всё говорит за то, что мы подошли к одному из величайших поворотных пунктов в жизни рода человеческого... *Достигнутый уровень просвещения гарантирует, что этот поворотный пункт будет благодетельным*, но не при условии ли, что мы приложим все наши силы?..» Автор этой мысли умер несколько месяцев спустя после того, как она была высказана, то ли покончив с собой, то ли просто от истощения в тюрьме, в парижском пригороде, который революция переименовала в Bourg-Egalité, «Равенствоград»<sup>17</sup>...

Крейн Бринтон добавляет, что и для вождей, и для врагов революция была испытательным полигоном, на котором испытывались идеи Просвещения.

«Эксперимент этот вылился в режим террора, в диктатуру Наполеона и в кровопролитную войну. Очевидно, была допущена какая-то ошибка. Однако ведущие мыслители того времени не пришли к простому выводу, что эксперимент исходил из ошибочных идей...»<sup>18</sup>

Между тем Кондорсе мог убедиться в этом на собственном трагическом опыте. По версии Гюго, он погиб «в Бург-Эгалите (бывшем Бург-ля-Рен), уличенный томиком Горация, лежавшим у него в кармане» (он явно недооценил разума масс!). Другую, подробную версию приводит в своей «Истории жирондистов» Ламартин. Вот она...

«В какой-то момент монтаньяры останавливаются в нерешительности перед столь большим именем. Они боятся обесчестить Революцию, подняв руку на философа. Но якобинцы упрекают монтаньяров в слабости. Чем более велик человек, тем более опасен он как заговорщик. Уважение — предрассудок. Самые высокие головы должны упасть первыми.

Уступая мольбам жены, Кондорсе соглашается, чтобы его друг Пинель укрыл его в надежном убежище (ул. Сервандони, № 21), в одном из мрачных парижских кварталов, сокрытых в тени высоких стен и башен Сен-Сюльпис. Там бедная вдова, госпожа Верне, всегда готовая помочь горемыкам, владеет домиком, в котором сдает комнаты нескольким мирным жильцам, никому, как и она, не известным.

На склоне дня Пинель приводит Кондорсе в это жилище. Он хочет назвать госпоже Верне имя своего друга, которого вверяет ее гостеприимству.

— Нет, — отвечает эта достойная женщина господину Пинелю, — я не хочу знать его имени; я знаю его несчастье — этого

достаточно! Я спасу его ради Бога и ради вас, а не ради его имени. От этого убежище только станет надежнее, а моя преданность — бескорыстнее.

Наедине со своими думами и своими книгами Кондорсе замыкается в комнате на верхнем этаже. Он называет себя вымышленным именем. Он никуда не выходит. Окно он открывает только ночью. Он спускается вниз лишь для того, чтобы поесть за хозяйским столом как гость семьи.

Однажды ему кажется, что он узнал на лестнице члена Конвента, монтаньяра Маркоса.

— Я пропал, — говорит он госпоже Верне, — у вас в доме живет монтаньяр. Дайте мне возможность бежать, я — Кондорсе...

— Оставайтесь, — отвечает отважная женщина. — Я знаю Маркоса, я ручаюсь за него. Я буду заклинать его своим здоровьем. Я скажу ему: «Здесь Кондорсе, он вне закона, я знаю, я ему даю убежище. Если его найдут, я погибну вместе с ним. Единственный человек знает эту тайну; если ее раскроют, если Кондорсе гильотинируют, его и моя кровь падут только на вас.

Член Конвента был не болтлив. Ежедневно преследуемый и преследователь сталкивались на лестнице и проходили мимо, делая вид, что не замечают друг друга.

Так, не узнанный, Кондорсе провел в этом убежище осень и зиму 1793-го и начало весны 1794 года. Под гул безумств и неистовств он написал книгу «О способности человеческого рода к совершенствованию». Упование философа оказалось сильнее отчаяния гражданина. Он знал, что страсти преходящи и что разум вечен. Он верил в это так же, как астроном верит в существование даже пока невидимой звезды.

Его одиночество было скрашено трудами, а главное — посещениями молодой жены, чья ослепительная красота и душевная живость привлекали сердца к их дому.

Она принадлежала к знатной фамилии де Груши. Впав в нищету после падения семьи и осуждения мужа, молодая женщина зарабатывала на жизнь тем, что писала портреты знаменитых деятелей террора... Этим выскочкам свободы льстило получать свое изображение из рук аристократки...

С наступлением ночи госпожа Кондорсе незаметно исчезала в темных улочках, прилегающих к дому, успев втайне подарить мужу часы утешения и счастья. Часы тем более сладостные, что они были похищены у смерти.

Если бы Кондорсе был способен ждать, он был бы счастлив и спасен. Но нетерпеливое и пылкое воображение изнурило и погубило его. Едва вернулась весна и апрельское солнце заиграло на стенах комнаты, им овладела такая жажда свободы и движения, такое страстное желание вновь увидеть природу и небо, что



госпожа Верне вынуждена была следить за ним, как за настоящим пленником, из опасения, что он ускользнет от ее благодетельного надзора.

Он говорил лишь о том, какое счастье гулять по полям, сидеть в тени деревьев, слушать пение птиц, шум листвы, бег воды. Свежая зелень Люксембургского сада, который он чуточку видел из окна, довела эту жажду воздуха и движения до безумия. Дверь дома тщательно запирали, чтобы Кондорсе не переступил за его порог...

Но вот, 6 апреля, когда день был особенно ослепителен и мянщ, в десять утра, Кондорсе спускается под предлогом трапезы в общую залу. (Это нижнее помещение соседствовало с выходом на улицу.) Едва успев присесть, он делает вид, что забыл у себя в комнате книгу. Ни о чем не подозревая, госпожа Верне предлагает ему сама пойти разыскать этот том. Кондорсе соглашается. И пользуясь отсутствием хозяйки, устремляется за порог.

В нескольких шагах от дома, на улице Вожирар, он встречает одного из хозяйских сотрапезников, некоего Серре. Трепеша за жизнь беглеца, молодой человек сопровождает его. Вместе они пересекают заставу, обнимаются, расстаются. Весь день Кондорсе бродит в окрестностях Парижа. Он опьяняется своей наглой свободой. С наступлением ночи он стучится в дверь загородного дома — в деревушке Фонтене-о-Роз, где жили его друзья, господин и госпожа Сюар. Ему открывают.

Никто не знает, что произошло при этом ночном свидании между преследуемым, умоляющим о пристанище, и друзьями, дрожащими от страха накликать смертельную беду на свое жилище, если впустят туда обвиняемого. Одни говорят, что дружба оказалась слишком робкой, другие — что Кондорсе великодушно отказался от своих настояний из опасения привлечь свою беду и свое преступление на порог дома, где он поселился бы. Во всяком случае, после короткой беседы вполголоса он среди ночи вышел из потаенной калитки парка...

Уверяют, что некоторое время спустя он вернулся и обнаружил запертой на засов ту дверь, которую должен был вновь найти открытой. Догадки, как подтверждающие, так и отрицающие благородство натуры Сюара и нежную привязанность его супруги, которая трепещет за своего мужа. Клевета друзей, быть может, которая омрачила остаток жизни тех, на кого вскорости возложили ответственность за случившееся.

---

Ночь скрыла шаги и нерешительность Кондорсе. Вечером следующего дня видели; как в кламарский кабачок вошел некий человек: он падал от усталости, у него было изможденное лицо, блу-

ждающий взгляд, ноги испачканы в грязи, длинная борода... Его рабочая куртка, шерстяной колпак, ботинки с железными подковками контрастировали с тонкостью его рук и белизною его кожи. Он спросил яиц и хлеба и съел их с жадностью, которая свидетельствовала о длительном воздержании.

На вопрос кабатчика о его занятии он ответил, что был слугой, а хозяин его недавно умер. В подтверждение он вытащил из кармана бумажник, в котором были спрятаны фальшивые документы. Изящество бумажника, не вязавшееся с должностью слуги и убогостью платья, изобличило Кондорсе. Члены революционного комитета, находившиеся в общей зале, арестовали его как подозрительного и решили препроводить в тюрьму городка Бург-ля-Рен. Изранив ноги длительной ходьбой накануне и в предыдущую ночь, обессилев, Кондорсе на каждом шагу падал в обморок: крестьянам пришлось взгромоздить его на лошадь какого-то бедного виноградаря, попавшегося на дороге.

Брошенный в тюрьму Бург-ля-Рен, философ принял яд, который постоянно носил при себе: секретное оружие борьбы с издержками тирании. Кондорсе уснул. Сон утаил от него собственную смерть, как он сам утаил свою голову от палача. Национальные гвардейцы, которые дежурили у двери и не слышали никакого шума в его камере, нашли вместо пленника труп. Так умер этот Сенека новой школы.

Оказавшись между двух лагерей, Кондорсе, стремясь сразить старый мир и смягчить новый, погиб в этом столкновении без удивления и стенаний; он знал, что истины не даются даром, но что их покупают, и что жизнь философа есть выкуп за истину»<sup>19</sup>.

8

Почти одновременно с Кондорсе погиб еще один из тех, кому лагарповский Жак Казот в точности предсказал его кончину, Себастьян-Рок Никола́ Шамфор. Об этом замечательном человеке, подлинная известность и слава к которому пришли лишь посмертно, стоит рассказать подробнее...

В поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин» есть такие строки:

Переходило  
от близких к ближним,  
от ближних  
дальним взрывало сердца:

«Мир хижинам,  
 война,  
     война,  
         война дворцам!»

Лозунг «Мир хижинам, война дворцам!» можно было видеть на плакатах времен Октябрьской революции, в прессе, повсюду. Вряд ли кто-нибудь знал или задумывался, кто его автор. Между тем, автор у него был вполне определенный — француз Шамфор.

Впервые эти слова произнес с трибуны Конвента монтаньяр Камбон в обоснование декрета об отмене феодальных порядков повсюду, куда вступит революционная армия. Позднее они повторялись неоднократно на разных языках. Их взял эпиграфом к одному из своих воззваний Георг Бюхнер...

Такова уж была судьба Шамфора — этого «плебея» (незаконнорожденного сына сельского каноника из-под Клермон-Феррана) — со щедростью гения разбрасывать целые пригоршни своих мыслей, дабы их подбирали другие. Не так ли и в сказке Гофмана «Крошка Цахес» — на скрипке играет один, но аплодируют другому? Одним из таких «Цахесов» был, к примеру, аббат Сийес, вошедший в историю фразой: «Что такое третье сословие? Всё. Чем оно владеет? Ничем». Таково было название брошюры Сийеса, придуманное Шамфором...

Воля и талант пробили Шамфору «путь наверх» — в светское общество. За литературные труды его награждают академическими премиями, избирают в Академию, королева удостаивает его пенсией. У него немало высокопоставленных друзей, но он замыкается в себе и, несмотря на неистощимое остроумие, кажется окружающим мизантропом. Впрочем, он не отрицал этого, подчеркивая, что в основе его безотрадного взгляда на мир лежит сострадание к человеку: «Кто дожил до сорока и не сделался мизантропом, тот, значит, никогда не любил людей». С этими «ис-

поведальными» словами перекликаются другие, сказанные о нем Гонкурами («История французского общества эпохи Революции»):

«Он был воплощением острого ума и щедро рассыпал вокруг себя не медные гроши, но великолепные золотые монеты, которые когда-нибудь потомки будут хранить как медали. Он видел, как несчастлив человек, и был безутешен, но благородно нес свою мизантропию, как верность мужественного сердца»<sup>20</sup>.

Пока знатные дамы и господа в напудренных париках беззаботно веселились на кратере вулкана, Шамфор трезво смотрел в близкое будущее. Он считал революцию неизбежной, но благодетельной, как смена времен года. Отвергнув просьбу своего приятеля, графа де Водрейля, выругать в печати «защитников черни», он ответил, что речь идет о «тяжбе между 30-миллионным народом и 700 тысячами привилегированных». Но, слушая его саркастические замечания о том, что «бедняки — негры Европы» или «я всё, остальное — ничто» — вот что такое деспотизм», друзья снисходительно посмеивались. Пусть острит, ведь сам же сказал, что «Франция — это абсолютная монархия, ограниченная островами»...

Между тем революция разразилась, и стало не до шуток — началась генеральная чистка авгиевых конюшен старого мира, которые, по словам Шамфора, не чистят метелочкой... И поначалу ему казалось, что всё идет как надо. «В течение всего 1789 года, — писал его первый биограф и издатель Женгёне, — революция была его единственным помышлением и триумфы народной партии — его единственной радостью».

Четырнадцатого июля он в числе первых вошел в Бастилию. Вместе с Сийесом, Лафайетом, Талейраном, Кондорсе и Бриссо основал «Общество 1789 года», из которого позднее вышел. Будучи академиком, подготовил для своего друга Мирабо речь против Академии, сдерживавшей, по его мнению, свободное развитие наук и искусств; будучи «пенсione-

ром», приветствовал отмену литературных «пенсий». Продолжал писать и редактировать речи и памфлеты. Готовил речь для Мирабо — оратор неожиданно скончался. Принял участие в выпуске «Картин революции» (гравюры с текстом). Примкнув к Якобинскому клубу, сблизился с кругом жирондистов — друзей Манон Ролан. Ее муж (который после казни жены покончил с собой) Ролан де Платьер, ставший министром, назначил его 19 августа 1792 года директором Национальной библиотеки. Казалось бы, положение и репутация Шамфора упрочились, но...

Человек, начисто лишенный сословных или имущественных предрассудков, Шамфор «без очков и шор» смотрел на происходящее. И то, что он видел, чем дальше, тем больше смущало, тревожило, отталкивало его. Подобно герою Гюго, он «хотел бы основать республику духа», но этому противились фанатики, «люди-принципы». И в жизни спор между человечностью и долгом разрешался без «сантиментов»: Маратов было куда больше, чем Симурдэнов...

Человек внутренне свободный, органически не способный к лакейству, холуйству мысли, слова, действия, не способный на реверансы, любящий одну лишь истину, максималист по натуре, Шамфор был чужд всякого «идолопоклонства» — будь то король, республика, революция или народ.

«Национальное собрание 1789 года, — записывал он, — дало французскому народу конституцию, до которой он еще не дорос». И дальше: «Когда вспоминаешь, как много предрассудков было у большинства делегатов Национального собрания, ... начинаешь думать, что они избавились от этих предрассудков лишь для того, чтобы тут же вновь проникнуться ими, уподобляясь людям, которые разрушают здание только для того, чтобы присвоить его обломки».

Скептицизм его, ранее направленный против старого, «деспотического» общества, теперь обращает свое острие против новой, рождающейся на глазах куда более страшной тирании. Можно ли устроить принудительное братство под молчаливым девизом:

«Возлюби ближнего своего или погибни!» (сравним с шигалевским: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом»)? Можно ли с ходу победить вековую привычку к рабству, вошедшему в плоть и кровь? «Рабы подобны тем животным, которые могут существовать только в низинах, ибо задыхаются на высоте: воздух свободы убивает их».

Глотнув этого живительного воздуха, Шамфор с ужасом почувствовал, что его начинает катастрофически не хватать: он стремительно уходил через поры и щели государственного здания. Всё больше и больше Шамфор ощущал свою неприкаянность и ненужность, между ним и новыми хозяевами жизни всё быстрее нарастало отчуждение.

В статье «Литература и общественная жизнь» (1912 г.) Плеханов писал, что

«...утилитарный взгляд на искусство так же хорошо уживается с консервативным настроением, как и с революционным. Склонность к такому взгляду необходимо предполагает только одно условие: живой и деятельный интерес к известному — всё равно к какому именно — общественному идеалу, и она пропадает всюду, где этот интерес исчезает по той или другой причине»<sup>21</sup>.

Если такой интерес и был у Шамфора, то под влиянием событий он быстро испарился, а с ним исчезла и склонность к «утилитарному» искусству. Писатель оказался в состоянии безнадежного разлада с действительностью...

Вторая статья «Прав человека и гражданина» (принятых французским Учредительным собранием 20-26 августа 1789 г.) гласила: «Цель всякого гражданского союза — сохранение естественных и неотъемлемых прав человека. Эти права — свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению»<sup>22</sup>. Вскоре Шамфор на собственном опыте убедился, как широко и произвольно понималось это «сопротивление угнетению». Ибо теперь речь шла о сопротивлении

революции, а значит, и народу, в лице Робеспьера, который сам себя с ним отождествил. Из недр старого мира выростала своекорыстно используемая демагогами новая чудовищная тирания — *тирания толпы* («грядущего хама»), о которой позднее с ужасом писал Флобер:

«Старые тирании духовенства, феодалов и монархии сменились новой, более тонкой, сложной, повелительной, которая через некоторое время не оставит на земле ни одного свободного уголка»<sup>23</sup>.

Эта новая тирания заявляла о себе всё наглее и глупее. Так, по свидетельству братьев Гонкур («Искусство XVIII века»), некий почтенный журнал предлагал своим читателям покончить со старорежимными условностями: шапку следует снимать только когда жарко или при обращении к собранию; взаимные поклоны — пережиток рабства; то же следует сказать о выражениях типа «честь имею», «ваш покорнейший слуга» и т. п. Их следует заменить «вашим согражданином», «вашим братом», «товарищем» и т. д. Другие, не менее почтенные журналы вторили этим благоглупостям...

А некий гражданин Шалье представил Конвенту целый трактат, в котором на полном серьезе порицал заботу о чистоте и приличии одежды как старорежимный, аристократический пережиток, и в довершение требовал узаконить обращение только на «ты». По мнению сего доморощенного философа (предка наших культпросветских деятелей), сим будет окончательно сокрушена старая система «наглости и тирании». И «представители народа» живо откликнулись на призыв Шалье: декретом от 8 ноября 1793 года всем должностным лицам предписывалось употреблять только местоимение «ты»...

Политический ригоризм дошел до того, что грозный «Папаша Дюшен» требовал на своих страницах

превратить модные магазины в мастерские, а кафе — в помещения для рабочих собраний...

Литература, живопись, театр — зеркально отражали гримасы революции. Если песня, так патриотическая (а ля «Карманьола» или «Марсельеза»), если картина, так «граждански монументальная» (а ля Давид); если скульптура, то непременно Свобода или богиня Разума; если пьеса, то урок «революционной добродетели», наказывающей «контрреволюционный порок» в лице жадного, лицемерного попа и развратного, глупого аристократа... Театр, по остроумному выражению Гонкуров, «санкюлотизировался». Если же кто (как было в случае с «Другом законов» Луи Лайа, дерзнувшего в дни суда над королем выставить героями своей пьесы «модерантистов», в противовес «бешеным», и чудом избегнувшего казни) осмеливался идти «против течения», Коммуна двигала против театра пушки (см.: L. Petit de Julleville. Le théâtre en France. Paris, 1901). Как правило, дерзость ограничивалась тем, что актеры в нарушение «канонов», прямо по-мейерхольдовски, спускались к зрителям через каминную трубу или «входили» на сцену через зал или окно... Неудивительно, что от тех времен почти ничего не осталось — чтобы уметь писать пьесы, прозу, стихи, картины, недостаточно было быть членом Комитета общественного спасения, подобно Колло д'Эрбуа. Всё было трескуче, бездарно, плоско-утилитарно, в соответствии со вкусами толпы, которые диктовались сверху теми, кто подражал «римским доблестям». Не случайно бюст Брута, в числе прочих скульптурных изображений «борцов» против «тирании» и «законодателей», украшал Конвент...

Глядя на всё это, Шамфор не мог не испытывать чувства протеста, которое позднее испытали романтики, восставшие против «пользы» и «прозы буржуазного бытия», и которое великолепно сформулировал



в предисловии к роману «Мадмуазель де Мопен» Теофиль Готье (1835 г.):

«Нет, глупцы, нет, зобастые кретины, из книги нельзя приготовить желатиновый суп, из романа — пару сапог без швов... Я принадлежу к числу тех, которые считают излишнее необходимым; моя любовь к вещам и людям обратно пропорциональна тем услугам, которые они могут оказать»<sup>24</sup>...

Революция требовала к себе от граждан восторженно-сентиментального отношения, слепого поклонения.

«Великая французская революция должна перестать быть догматом...» — писал 31.3.1871 года Флобер Жорж Санд<sup>25</sup>.

Семьдесят лет назад так относиться к ней осмеливались лишь единицы, вроде Шамфора, который продолжал шутить, словно не понимая, что играет с огнем. Иллюзии, которые «свойственны не только безумцам, но и мудрецам», таяли яко воск перед лицом огня. И только смех — смех над многоликой «пошлостью людской» — еще поддерживал в нем силы бороться. По-прежнему он считал, что неразумней всего прожит тот день, «который мы провели ни разу не засмеявшись»...

Однако шутки шуткам рознь. Шамфор позволяет себе высмеивать новых тиранов и новую несвободу. Ему не нравится новое соперничество, новая борьба за власть под видом борьбы за счастье человечества. Намекая на героев эсхилловского «фиванского» цикла («Семеро против Фив») — Этеокла и Полиника, «обреченных свыше» на междоусобную борьбу за власть (и в результате уничтожающих друг друга), Шамфор бросает по адресу «вождей»: «Они говорят о братстве Этеокла и Полиника». Он словно забывает о том, что существуют доносчики, «этот разряд людей, придуманный на общественную погибель» (Тацит).

В руководимой им библиотеке служит некто Тобьезен-Дюби. Он-то, после убийства Марата, чью

память Шамфор якобы оскорбил, и доносит на своего начальника: «Во имя Республики никаких полумер! Сотрите в порошок этих людей, недостойных иной участи, и пусть патриоты радуются при виде своих врагов, поверженных во прах». На беду в те же дни Шамфор имел неосторожность отвергнуть предложение одного из тогдашних временщиков — Эро де Сешеля — написать что-нибудь позабористей против свободы слова. Это было крайне неразумно, крайне несвоевременно (Шамфор был вообще удивительно *несвоевременный* человек!), ибо Республика как раз объявляла войну творческой анархии. (В частности, «творческие работники», во избежание крупных неприятностей, обязывались представлять, под расписку, два экземпляра своих «изделий» в Национальную библиотеку.) И, вместе с группой других лиц, 21 июля 1793 года Шамфора отправили в тюрьму Мадлонет.

Историк Парижа Ги де Ля Батю писал («Мостовые Парижа. Иллюстрированный путеводитель по революционному Парижу») <sup>26</sup>, что во времена монархии это был монастырь, куда помещали, по так называемой «летр де каше» (королевский ордер на арест и заточение без суда и следствия), распутных женщин. Но революция сразу же ощутила острую нехватку казематов и, после «добровольного» (по хитроумному предложению Талейрана) отчуждения в пользу «нации» церковных имуществ, превратила в 1793 году монастырь в политическую тюрьму. С заключенными там обращались столь скверно, что Шамфор, потрясенный увиденным и пережитым, серьезно заболел. Из уважения к его былым заслугам перед революцией его выпустили через несколько дней — террор только еще набирал силу. Но к нему и к его знакомым (арестованным и тоже выпущенным на волю) приставили жандарма, коего, по обычаям времени, велели самим содержать...

Несмотря на публичную отповедь доносчику,

гражданская участь Шамфора была решена. 16 августа 1793 года Комитет общественной безопасности принял постановление, в котором, в частности, говорилось:

«Заслушав чтение обвинений против граждан сотрудников Национальной библиотеки, Комитет общественной безопасности... постановляет, что министру внутренних дел будет предложено назначить на места служащих Национальной библиотеки (из которых он оставил пока только гражданина Тобьежена-Дюби) граждан, чей патриотизм будет засвидетельствован»<sup>27</sup>.

Шамфор остался без средств к существованию, в ожидании нового неминуемого ареста. Своим друзьям он говорил, что должен либо видеть небо, либо умереть: он свободный человек и, живым, ни за что не вернется в тюрьму. Через месяц, в тот момент, когда к нему явились вновь с ордером на арест, он попросил разрешения выйти в другую комнату. Услышали выстрел... Но это было не всё. Женгене вспоминал позднее рассказ Шамфора:

«Я пробуравил себе глаз и переносицу, вместо того, чтобы размозжить череп, потом искромсал горло, вместо того, чтобы его перерезать, и расцарапал грудь, вместо того, чтобы ее пронзить. Наконец, я вспомнил Сенеку и в честь Сенеки решил вскрыть себе вены. Но он был богат, к его услугам было всё: горячая ванна, любые удобства, а я бедняк, ничего такого у меня нет. Я причинил себе чудовищную боль — и без всякого прока. Впрочем, пуля у меня по-прежнему в черепе, а это главное. Немногим раньше, немногим позже — вот и всё»<sup>28</sup>.

Сохранился поразительный документ — «завещание Шамфора», составленное им тотчас после вышеописанной попытки самоубийства, в здравом уме и твердой памяти:

«Я, Себастьян-Рок Никола Шамфор, заявляю, что предпочитаю умереть свободным человеком, чем рабом отправиться в арестный дом; заявляю также, что если меня, в моем теперешнем состоянии, попытаются потащить туда, у меня еще останется сил успешно завершить то, что я начал. Я свободный человек. Никогда меня не заставят живым войти в тюрьму»<sup>29</sup>.

Все думали, что это конец, но на этот раз Шамфор победил смерть. И всё началось снова, как в дур-

ном водевиле, — к нему опять приставили жандарма. Шамфор перебрался на более дешевую квартирку — на улице Шабане. Он болел. Сделали неудачную операцию. Но физические и, главное, душевные раны всё равно сделали бы свое дело. Спустя несколько месяцев, 13 апреля 1794 года «твердый Шамфор» (по краткому и точному, как всегда, определению Пушкина<sup>30</sup>, который не раз и с уважением называл его имя) скончался. Ему было пятьдесят три года. И только трое осмелились сопровождать гроб человека, попавшего в немилость к революции, — Женгене, Сийес и Ван-Прат...

Пушкин правильно понял суть характера Шамфора, в силу которого этот удивительный человек был обречен. Недаром перед смертью он сказал Сийесу: «Мой друг, я уйду, наконец, из этого мира, где человеческое сердце должно или разорваться, или оледенеть».

Авторы статьи о Шамфоре (в цитируемом мною единственном советском издании его сочинений, серия «Литературные памятники») справедливо говорят, что нам Шамфор ближе своих предшественников — моралистов XVII века — Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера, — поскольку он жил в кризисную эпоху и был человеком кризисного мироощущения. Они также честно и смело (по советским условиям), рискуя быть обвиненными в проведении исторических (скрытых!) аналогий, подчеркивают, что на первое французское издание книги Шамфора в 1795 году (составленной из сохранившихся — большинство было, по-видимому, конфисковано и исчезло — рукописей писателя) обрушились как справа, так и слева. Слева — за то, что он «не принял террора и не только во всеуслышание заявлял об этом, но и смертью своей подтвердил отказ примириться с ним»...

В предисловии к одному из французских изданий «Максим и мыслей» (1944 г.) А. Камю писал:

«И в целом, и в деталях я не знаю более трагической и более закономерной судьбы, чем судьба Шамфора... У него была слишком большая тяга к идеальной справедливости, чтобы примириться с несправедливостью, неотделимой от всякого деяния. Его ждало поражение. Человеку, которого, подобно Шамфору, манит абсолютом, и который не способен от него освободиться людскими средствами, остается лишь умереть. Именно это он и сделал, но при обстоятельствах столь ужасных, что лишь они и могут представить точный масштаб этой нравственной трагедии: она завершается «бойней»<sup>31</sup>...

Склонность к «крайностям», к максимализму, — говорит Камю, — это и есть склонность к морали, к высшей моральности «посреди потрясенного мира, где ежедневно десятки голов скатывались на дно корзины». Мораль для Шамфора была личной страстью, которая закономерно привела его к смерти.

«Даже в своем самом крайнем отрицании Шамфор всегда принимал сторону побежденных. Если он и вредил, то лишь самому себе, причем из высших соображений... И он, и Ницше (который его так любил) доказали, что приключения разума в поисках высшей справедливости могут быть столь же «кровавы», как и великие завоевания... Это урок и для нас, и для нашего мира»<sup>32</sup>.

## 9

Обозревая поле деятельности Конвента, Наполеон высказал мысль, хорошо усвоенную последующими диктаторами разных стран: «Массовые преступления не вменяемы». В самом деле, кому *персонально* можно было вменить эти преступления? Глупо же, как поступают иные, сваливать всё на Робеспьера или Марата, Дантона или Кутона. Все они стремились уйти от личной ответственности, перекладывая ее на многоголовую гидру Конвента. В свою очередь, любой из рядовых «представителей народа» считал себя лишь анонимным исполнителем воли «начальства» — Зло любит быть анонимным.

«Подобными аргументами, — писал уже в наши дни творец кибернетики Норберт Винер, — искусно оперировала защита Эйхма-

на. Из таких же мотивов исходят и те, кто раздает одним солдатам, исполняющим приговор о расстреле, боевые патроны, а другим — холостые, с тем, чтобы каждый солдат так никогда и не узнал, участвовал ли он в убийстве»<sup>33</sup>.

Ответственны все — и авторы, и исполнители, и теоретики, и практики. Ответствен и Руссо, хотя его наверняка «ужаснули бы деяния Робеспьера и революционный террор» (Н. Бердяев. «Духи русской революции»). Ответственны и Робеспьер (который читал или слышал слова Паскаля о том, что «истина не может управлять посредством насилия»), и парижский палач Сансон, который наверняка ничего не читал...

«Всякая диктатура, — писал в своей книге «Преступная толпа» известный социолог С. Сигеле (наряду с Г. Лебоном, он говорил об «эре толпы» и «массовой психологии» задолго до Ортеги-и-Гассета), — по необходимости приводит к деспотизму и несправедливости, так как тот, кто имеет возможность сделать всё, на всё решается. Это считается психологическим законом»<sup>34</sup>.

«Неожиданное всемогущество и безнаказанность за убийство, — вторит ему Тэн, — чересчур крепкое вино для человеческой головы: головокружение наступает быстро, перед глазами появляются красные круги и в исступлении человек доходит до жестокости»<sup>35</sup>.

Те, кто открыл ящик Пандоры и выпустил на волю фурий ненависти и страха, дошли до крайности в июне — по революционному календарю в прериале — 1794 года.

Происшедшее было особенно страшно и непонятно по контрасту с недавним пышным празднеством 20 июня на Марсовом поле, когда толпы народа чествовали Верховное Существо и его главного жреца — Робеспьера. Туманную идею этого «заменителя» старого Бога он нашел у своего духовного учителя Руссо. Преодолевая глухое раздражение «атеистического» Конвента, он пытался разъяснить, что его интересует не богословская, а прагматическая сторона дела. С изумительной непосредственностью этот чувствительный ученик Руссо заявил: «...в глазах законодателя

истиной является всё то, что оказывается полезным в жизни и хорошим на практике» (знакомые интонации!)... Не называя имени Вольтера, он предлагал «выдумать Бога» для вящей пользы «страждущего человечества», как опоры добродетели... Ибо он был дьявольски добродетелен — Неподкупный. Но, увы: «Из всех пороков, которые могут погубить государственного человека, самый пагубный — это добродетель; она толкает на преступления» (Анатоль Франс. «Восстание ангелов»).

Тот же Франс (когда он еще не был коммунистом) прекрасно изобразил подобный психологический феномен в образе якобинца — художника Гамелена («Боги жаждут»). Совсем в духе Достоевского он провел тонкую художественную параллель между фанатиком-якобинцем и инквизитором.

«Я взял инквизитора, передел его и переместил в другую эпоху — и получил Гамелена. Когда я совершил такую подмену, я был поражен почти полным совпадением характеров», — говорил писатель о своем герое<sup>36</sup>. Гамелен, этот инквизитор во фригийском колпаке, «начинал постигать метафизику революции, подымавшую его разум над грубою случайностью, над ошибками чувства, в область абсолютной уверенности... Факты настолько сложны, что в них теряешься. Робеспьер делал их для него более простыми, показывал ему добро и зло в формулах простых и ясных».

Этот «большевик» образца 1793 года утешает свою мать такими словами: «Что значат наши временные лишения и страдания? Революция создает на целые века счастье человеческого рода!»

Подобно своему духовному наставнику, он полагает, что служит счастьем человечества, и служит так усердно, что даже в глазах собственной любящей матери становится чудовищем. Словно Ореста, образ которого он пытается запечатлеть на полотне, его терзают фурии.

И подобно Робеспьеру, он ищет опоры у Руссо. «О, добродетельный человек, — мысленно взывает он к Жан-Жаку, — вдохни в меня вместе с любовью к

людям пылкое усердие к их возрождению!» (хотя сам Жан-Жак, как говорилось, наверняка в ужасе отшатнулся бы от таких ретивых «учеников»).

Рвение судьи революционно-инквизиционного трибунала Гамелена приводит его (как и Робеспьера) к полному внутреннему опустошению и отчуждению от человечества, от живой жизни: «Я проклят. Я сам поставил себя вне человечества — и возвращение невозможно...» — сознает он свою обреченность. (В этом романе, сокрушается Краткая Литературная Энциклопедия, Франс утверждает пессимистическую идею «обреченности всякой революции»...)

Обычная ироническая усмешка исчезает с лица писателя, когда он пишет об этом диалектически закономерном конце инквизитора от революции:

«Женщины, узнавшие Гамелена, ему кричали:

— Кровопийца! Убийца за восемнадцать франков поденно!.. Он уже больше не смеется. Смотрите, как он бледен, подлец!

Это были те же женщины, которые некогда посылали ругательства вслед заговорщикам и аристократам, изуверам и невинным, которых Гамелен и его коллеги посылали на гильотину»...

(Десять лет спустя, совсем по-франсовски, обрисовал Неподкупного и его адептов русский писатель М. Алданов (роман «Девятое термидора»), свидетель якобинского террора в его большевистской редакции...)

Но пока они жили, «боги» жаждали крови...

Через два дня, после торжеств в честь Верховного Существа, 22 июня 1794 года в Конvente Робеспьер, через свой рупор — Кутона, провозглашает проект декрета, который даже советский панегирист А. Левандовский считает страшным и непонятным. По словам Кутона, сроком для наказания врагов «должно быть лишь время, нужное, чтобы узнать их: дело идет не столько о наказании, сколько об истреблении...»<sup>37</sup> Конечно, всякое сравнение хромает, но, читая следующий пассаж из уже упомянутой книги



Левандовского, советский читатель не мог не думать о повторяемости истории:

«Революционный трибунал подлежал реорганизации. Количество присяжных сокращалось, институт защитников упразднялся. Отменялся и предварительный допрос обвиняемых: мерилом для вынесения приговоров считалась «совесть судей, руководствующая любовью к отечеству» (читай: «революционное правосознание». — В. Ч.). Революционный трибунал должен был судить врагов народа и мог устанавливать единственный вид наказания: смертную казнь. Понятие «враг народа» толковалось весьма расширительно. В эту категорию зачислялись не только люди, обличенные в государственных преступлениях, — изменники родины, роялисты, скупщики, спекулянты, но также и распространители ложных известий и слухов, развратители нравов и общественной совести, то есть преступники, виновные в делах не слишком определенных, под категорию которых подводилось всё, что было угодно лицам, использующим данный закон»<sup>38</sup>.

Конвент пришел в ужас, но Робеспьер потребовал немедленного утверждения проекта, что и было сделано, однако, борьба продолжалась в самом Комитете общественного спасения, большинство которого резонно испугалось за собственную жизнь. Тем не менее закон утвердили. Может быть, потому, что творец декрета тем самым сыграл на руку всем недовольным, всем своим противникам, и предуготовил Девятое термидора — собственную гибель...

«Наступало царство «святой гильотины», — пишет словно о виденном и пережитом (что для советского человека неудивительно!) Левандовский. — Головы скатывались к подножию эшафота, как спелые плоды. За сорок пять дней, начиная с 23 прериала, Революционный трибунал вынес 1350 смертных приговоров — почти столько же, как за пятнадцать предшествующих месяцев... На всю процедуру — от ареста до казни — уходило менее полусуток!.. Очень часто к одному и тому же делу привлекали обвиняемых, которые даже не знали друг друга. Шпионы в тюрьмах, подслушав какие-нибудь неосторожные слова, составляли наобум списки мнимых заговорщиков... Но как ни быстро опорожнялись тюрьмы, поставляя жертвы эшафоту, наполнялись они еще быстрее. К 23 прериала в Париже был 7321 заключенный, полтора месяца спустя их стало 7800»<sup>39</sup>...

Обильная жатва, даже для тех, почти патриархальных времен! Левандовский вынужден признать, что «прериальский закон ударил не по тем, против кого он предназначался». Сплошь и рядом «заговорщиками» оказывались ни в чем не повинные люди — старики, женщины, даже дети. Если кто «согрешил» (хотя бы в инакомыслии), а потом и «покаялся», — всё равно: меч сек и повинную голову...

«Заговоры» были нужны, и их выдумывали. К числу таких грандиозных кровавых блефов относится и «заговор иностранцев», или так называемое дело «красных рубашек», открывшее недолгую, к счастью, эру Великого якобинского террора... К его «участникам» и применили успешно закон от 22 прериала...

Собственно, поводом к его принятию послужили два события, происшедшие еще четвертого числа того же месяца. Некий конторщик по фамилии Адмираль, подсланный действительным (закулисным) заговорщиком, связанным с иностранцами, бароном де Батцом, пытался совершить покушение на Колло д'Эрбуа. В тот же день двадцатилетняя девушка Сесиль Рено явилась в дом слесаря Дюпле, на улице Сент-Оноре, где жил Робеспьер, чтобы «посмотреть, как выглядит тиран». Ее задержали; при ней обнаружили два ножа...

Тогда-то и решили подготовить «показательный процесс», создав «амальгаму», то есть к двум действительным «преступникам» присоединить кучу вымышленных. В их числе — молоденькая портниха Николь, носившая в тюрьму передачи арестованной актрисе Гранмэзон (любовнице Батца); любовница Адмирала — Ламартиньер; некая дама Лемуан-Креси, которая, как говорят, при известии о «покушении» издала радостное восклицание; ее слуга Портбеф, который поддержал ее словами: «Тем лучше»; консьерж

учреждения, где служил Адмиралъ, Педавуан, который случайно встретил его на улице, незадолго до покушения... К «делу» пристегнули одного аббата, одного банкира, нескольких знатных лиц, в глаза не выдавших никого из заговорщиков, и среди них — мать, дочь (с мужем) и сына Сент-Амарант — всего пятьдесят четыре человека... 29 прериаля всех их приговорили к смерти...

В последний момент перед отправкой на эшафот Фукье-Тенвиль придумал обрядить их в красные рубахи, ибо они покушались на жизнь представителей народа во главе с Робеспьером. А это приравнялось к «отцеубийству»...

Глядя на жуткую процессию смертников, член Комитета общественной безопасности Вулан произнес «крылатые слова»:

«Идемте к алтарю, насладимся красной мессой»...

К семи часам вечера смертников доставили к площади Поверженного трона (вместо площади Революции), чтобы, для устрашения пролетариев, провезти через рабочее Сент-Антуанское предместье. Первой гильотинировали Сесиль Рено. Госпожа Сент-Амарант тщетно умоляла, чтобы ее казнили раньше, чем она увидит гибель своих детей...

В своей «Истории французской революции» Мишле рассказывает, что некий гражданин атлетического сложения, стоя в нескольких шагах от гильотины, равнодушно взирал на бойню. Но когда семнадцатилетняя Николь взошла на эшафот, сама легла на плаху и совсем по-детски спросила Сансона: «Так хорошо, господин палач?» — «атлет» без чувств рухнул на землю...

«Красная месса»; «постыдное дело Катерины Тео» (выражение Левандовского) — старухи-гадалки, прославлявшей Робеспьера как нового мессию и якобы бывшей в связи с заграницей; драконовские законы против рабочих (закон о так называемом максимуме,

приведший к исчезновению с рынка основных продуктов питания; закон о забастовках, запрещавший всякое объединение рабочих и жестоко карающий «смутьянов») и многое другое — именно всё это заставило «простой народ» вконец отшатнуться от Робеспьера и лишить его своей поддержки в роковой для него день девятого термидора. Франция устала от бессмысленных казней.

Но бесспорно и то, что Робеспьера погубил также его «дилетантизм». Об этом метко и остроумно сказал А. Авторханов в своей последней книге «Загадка смерти Сталина», дав сравнительную оценку стратегии и тактики двух диктаторов — Робеспьера и Сталина (в пользу последнего!):

«Робеспьер посылал на эшафот лишь отдельные группы из Конвента, великодушно оберегая сам Конвент, но тогда Конвент послал его туда же. Сталин, как диктатор, поступил более разумно: разделившись со своими ультраревOLUTIONными эбeртистами (гроцкистами) и правооппортунистическими дантонистами (бухаринцами) при помощи большевистского Конвента, Сталин послал, под конец, на эшафот и этот слепо преданный ему Конвент — ЦК 1934 года»<sup>40</sup>.

## 10

Между тем единожды заведенная машина работала, и еще накануне падения тирана гильотина собирала свою последнюю кровавую жатву. Так, за два дня до «конца» казнили (согласно предсказанию Казота) поэта Руше и вместе с ним — Андре Шенье. В примечаниях к стихотворению, посвященному его памяти, Пушкин приводит по-французски свидетельство А. де Латуша об их последних минутах:

«В эти последние минуты они говорили о поэзии: после дружбы это была для них самая прекрасная вещь на земле. Расин был предметом их беседы и последнего увлечения. Им хотелось читать его стихи. Они выбрали первую сцену из «Андромахи»<sup>41</sup>...

Только единицы из тех, кто в разное время попал в проскрипционные списки новоявленного Суллы, счастливо избегнули казни; в их числе были: Бомарше, осмеявший «старый режим» устами своего Фигаро; автор «Приключений шевалье де Фобласа» — Луве де Кувре и маркиз де Сад.

Несмотря на то, что Добродетельный преследовал тех, кто покушался на общественную нравственность, человек, породивший понятие «садизм» (как Захер-Мазох породил понятие «мазохизм»), стал в августе 1793 года председателем парижской секции Пик — была и такая! (Следует добавить, что вскоре после начала Революции он был выпущен... из сумасшедшего дома Шарантон, подтверждая тем самым некоторые наблюдения Ломброзо о связи между «политической преступностью» и душевным расстройством.) Однако в декабре 1793 года его арестовали за «умеренность» и отправили в тюрьму. В списке Фукье-Тенвиля, подготовленном 8 термидора, он фигурировал на втором месте — как верный кандидат на гильотину. Но — перст судьбы! — судебный исполнитель тщетно колесил по тюрьмам в поисках де Сада: его перевели в очередную, а тут настало Девятое и было не до него...

Полиция Консульства оказалась не менее «целомудренной», чем монархическая: автора «Жюстины» упекли снова в острог, но в итоге опять перевели в Шарантон, где ему дозволили устраивать публичные театральные представления (на этой основе Петер Вайс написал свою известную пьесу «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, показанные театральной труппой психиатрической больницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада»)...

Он умер в 1814 году, проведя «за решеткой» (как сказано в Краткой Литературной Энциклопедии, «за убийства на сексуальной почве») в общей сложности 30 лет...

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Я рассказал вкратце о некоторых лицах и фактах, желая напомнить об одном историческом прецеденте — о прошлом, которое, при всей своей неповторимости, во многом напоминает настоящее и которое «при благоприятных обстоятельствах» может стать будущим...

Мрачным подтверждением этому могут служить слова Ромена Роллана из его статьи «Неизбежность революции 1789 года»:

«Революция 1789 года была остановлена на полпути. Необходимо, по примеру наших товарищей из СССР, сделать так, чтобы она двинулась вперед во всем мире, пока все ее великие обещания не будут выполнены и социальная справедливость не будет установлена»<sup>42</sup>.

Приводя эти, совсем свежие тогда слова Роллана в своем предисловии к отдельному советскому изданию драмы «Робеспьер», вышедшей в свет в дни 150-летия французской революции, официальный советский литературовед И. Анисимов заключал:

«Этот юбилей с остервенением ненависти встречает фашистская пресса. Этот юбилей французская реакция старается испакостить открыто контрреволюционной клеветой и либеральными фразами. Великий французский писатель, передовой французский демократ Роллан возвышает в эти дни свой голос в защиту того «великого, неискоренимого, незабываемого, что дали якобинцы XVIII века» (слова Ленина). Он прекрасно понимает, что историческое наследие якобинской диктатуры французский народ должен блюсти не только как историческую реликвию, но и как свое боевое знамя. Он прекрасно понимает также, что нигде не будет так искренне праздноваться этот юбилей, что нигде так полно и глубоко не будет понято значение Французской революции 1789-94 гг., как в стране победившего социализма, в СССР»<sup>43</sup>.

Что правда, то правда... Нигде не мог быть *так* понят этот юбилей, как в СССР 1939 года, после только что успешно завершившегося Великого террора. Нигде не могли с *таким* сочувствием воспринять

образы «рыцарей революции», людей, «беззаветно преданных народу» — Робеспьера, Сен-Жюста, Леба и Кутона, особенно последнего, с его блестящим афоризмом: «Террор нужно убивать террором»...

С тех пор число таких «сочувствующих», даже с поправкой на общественное лицемерие, в СССР сильно поубавилось. К сожалению, по закону сохранения энергии, это число значительно возросло на Западе. Не хотелось бы, чтобы убавление произошло после событий, аналогичных тем, что случились в СССР, а в более отдаленном прошлом — во Франции, где кровавые действия народа, выровняли, по выражению Маркса, дорогу буржуазии, где террор послужил к тому, «чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»<sup>44</sup>.

Что если теперь якобинско-коммунистический террор послужит к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все *буржуазные* руины с лица Франции, или Италии, или других пока еще свободных стран?.. Террор на уровне атомно-тоталитарного века?.. По примеру «наших товарищей из СССР»?.. Ведь дурные примеры заразительны. Только вряд ли утешит тогда кого-нибудь горделивый предсмертный возглас нового Дантона: «Лучше самому погибнуть на гильотине, чем посылать на нее других!»

## БИБЛИОГРАФИЯ

<sup>1</sup>Ch. Wever. Textes Français. Paris, 1924.

<sup>2</sup>Е. В. Тарле. Талейран. М., Изд. Академии наук СССР, 1962, стр. 28-29.

<sup>3</sup>«Histoire des Girondins» par A. de Lamartine. Paris, 1847; t. 8, l. 56, p. 124.

<sup>4</sup>Виктор Гюго. Девяносто третий год. М., 1953, стр. 385.

<sup>5</sup>Там же, стр. 390.

- <sup>6</sup>Dictionnaire de la conversation et de la lecture, t. 63. Paris, 1849.
- <sup>7</sup>Виктор Гюго. Девяносто третий год. М., 1953, стр. 162.
- <sup>8</sup>«Histoire des Girondins» par A. de Lamartine, t. 6, 1.45, p. 341.
- <sup>9</sup>Ibid., p. 342.
- <sup>10</sup>А. Левандовский. Робеспьер. М., «Молодая гвардия», 1965, стр. 170.
- <sup>11</sup>Там же, стр. 171.
- <sup>12</sup>Там же, стр. 172.
- <sup>13</sup>Там же, стр. 176.
- <sup>14</sup>Галина Серебрякова. Женщины эпохи французской революции. М., Гос. изд-во художественной литературы, 1958, стр. 69.
- <sup>15</sup>Там же, стр. 74.
- <sup>16</sup>Стендаль. Собр. соч. в 15 томах. М., изд-во «Правда», 1959; т. X, стр. 417.
- <sup>17</sup>Крейн Бринтон. Истоки современного мира (История западной мысли). Пер. с англ. Roma, 1971, стр. 233.
- <sup>18</sup>Там же, стр. 234.
- <sup>19</sup>«Histoire des Girondins» par A. de Lamartine, t.8, 1.56, p. 108-114.
- <sup>20</sup>Здесь и далее цит. по книге: Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.-Л., изд-во «Наука», 1966.
- <sup>21</sup>Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., Гослитиздат, 1948, стр. 230.
- <sup>22</sup>Там же, стр. 233.
- <sup>23</sup>Там же, стр. 245.
- <sup>24</sup>Там же, стр. 22.
- <sup>25</sup>Гюстав Флобер. Избранные сочинения. М., Гос. изд-во художественной литературы, 1947, стр. 611.
- <sup>26</sup>Guy de La Batut. Les pavées de Paris, t. 1. Paris, 1937.
- <sup>27</sup>Ibid.
- <sup>28</sup>Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.-Л., изд-во «Наука», 1966, стр. 250.
- <sup>29</sup>Там же.
- <sup>30</sup>А. С. Пушкин. Полное собр. соч. М.-Л., т. XI, 1949, стр. 171.
- <sup>31</sup>Цит. по книге: Chamfort. Maximes et pensées. Caractères et anecdotes. Paris, ed. Gallimard, 1965.
- <sup>32</sup>Ibid.
- <sup>33</sup>Норберт Винер. Творец и робот. М., 1966, стр. 65.
- <sup>34</sup>С. Сигеле. Преступная толпа. СПб., 1893, стр. 63.
- <sup>35</sup>Там же.
- <sup>36</sup>Здесь и далее цит. по книге: Валентина Дынник. Анатолий Франс. М.-Л., 1934.
- <sup>37</sup>А. Левандовский. Робеспьер. М., 1965, стр. 246.
- <sup>38</sup>Там же.
- <sup>39</sup>Там же, стр. 256.



- <sup>40</sup>А. Авторханов. Загадка смерти Сталина. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1976, стр. 5.
- <sup>41</sup>А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в десяти томах. М., 1956; т. 2, стр. 264.
- <sup>42</sup>Цит. по книге: Ромэн Роллан. Робеспьер. М., 1939, стр. 11.
- <sup>43</sup>Там же, стр. 12.
- <sup>44</sup>Там же, стр. 8-9.

## Библиография

### РОМАН ЯКОБСОН О МАЯКОВСКОМ

«...Я только стих,  
Я только душа...»

В. Маяковский

В конце минувшего года научные круги Запада широко отмечали 80-летие со дня рождения выдающегося лингвиста и литературоведа, профессора Гарвардского университета Романа Осиповича Яacobсона. Его огромных научных заслуг не в состоянии отрицать даже в СССР, о чем свидетельствует хотя бы посвященная ему био-библиографическая справка в 8-м томе Краткой Литературной Энциклопедии. Как явствует из этой же справки, Яacobсон в 1921 г. выехал в Прагу в составе постпредства РСФСР и стал невозвращенцем.

Еще на родине он сблизился с Маяковским и сохранил с ним тесные дружеские отношения и будучи за рубежом. Об этом, к примеру, говорят и строки из стихотворения Маяковского (1926) «Товарищу Нетте...» (герой которого «напролет болтал о Ромке Яacobсоне / и смешно потел, стихи уча»), и отправленная в Москву, Лиле Брик, совместная телеграмма (19. 4. 1927): «Целуем. Прага Вацлавска 22 отель Джулиус. *Счен Рома*». (*Счен* — *щен*, *щенок* — шутливая подпись Маяковского; *Рома* — Роман Яacobсон)...

---

«Смерть Владимира Маяковского». Роман Яacobсон. — Д.Святополк-Мирский, 1975. Mouton. The Hague — Paris.

Статья Святополка-Мирского (в начале 30-х гг. вернулся в СССР, был репрессирован и погиб в лагере), представляющая собой образчик «классового», вульгарно-социологического подхода к литературе, остается вне поля нашего рассмотрения. — В. В.

14 апреля 1930 года Маяковский застрелился, а уже в мае-июне Jakobson пишет свою знаменитую статью «О поколении, растратившем своих поэтов». Таким образом, статья Jakobsona, давно ставшая библиографической редкостью, вновь возвращается к своему читателю (к сожалению, только к западному).

Статья, построенная по типу кольцевого обрамления, начинается и завершается думой о поколении, поколении 30 — 45-летних, тех, «кто вошел в годы революции уже оформленным..., но еще не окостенелым, еще способным переживать и преображаться...»

Напоминая о том, что Блок был «первой поэтической любовью» этого поколения, Хлебников подарил ему «новый эпос», Гумилев придал новой поэзии «характерный обертон», в стихах Есенина — «лирическая оглядка назад», «уставание поколения», Jakobson говорит, что Маяковский «воплотил в себе лирическую стихию» его...

Эти имена, по мысли Jakobsona, определили поэзию после 1910 года (поэзию Пастернака и Мандельштама, при всех ее достоинствах, Jakobson причисляет к камерной, считая, что от нее «не зажжется новое творчество»)...

И вот, точно моровое поветрие, — в течение считанных лет смят цвет русской поэзии: «Расстрел Гумилева (1880-1921), жестокие мучения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885-1922), обдуманное самоубийство Есенина (1895-1925) и Маяковского (1894-1930)». Поистине сейсмическая катастрофа! С короткими интервалами «гибнут, в возрасте от тридцати до сорока, вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности, в своей длительности и четкости нестерпимое». Jakobson справедливо подчеркивает, что погибли поэты не только сами убившие себя, но и Блок, и Хлебников. В этой связи он приводит слова Замятина Горькому: «Блок умер, этого нельзя нам всем простить», а также слова

Шкловского (после смерти Хлебникова): «Прости нас за себя и за других, которых мы убьем...» (ср. эпитафия к статье Якобсона — из Маяковского:

Убиты; —  
и всё равно мне,  
я или он их  
убил...)

Словно злой рок тяготеет над русской поэзией! Она «знала две эпохи яркого расцвета: начало XIX и текущего века. И в первый раз эпилогом также была массовая ранняя гибель поэтов»: достаточно вспомнить имена Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Веневитинова и др. Что стало бы с творчеством Шиллера, Гофмана, Гейне, не говоря уже о Гёте, восклицает Якобсон, если бы они сошли со сцены столь рано...

Говоря о Маяковском (которому посвящена бо́льшая часть статьи), Якобсон с горечью напоминает, что свой «поединок с бытом сам Маяковский сближал с дуэлями Пушкина и Лермонтова (как он писал о поэтах, «...ты враг наш столетний. / Один уж такой попался — / Гусар!» — В. В.). Много схожего и в реакции общества обеих эпох на эти досрочные утраты». И развивая свою мысль, Якобсон добавляет: «Кажется, история русской поэзии нашего века еще раз сплагатирует и превзойдет историю XIX-го: «Близилась роковые сороковые годы (ср. самойловское: «Сороковые, роковые ...» — В. В.). Годы тягучей поэтической летаргии...»

Поистине пророческие слова!..

В чем же причина случившегося? Якобсон дает точный, афористический ответ: «Есть страны, где женщине целуют руку, и страны, где только говорят «целую руку». Есть страны, где на теорию марксизма отвечают практикой ленинизма, страны, где безумство храбрых, костер веры и Голгофа поэта — не только фигуральные выражения...» По словам Якобсона, «особенность России не столько в том, что

сегодня трагически перевелись ее великие поэты, как в том, что только что они еще были...»

Был, например, Маяковский...

Говоря о его поэзии, Яacobсон полемизирует с теми, кто всегда отмечал слитность творчества поэта с революцией, но как бы не замечал неразрывности другого «мотива»: *революции и гибели поэта*. В этом плане жизнь Маяковского — по образному сравнению Яacobсона — подобна сценарию с трагедийным концом, сценарию, по которому поэт разыграл «фильм своей жизни». Подчеркивая на многочисленных примерах, что тема самоубийства, словно навязчивая мелодия, вновь и вновь возникает в поэзии Маяковского, Яacobсон справедливо указывает на *нелитературность* этого мотива. От ранних строк — «Всё чаще думаю — / не поставить ли лучше / точку пули в своем конце» («Флейта-позвоночник») — мотив этот, становясь всё настойчивей, уходит из творчества в жизнь: «Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет». (Из предсмертного письма).

Нельзя не согласиться и с другим верным наблюдением Яacobсона о знаменитых стихах «Сергею Есенину» (призванных «парализовать действие предсмертных есенинских стихов»). Маяковский, по словам Яacobсона, находит всего лишь «один довод за жизнь — она труднее смерти» (у Есенина: «В этой жизни умирать не ново, / но и жить, конечно, не новей»); у Маяковского: «В этой жизни / помереть не трудно. — / Сделать жизнь / значительно трудней»): «Весьма проблематичная пропаганда жизни», — с грустной иронией замечает Яacobсон.

Тем бо́льшую ярость вызывают у него «слагатели некрологов» — от Д. Бедного до А. Луначарского, который в своих надгробных речах словно нарочно пародировал небезызвестного героя «Бани» Победоносикова (в свою очередь, во многом пародировавшего

Анатолия Васильевича). «Соединить с этим обликом идею самоубийства невозможно», — возглашал нарком. По его просвещенному мнению, «жалко звучат» предсмертные строки Маяковского о любовной лодке, которая «разбилась о быт». И Якобсон приводит параллелизм:

*Победносиков:* «Мне на лодках кататься некогда... Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль».

*Луначарский:* «Мы знаем, что не на любовной лодке он плавал по нашим бурным морям, — он был капитаном на большом общественном корабле».

Все наперебой старались отмежеваться от «узко личной» трагедии поэта. «Чудно, — с убийственным сарказмом замечает Якобсон, — что определениями «случайное, личное» и т. п. на этот раз орудуют именно те, кто обычно проповедует строгий детерминизм, кто требует социологических объяснений». Нет, нельзя толковать о частном эпизоде, «когда действует закон больших чисел и в течение нескольких лет сметен весь цвет русской поэзии»...

Подводя баланс своему поколению, которое выступило слишком рано и которое не дождалось смены («Но кому я, к чёрту, попутчик? / Ни души не шагает рядом»), Якобсон пишет о том, что «судорога бесменного поколения оказалась не частной судьбой, а лицом нашего времени, задыханием истории». Совсем по-герценовски звучат слова: «Мы слишком порывисто и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен. Мы слишком жили будущим... и больше нет для нас самодовлеющей злобы дня, мы растеряли чувство настоящего... Будущее, оно тоже не наше... У нас были только захватывающие песни о будущем, и вдруг эти песни из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт. Когда певцы убиты, а песню волокут в музей, припиливают к вчерашнему дню, еще

опустошенной, сиротливой да неприкаянной становится это поколение, неимущее в доподлинном смысле слова»... Так заканчивается эта замечательная статья Якобсона...

Наша рецензия — лишь приглашение к чтению этой статьи, хотя мы понимаем, насколько это трудно в условиях нынешней России. Между тем, еще немало мыслей в статье Якобсона заслуживает внимания. Так, читая о борьбе поэта с бытом (он сам сказал: «По личным мотивам об общем быте»), борьбе, окончившейся катастрофой, — мы узнаём, что само понятие «быт» (как олицетворение косных устоев общежития, враждебных человеку и жизни) — уникально российское и неизвестно на Западе: «Ведь бунт личности против косных устоев общежития предполагает их наличие». А читая о вере поэта в «настоящие земные небеса», в бессмертие (почти по Н. Федорову), в будущее, «воскрешающее людей настоящего» (вспомните «Прощение на имя...» из поэмы «Про это» — «...Воскреси — свое дожить хочу!»); о его жажде «революции духа», «мирового раскрытия абсолютной полноты бытия» («Надо вырвать радость у грядущих дней»), — мы лишний раз задумываемся о неправоте хулителей и упростителей Маяковского, тех, кто любит наводить «хрестоматийный глянец». Ведь именно им адресованы такие строки Якобсона: «Сны Маяковского о будущем, вторящие версильской утопии, его гимн человекобожеству, богоборчество «тринадцатого апостола» (см. «Облако в штанах». — В. В.), его этическое неприятие Бога, — всё это куда ближе вчерашнему дню русской литературы, чем дежурному официальному безбожию. Не с катехизисом Ярославского связана и вера Маяковского в личное бессмертие»...

И мало кто так глубоко, как Якобсон, сказал об антиномии рационального и иррационального в творчестве Маяковского. Мотив утверждения иррационального (по Маяковскому, «внутренний источник» поэзии

сам по себе иррационален. См. «Как делать стихи?») прорывается еще в раннем стихотворении о звездах («Ведь если звезды / зажигают/ — значит — это кому-нибудь нужно?»). «Но основная иррациональная тема Маяковского, — говорит Якобсон, — любовь», любовь, которая «раздавлена бытом». Любовь не вычеркнуть, от нее никуда не деться...

Если Марс  
и на нем хоть один серделюдый,  
то и он  
сейчас  
скрипит  
про то ж.  
*(«Про это»)*

А если бы такое случилось и любовь «вычеркнули», то, по Маяковскому, осталась бы, «с одной стороны, сонная скука откровений — польза от кооперативов, вред от питья, политграмма Бердникова..., с другой стороны, — оголтелый хулиган планетарного масштаба (стихотворение «Тип»). Сатирическое заострение диалектической антиномии», — говорит Якобсон.

Чрезвычайно важно подчеркивание автором единства и неразрывности всего творчества Маяковского, его поэтической символики и мифологии: «Диалектическое развитие единой темы» («Поймите ж —/лицо у меня одно —/ оно лицо, а не флюгер»). Ведь и сейчас еще сплошь и рядом поэта делят на «плохого» и «хорошего», на «раннего» и «позднего». И посейчас еще сплошь и рядом «агитки» Маяковского заслоняют от многих трагедийно-лирическую суть его поэзии. И так же, как, по словам Якобсона, «плоски и мутны однозначные истолкования конца поэта», так же «нельзя свести к одному плану Маяковского-агитатора». Однако многим «легче поверить в благостность выигрышного займа и в замечательное качество сосок Моссель-



прома, чем в предел человеческого отчаяния, чем в пытку и полусмерть поэта. Поэма «Про это» — сплошной безысходнейший стон в столетия, но Москва слезам не верит...» — восклицает Якобсон...

Автор очень верно объясняет переход гениального поэта-новатора от элегической поэмы («Про это») к разработке неиспробованных жанров как «переход от безудержной лобовой атаки к изнурительной позиционной борьбе» с бытом, который «не прет в дверь», а «ползет из щелей».

Но, к несчастью, случилось так, что и на Западе, и на родине поэта многие проглядели именно трагедийно-лирическую суть поэзии Маяковского, увидев в нем лишь «барабанщика революции», «агитатора, горлана, главаря» (как некогда за «желтой кофтой» не увидели Человека)...

Проглядели и то, что он принес себя — как искупительную жертву — на алтарь будущего, «земной любви искупителем значась». Проглядели и то, что он погиб потому, что был честен, был искренен до конца. «Я с жизнью в расчете...» — так мог сказать только человек великой души!

... вам я  
душу вытащу,  
растопчу, чтоб большая! —  
и окровавленную дам как знамя.

*Но без великой души не бывает великого искусства.* Потому-то он и был Маяковским, что мог стать «на горло собственной песне» и — разуверившись в том, о чем пел, затравленный стаями чиновников, холоуев и бездарностей, затравленный всяческой дрянью, — поставить «точку пули в своем конце». И смертью своей искупить всё:

...за всех расплачусь,  
за всех расплачусь...

В. Володин

## Православное духовенство в эпоху «великих реформ»

Последний по времени крупный труд по истории Русской Церкви на русском языке — «Очерки по истории Русской Церкви» проф. А. В. Карташева — не охватывает XIX века. Можно сказать, что капитального исследования по второму и последнему веку «синодального периода» в истории Русской Церкви вообще нет ни в русской, ни в иностранной научной литературе. (Исключение составляет лишь выдающийся труд проф. прот. Г. Флоровского «Пути русского богословия», но он посвящен в значительной мере истории богословской мысли в России, а не истории Церкви в строгом смысле слова).

В лучшем случае намечены лишь веши для предстоящего исследования. Поэтому так необходимы и ценны монографии по отдельным вопросам, связанным с историей Русской Церкви в XIX веке. Заканчивая свои «Очерки» и говоря о XIX-ом веке, А. В. Карташев кратко указывает, что России и Русской Церкви в XIX веке предстояли «гигантские трудности преодоления таких органических дефектов, как крепостное право и сословное неравенство». Далее он пишет: «Русская Церковь, прожившая это столетие под режимом архаической формы неограниченной монархии, тоже, несмотря на все лишения и трудности, взошла на высшую ступень своего развития во всех отношениях». Приведенные цитаты выражают твердое убеждение моего покойного учителя, которое он неоднократно высказывал: XVIII и XIX века в истории Русской Церкви были, невзирая на бремя навязанного Церкви Петром синодально-бюрократического строя и вопреки ему, временем высокого творческого цветения: в святости, в миссионерстве, в развитии богословской науки.

Одной из малоисследованных сторон этого блестящего периода в истории Русской Церкви посвящена диссертация Ю. В. Освальт\*, а именно: тому, какие мысли и действия вызвали освобождение крестьян, и вообще эпохе «великих реформ» среди приходского духовенства. Автор исследования использовал не только всю научную литературу по этому вопросу, но, что особенно цен-

---

\* Julia Oswalt. Kirchliche Gemeinde und Bauernbefreiung. Soziales Reformdenken in der orthodoxen Gemeindegeistlichkeit Rußlands in der Ära Alexander II. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 1975.

но, церковную и прицерковную периодику того времени, как и публикации Духовных академий. Благодаря этому книга не только сообщает нам исторические факты, дотоле находившиеся в тени, но заставляет задуматься о многих вопросах, связанных со взаимоотношениями Церкви, государства и общества вообще. Автор верно отмечает, что все попытки реформ — в области приходской жизни, обеспечения духовенства, организации школ, развития социального служения Церкви — в конечном итоге разбились о косность тяжеловесного бюрократического аппарата самодержавной империи; один из самых трагических аспектов русской истории состоит в том, что *православная* монархия должна была умереть, чтобы Церковь могла обрести свободу от цепких рук государственной власти и упразднить экклезиологически и канонически порочный синодальный строй.

Но напрасными назвать эти попытки реформ отнюдь нельзя — прямая линия развития ведет от этих попыток к той работе, которая была проделана в Русской Церкви в смысле подготовки к Собору, который был созван в 1917 году. (Может быть, автор рецензируемой книги займется исследованием основных идей этой подготовительной работы?) Этот Собор обновил бытие Церкви прежде, чем новый, атеистический и бесконечно более жестокий абсолютизм советской власти обрушил на Церковь свои преследования и до предела поработил своим целям все стороны ее бытия.

Автор вполне закономерно говорит в начале книги о трагической судьбе архимандрита Федора Бухарева, этого верного сына Церкви и бесстрашного апологета творческой, христианской свободы: как его мысли, так и воздвигнутая против него травля как бы суммируют тему самого исследования. Слова травившего Бухарева Аскоченского, что всякий человек, «ратующий за Православие и протягивающий руку современной цивилизации — трус, ренегат и изменник», трагически перекликаются с недавним указом митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, который не только в угоду Куроедову, но, вероятно, и по собственному убеждению, осуждает как новшество какое-либо богослужбное употребление русского языка... В трагической истории России не только Бухареву, но и его последователям сто лет спустя, суждено было стать «слишком ранними предтечами слишком медленной весны»...

Существует литература — по преимуществу мемуарная — о социально-карикативной деятельности в лоне Русской Церкви в конце прошлого и в начале XX века (о. Иоанн Сергиев-Кронштадтский, Марфо-Мариинская обитель, созданная сестрой последней императрицы). Но рецензируемая книга подробно освещает попытки такой работы еще в шестидесятых годах прошлого ве-

ка. Хотелось бы знать, связывались ли эти попытки с мыслью об улучшении социальной структуры общества вообще, или же деятельность эта была исключительно каритативной? Этот вопрос необычайно актуален для судьбы христианства в мире вообще, особенно же для Русской Церкви.

Можно лишь пожалеть, что книга Ю. В. Освальт получит распространение лишь в сравнительно узком кругу немецких ученых-специалистов. Тематика этой книги, как и приводимые в ней факты, не могут не вызвать к себе интереса тех людей в современной России, которым близки судьбы Русской Церкви. Количество таких людей непрерывно растет. Хотелось бы увидеть хоть отдельные главы этой книги в русской печати.

*Прот. Кирилл Фотиев*

### КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ

Ян Каван, Ян Даниэл.

Социалистическая оппозиция в Чехословакии  
1973—1975. Подборка документов.

Лондон, 1976, «Overseas Publications Interchange LTD.»

Хотя в подзаголовке сборника стоит «Подборка документов», но этой подборке предпослано обширное «Введение» одного из редакторов сборника, Яна Кавана (написано совместно с Я. Даниэлом), занимающее почти треть книги. Это введение с полным основанием также можно считать документом, по ценности не уступающим другим в данной подборке. Ян Каван был студенческим деятелем, членом неформальной группы, известной под названием «Пражские радикалы», и близким сподвижником молодежного лидера Чехословакии времени «пражской весны» Йижи Мюллера. Во «Введении» дан обстоятельный обзор всех существующих групп, которые составляют сегодня «социалистическую оппозицию» в Чехословакии (точнее сказать, составляли в 1975 году) и представляют собой как бы продолжение «пражской весны» конца шестидесятых годов. Документально представлены пять направлений чехословацкой оппозиции: коммунистическая оппозиция (письма Дубчека, Смирковского, ныне покойного, проф. Шабата); студенческая оппозиция (Й. Мюллер, письма в его защиту) и ценный документ «Договор о сотрудничестве» (между студентами и рабочими). Все названные документы очень интересны в политическом и человеческом отношении, но наибольшую ценность, по нашему мнению, представляют документы двух других оппозиционных

направлений: Оппозиции рабочих и Народной оппозиции, ибо как раз об этих оппозиционных настроениях реже всего бывает возможность узнать, а главное, получить достоверную информацию.

Каждое из оппозиционных направлений представлено редакторами в кратких, предваряющих документы справках.

Рассматриваемый сборник документов о социалистической оппозиции в Чехословакии за последние годы, несомненно, представляет немалый исторический и познавательный интерес для всех, кому небезразличны судьбы народов Восточной Европы, независимо от того, разделяются или нет взгляды участников различных социалистических оппозиционных групп, представленных в данном сборнике. По-русски сборник вышел в очень хорошем переводе И. Хенкиной.

Морис Крэнстон.

Права человека. Документы о правах человека.  
Париж, 1975, «Editions de la Seine»

Книга Мориса Крэнстона вышла по-русски уже более года назад, но широкого обсуждения ее или откликов на нее в русскоязычной печати не последовало. Мы не знаем судьбу английского издания этой книги — она появилась в США еще в 1962 году (Maurice Cranston «What are Human rights?», Basic Books, Inc. N-Y). Для русского издания книга, видимо, была дополнена, т. к. в тексте есть упоминание уже о 1966 г.

Но независимо от того, как откликнулся на нее американский читатель, русское издание вышло как нельзя более своевременно. Это стало ясно особенно теперь, когда вопрос о правах человека выдвинут во главу важнейших мировых проблем и стал главным объектом межгосударственной политики.

Морис Крэнстон, судя по немногочисленным конкретным деталям, отлично знаком с такой международной организацией, как ООН. Во всяком случае, его рассуждения о правах человека ясно показывают, что с нами говорит не дилетант, а знаток международного права вообще и специалист по правам человека, в частности. Эти рассуждения лишены журналистического налета, а тем самым и свойственной почти всегда такому налету несколько дешевой полемичности.

Особенно интересным, с нашей точки зрения, представляется четкое разграничение неотъемлемых, неотчуждаемых прав любого человека от экономических и социальных прав. Это разграничение всё больше размывается в сознании современного человека. М. Крэнстон точно подметил, что «за годы существования ООН ее интерес

к политическим и гражданским правам уступил место заботе об экономических и социальных правах». И если в 1966 году обе категории, так сказать, получили равноправие в ООН, то сейчас, через десять лет, уже можно определенно сказать, что категория экономических и социальных прав утопила в себе гражданские и политические права. Во всяком случае, таково несомненное состояние, в котором находится сейчас ООН, что и сделало эту почтенную организацию совершенно бессмысленной и превратило ее в арену бесконечных словопрений.

Книга М. Крэнстона состоит из двух частей. В первой части, о которой мы говорили выше, излагаются взгляды автора на права человека. Вторая часть содержит перевод документов ООН о правах человека, но именно о гражданских и политических правах, за соблюдением которых во всем мире и призвана была бы, в первую очередь, следить Организация Объединенных Наций.

Валерий Чалидзе.

Уголовная Россия.

Издательство «Хроника», Нью-Йорк, 1977

В предисловии, с присущей автору аккуратностью, сразу перечислены возможные претензии, которые могли бы быть предъявлены к содержанию работы «на столь обширную и экзотическую тему». Столь же аккуратно перечислены все источники информации, использованные В. Чалидзе в его очерках об уголовной России.

Несомненно, что наиболее интересными частями книги являются «Вступление» (Русская уголовная традиция и Советская уголовная традиция), «Заключение» (Статистический детектив и Надежды) и два «Приложения» (О независимости советского суда и своего рода «документ»: Словарь воровского жаргона, 925 слов — пособие для оперативных и следственных работников милиции, Киев — 1964).

Что же касается того, что находится между «Вступлением» и «Заключением», то оно практически мало чем отличается от традиционного комментария к Уголовному кодексу, скажем, РСФСР, оно даже несколько сужено, возможно, сознательно, в целях исследования. Ибо уж если говорить о советской уголовной традиции, то для советского уголовного права «традиционно» считать и политические преступления уголовными; вообще политическая окраска отличает советское уголовное право от классического.

Представляется несколько излишним подчеркивание автором «уголовных наклонностей российского населения», на которых

«зидется собственно преступный его слой». Это следует, вероятно, отнести к категории «издержек», которые можно объяснить желанием автора уйти от так называемых социальных аспектов в область психологии нации.

Аналогично можно отметить, что среди множества по большей части правильных и справедливых выводов и утверждений вдруг появляются некоторые пассажи, которые скорее относятся к разряду неуместных и ведут к несколько риторическим обобщениям. Так, например, ссылка на горькие слова А. Солженицына: «Блатарей я не считаю за русских» — приводит сразу к обвинительному упреку автора: «Это очень легко, любя свою нацию, отделять от нее всё, что не нравится». Для В. Чалидзе российский уголовный мир является объектом научного исследования, и уже по одному этому он должен относиться к этому объекту с некоторой долей уважения. Хотя здесь лучше говорить не об уважении, конечно, а о серьезности выбранного для анализа объекта. Солженицын же — писатель, и его выражение может означать только то, что никогда уголовный мир не сделается объектом его «уважительного» художественного анализа. Хотя, с другой стороны, в несерьезности отношения к уголовному миру Солженицына никак нельзя упрекнуть, чему служит доказательством «Архипелаг». Не говоря уже о том главном, что за спиной Солженицына стоит жуткий опыт практического, а не на бумаге, общения с этим миром. Если же следовать авторской логике, то следующая цитата из Солженицына о «самосудах» наводит на совсем уж странные выводы в аспекте «преступных склонностей российского населения». Всё это — несколько сомнительные приемы доказательной системы. Хорошо, что их не очень много.

Если же оставить в стороне наши небольшие претензии, то новая работа В. Чалидзе «Уголовная Россия» безусловно интересна. Особенно — как первая смелая попытка осветить российский уголовный мир вчера и сегодня, что даже в очерковом виде очень ценно.

## КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

После выхода сотого номера журнала был выпущен специальный сборник:

### ГРАНИ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА с № 1 по № 100 1946—1976

с приложением содержания всех самиздатовских журналов и сборников, напечатанных в ГРАНЯХ, именного указателя авторов и тематического указателя.

Тираж ограниченный. 146 стр.

Цена 30 н. м. = 14 дол.

В связи с этим, а также в результате рассылки соответствующего циркуляра библиотекам и университетам, подписанным на ГРАНИ, появился большой интерес к пополнению комплектов журнала.

Книжный склад «Посева» располагает следующими номерами журнала: №№ 5, 8-18, 21-26, 38-47, 49-51, 53-55, 60-68, 70-80, 82-88, 91-95 и 97 по последний номер. Эти номера продаются по нормальной цене — 15 н. м. = 7.00 дол. (№ 100 — 20 н. м. = 9 дол.) Все остальные номера имеются на складе в подержанном состоянии и продаются по разным ценам. Книжный склад охотно сделает смету любому, желающему пополнить свой комплект.

Полный комплект журнала (№№ 1-100) продается за н. м. 4.500. Одновременно книжный склад готов приобретать в обмен на книги своего издания следующие подержанные номера журнала ГРАНИ: №№ 1-4, 6/7, 19-20, 30, 33, 36, 48, 52, 57 и 59.

Книжный склад  
«Посева»



## АНТИКВАРНЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

С 1971 года при издательстве «Посев» имеется отдел антикварных и подержанных книг на русском языке.

Там Вы можете найти книги из разных областей: богословие, искусство, история, военное дело, художественная литература, языкознание, история литературы, генеалогия, поэзия и т. д.

Вы найдете редкие книги 18-го века, художественно оформленные издания начала этого века, поэзию 20-х годов, как и более поздние советские и зарубежные издания.

Присылайте нам списки разыскиваемых Вами книг и журналов на русском языке, а также книг о России на иностранных языках.

Мы также заинтересованы в приобретении новых книг. Мы готовы производить обмен с библиотеками. Желających продать книги на русском языке просим обращаться к нам.

Периодически выходящие списки антикварных и подержанных книг высылаются по первому требованию.

Чтобы избежать задержек, не обращайтесь в издательство «Посев» во Франкфурте, а пишите непосредственно по адресу:

А. Р. ТИМОФЕЕВ, С. Р. 639,  
00100 ROMA-CENTRO, ITALIA

**Редактирует Редакционная Коллегия**  
Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,  
Flurscheideweg 15**

---

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**P o s e v - V e r l a g ,**  
**623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

#### **ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества подавляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

**ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку):

При подписке непосредственно из издательства —  
48 н. м.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 60 н. м.

Цена в розничной продаже — 15 н. м.

Розничная цена № 100 — 20 н. м.

## В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —  
21 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 26 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 6.50 ам. дол.

Розничная цена № 100 — 9 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

## POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postcheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.